

АЛЕССАНДРО МАНДЗОНИ

Избранное

АЛЕССАНДРО МАНДЗОНИ



Sp. 002.

МОСКВА
«Художественная литература»
1978

АЛЕССАНДРО МАНДЗОНИ



Избранное

Перевод с итальянского



МОСКВА

«Художественная литература»

1978

И (Итал)
М23

Предисловие
Б. РЕИЗОВА

Комментарии
Н. ТОМАШЕВСКОГО

Художник
А. ГОНЧАРОВ

М $\frac{70304-170}{028(01)-78}$ 179-78

© Статья, переводы, комментарии,
оформление. Издательство «Художе-
ственная литература», 1978 г.

АЛЕССАНДРО МАНДЗОНИ — РОМАНИСТ, ДРАМАТУРГ, ИСТОРИК

В продолжение нескольких веков Италия находилась под властью иностранцев. Испания, Франция, Австрия владели ею, и о самостоятельном существовании итальянцы забыли и думать. С французской революцией началась новая эпоха итальянской истории. В 1796 году французские революционные войска под командой Наполеона Бонапарта вступили в Италию, продолжая войну с Австрией, вместе с другими европейскими странами борющейся с революционной Францией, чтобы восстановить в ней монархический режим. Генерал Бонапарт в нескольких сражениях быстро разбил австрийские войска и установил республиканский строй в отдельных областях Италии. В 1815 году австрийские войска опять завладели Италией и восстановили старый режим. Тогда и началось национально-освободительное движение. Возникло общество карбонариев, которое жестоко преследовали. Это время было названо «Рисорджименто», то есть «Возрождение».

Период Рисорджименто был «Возрождением» не только политическим, но и литературным. Уже в первые десятилетия XIX века в Италии возникает романтизм, который вступил в полемику с классицизмом, утратившим свой смысл, когда началась борьба за освобождение и единство Италии. Романтизм возник в Милане, столице Итальянского королевства, в самом культурном городе Италии. Миланские романтики считали первой своей задачей создать такую литературу, которая могла бы воспитать в итальянцах национальное самосознание и любовь к родине, так как без этого нормальное состояние страны было невозможно. Эта задача и определяла эстетику итальянской романтической литературы, ее тематику и ее нравственный смысл.

Отказываясь от античных сюжетов, романтики обращались к сюжетам из итальянской истории, из эпохи Возрождения, когда вся Италия была республиканской, свободной и самой культурной страной Европы.

Миланские романтики организовали журнал «*Conciliatore*» («Примиритель»), задача которого заключалась в объединении классиков и романтиков вокруг единой цели — освобождения Италии. Этой идеей было проникнуто и творчество А. Мандзони.

Алессандро Мандзони (1785—1873) родился в Милане и шестилетним ребенком был отдан в школу, где какой-то монах в первый же день его поступления ударил его по лицу за то, что он плакал по оставившей его матери. Мандзони всю жизнь помнил об этой пощечине и, может быть, поэтому в свои молодые годы вплоть до 1809 года не любил духовенство и относился к религии пренебрежительно. Мать его, дочь знаменитого правоведа Чезаре Беккариа, автора книги «О преступлениях и наказаниях», вскоре рассталась с мужем и со своим другом, графом Имбонати, уехала в Париж и через 14 лет вызвала туда же своего двадцатилетнего сына. В Париже он познакомился с французскими учеными, филологами, физиологами и стал другом Клода Форея, филолога и историка, переводившего на французский язык произведения Мандзони. Вскоре он женился на шестнадцатилетней Эврикете Блондель. Под ее влиянием он стал убежденным католиком, что сказалось на его «Священных гимнах», которые не очень увлекали самого автора и не вызывали восторга у читателей. Но уже в это время он пишет острые политические стихотворения, в которых обращается к итальянским патриотам, побуждая их к борьбе за свободу Италии. В 1821 году он напечатал две замечательные оды: «Март 1821 года», — тогда ожидалось Пьемонтское восстание, и «5 мая», оду на смерть Наполеона. В первой он говорил о братстве и равенстве всех народов, во второй рассматривал образ Наполеона с политической и нравственной точки зрения.

В 1819 году вышло первое драматическое произведение Мандзони — трагедия «Граф Карманьола» с предисловием, в котором излагалась эстетика романтической драмы. Французский критик Шове написал рецензию на эту драму и восставал против ее «романтической системы». Мандзони ответил своему критику статьей под названием: «Письмо г-ну Ш. о единстве места и времени в трагедии» (1823). Это был трактат романтика, видевшего в новом литературном на-

правлении политический смысл и историческую необходимость для национального освобождения Италии. В 1822 году вышла в свет вторая и последняя трагедия Мандзони «Адельгиз».

Обе трагедии вызвали восторг итальянских патриотов и отзывы в итальянских, французских, английских и немецких журналах, их перевели во Францию, в Англию, Германию и Россию. «Граф Карманьола» был переработан в либретто, на которое была написана опера Тома.

Наконец, в 1827 году появился прославившийся во всей Европе исторический роман «Обрученные», написанный под влиянием Вальтера Скотта. Здесь заметна философия истории, возникающая у историков, изучавших трудные проблемы Французской революции и объяснявших события революции не столько личными достоинствами или ошибками ее вождей, сколько исторической необходимостью — интересами народа, создавшего историю. Вот почему главными героями «Обрученных» были крестьяне, своей высокой нравственностью вызывавшие сочувствие крупных и мелких феодалов, менявших свое поведение и психологию под влиянием двух крестьян, которым каждую минуту угрожала смертельная опасность.

В этих произведениях не очень ощущалось влияние католицизма, который Мандзони понимал не столько как религиозную метафизику, сколько как нравственную философию. Это сказалось в трактате «О католической морали», который Мандзони написал по настоянию своего духовника епископа Този. Первый том этого трактата был напечатан в 1834 году, второй не был написан. Здесь автор полемизировал с историком итальянского средневековья Сисмонди, пытаясь поднять политическую роль римского папы, которую Сисмонди не считал полезной для развития культуры, общественной и государственной жизни Италии.

В «Обрученных» был эпизод, в котором рассказана история эпидемии чумы, уничтожившей тысячи итальянцев всех сословий. Среди крестьян прошел слух, что чума была создана злодеями, желавшими истребить итальянский народ и отравлявшими его всеми возможными средствами. Ни в чем не повинные люди обвинялись в этом преступлении и наказывались жестокими пытками и смертной казнью. Мандзони написал об этом исторический труд, сыгравший роль в борьбе с невежеством, вызывавшим еще в XIX веке избиение подозреваемых в отравлении невинных людей, и

в частности врачей, пытавшихся лечить больных и гарантировать людей от заразы. В «Позорном столбе» подробно изложены события этой эпидемии и борьба с этим невежеством не только в XVII веке, но и в последние годы XVIII, памятные для современников Мандзони.

* * *

Критическая литература о драме «Граф Карманьола» почти безгранична. В большинстве случаев критики говорили о романтической теории драмы, то есть, по существу, изучали не столько драму, сколько предисловие к ней. Многие толковали драму по-своему и вкладывали в нее смысл, который был чужд Мандзони.

Так, Гете, один из первых рецензентов этой драмы, хорошо о ней отзывавшийся, представляет все эти события в совсем ином виде. Многие критики соглашались с толкованием Гете, который характеризует Карманьола как буйного и своевольного наемника. Конфликт между Карманьолой и сенатом он рассматривает как столкновение произвола и высокой целесообразности. Марино, представитель «государственного интереса» и «высокой целесообразности», «выступает против графа с глубокой принципиальностью и мудростью», а Марко, представитель нравственного долга, говорит с «доверием и любовью». Марино у Гете вырастает в настоящего героя: он воплощает в себе «закон себялюбия», которое здесь направлено не к личной пользе, а к пользе государства и даже человечества. Марко беспокоится не о человечестве, а только об одном человеке, а потому, сам того не понимая, не выполняет свой долг и оказывается государственным преступником. Дождь — сама справедливость, и сенат, приговаривающий Карманьола к смертной казни, исполняет свой государственный долг.

Другой критик, А. Галетти, считает, что Мандзони хотел согласовать философию истории Боссюэ с идеей трагедии, которую он открыл в самых глубоких драмах Шекспира. По мнению Галетти, Мандзони уверен в том, что человек не властен над своей судьбой и целиком определен непостижимыми для него замыслами провидения. Бенедетто Кроче, пользовавшийся в европейской буржуазной критике огромным авторитетом, видит в этом «слабом произведении» «неразрешимое противоречие между политикой и моралью, между действительностью и трансцендентным идеалом»,

отражающее «противоречие между поэтом и миром, который он не может освободить, то есть миром истории». Этот пессимизм католического происхождения — «высшая истина», которую, по словам А. Тонелли, хотел выразить Мандзони, заключается «в констатации неизбежной скорби человека, нашей слабости, пользы и необходимости веры»; эта истина «проявляется в трагической непримиримости государственного интереса и человеческой совести. И никакого спасения от этой беды нет, кроме бога, который утешит человека после земных мучений и смерти». Другие критики видят основной конфликт трагедии в столкновении между военной и гражданской властью, но в чем смысл этого столкновения, критики не знают и воображают новые варианты, по их мнению, более интересные.

Некоторые исследователи пытались связать драму с современной историей. М. Скерилло в образе графа Карманьолы находил нечто общее с Мюратом, королем Неаполитанским, на которого итальянские патриоты возлагали надежды после падения Наполеона, а также и с Наполеоном, после своих неудач покушавшимся на самоубийство.

Все эти сопоставления и догадки не выдерживают критики. Толкования эти не только не объясняют трагедии, но скорее уводят от ее действительного смысла.

И в русской дореволюционной литературе мы не найдем глубокого толкования «Графа Карманьолы». М. Ватсон рассматривает драму как столкновение «неосторожного» и «великодушного» Карманьолы с «завистливыми врагами», а недостаток ее видит в преобладании «личного, семейного чувства над общественным»¹. Д. К. Петров видит основной конфликт в «столкновении честолюбивого генерала и гражданской власти, ревниво оберегающей свои традиции и права», но ничего другого в пьесе не находит, ибо в ней нет ни разработки характера, ни разработки темы, ни могучей страсти, ни «старой Венеции»². В. Фриче ищет конфликт драмы в чувствах Карманьолы, словно это классическая трагедия, и, не найдя такого конфликта, объявляет образ Карманьолы не трагическим. Он говорит также, что драма пропикнута «религиозным духом», очевидно имея в виду

¹ М. Ватсон. Алессандро Мандзони. Критико-биографический очерк. СПб., 1902, с. 43—44.

² История западной литературы. Под ред. Ф. Д. Батюшкова, т. III, с. 215.

обычное толкование главного образа: незаслуженные кары, страдания, бедствия составляют неизбежную участь человека, спасение от которой — за гробом¹.

Чтобы понять замысел Мандзони, нужно прежде всего отказаться от странного желания во что бы то ни стало каждую фразу трагедии объяснить с позиции католика, между тем как Мандзони в своей исторической драме был прежде всего историком и философом. Чтобы понять задачи, которые Мандзони пытался разрешить, нужно учитывать исторические обстоятельства, в которых возникла драма.

История графа Карманьола была рассказана в книге Сисмонди «История итальянских республик», которую Мандзони читал не раз с глубоким вниманием. Почему из сотен биографий, рассказанных в книге, Мандзони выбрал именно эту? Очевидно, потому, что в изложении Сисмонди нашел решение этой проблемы правильным и соответствующим его взглядам.

Сисмонди считает Карманьола невиновным в измене. Повествуя о многолетней войне Филиппа, герцога Миланского, с организовавшей против него лигой, он высказывает свое мнение и о Карманьоле, и о венецианском сенате. «Как только великий полководец, сделавший Филиппа столь могущественным, а затем нанесший ему такие поражения, перестал побеждать, недоверчивый и жестокий венецианский сенат заподозрил его в измене». Сисмонди называет судей, окружающих себя «гнусной тайной», несправедливыми и бесчестными.

Соображения Сисмонди о целесообразности военных действий Карманьола и его намерениях, о тайном суде казались Мандзони совершенно справедливыми. Но если бы он повторил только то, что нашел у Сисмонди или в его источниках, трагедия оказалась бы драматизацией старинного анекдота, свидетельствующего о преступлениях и коварстве Совета Десяти. Судьба этого «наемного героя» стала для Мандзони выражением философских теорий и размышлений, которые составили глубокий внутренний смысл трагедии.

Подъем патриотических чувств, падение феодального режима, возникновение новых буржуазных республик, упорная, многообразная борьба за национальную независимость в общественном и культурном плане — все это вовлекло

¹ В. Фриче. Литература эпохи объединения Италии (1796—1870), 1916, с. 89.

в орбиту политической жизни широкие круги итальянского общества. Нужно было спасти идею развития, чтобы не впасть в отчаяние. Нужно было показать неизбежность исторического становления и необходимость всех его стадий, чтобы осмыслить неудачи как поучение и кару и как залог дальнейших успехов. В буржуазной историографии наметилось два направления. Одни изучали исторический процесс в его общих закономерностях, обнаруживавшихся в малейших деталях исторической жизни народов, других интересовали технические проблемы политики, политические средства, которыми можно достигнуть тех или иных целей, и условия, которые для этого необходимы. Первое направление ориентировалось преимущественно на Вико, интерпретированного в духе эволюционной идеи, второе опиралось на Макиавелли.

В глазах своих почитателей Макиавелли был противником того, что получило название «макиавеллизма». Приверженцы макиавеллизма оправдывали каждое государственное преступление, совершаемое ради укрепления монархии или олигархии. Один из организаторов французского абсолютизма кардинал Ришелье в своем «Политическом завещании» формулировал теорию «государственного интереса», которая во Франции связывалась с его именем. Теория «государственного интереса» всякого рода незаконные действия власти оправдывает пользой для государства. Однако польза всегда понималась как польза правящего класса и правительства.

«Первоначально,— писал Маркс,— общество путем простого разделения труда создало себе особые органы для защиты своих общих интересов. Но со временем эти органы, и главный из них — государственная власть, служа своим особым интересам, из слуг общества превратились в его повелителей»¹. Этот процесс «превращения государства и органов государства из слуг общества в господ над обществом»² неизбежен во всех существовавших до сих пор государствах. Отсюда и борьба с теорией «государственного интереса», которую в XVIII и начале XIX века с такой страстью ведут прогрессивные писатели Европы. С макиавеллизмом связывали одно из самых крупных государственных преступлений нового времени — Варфоломеевскую ночь. Макиавеллизм, как идеологическое обоснование избиений, был

¹ К. Маркс. Гражданская война во Франции (К. Маркс, Ф. Энгельс. Избр. произв., т. 1, 1955, с. 442).

² Там же, с. 343.

подчеркнут в драме либерала и романтика Ш. Ремюза «Варфоломеевская ночь» (1826).

Либералы стали бороться с подобной практикой, апеллируя к абстрактной, общечеловеческой нравственности, — ведь история является развитием высшей справедливости. В историческом процессе получает свое осуществление нравственная идея и возникает совершенный общественный строй будущего, цель и результат коллективных трудов человечества. Поэтому зло не может служить добру, предательство и обман не приведут к торжеству справедливости. История имеет свои законы. Политическая техника, которая, оторвавшись от высокой нравственной и исторической цели, преследует личную цель правителя и тянет историю вспять, рано или поздно должна потерпеть поражение. В этом поражении заключается смысл не только нравственный, но и исторический. Значит, противопоставлять нравственности государственную пользу, то есть следовать правилам, изложенным в книге Макиавелли «О государе», не только безнравственно, но и вредно. Это доказывали Альфьери в трактате «О тирании» и в трагедии «Тимолеон», И. Пиндемонте в трагедии «Арминий», Монти в трагедии «Кай Гракх».

Государственный строй Венеции не менялся в течение веков. В XVI веке появляется целый ряд итальянских и латинских сочинений о политическом строе Венеции. К концу века эти сочинения приобретают апологетический характер, так как прославление республиканского строя Венеции было средством тайной полемики с испанским деспотизмом. «Венецианская школа» политиков и историков, прославляющая строй и метод правления олигархической республики, распространяется далеко за пределы Венеции. Пользовался известностью принадлежавший к той же школе Паоло Парута, автор сочинения «Современная государственная жизнь» (1599), о котором Мандаони упоминает в «Обрученных». Джованни Ботеро известен тем, что ввел в политическую литературу термин «государственный интерес» в книге под тем же названием. Ботеро полемизировал с Макиавелли, но, проповедуя практику Венецианской республики, стоял на той же нравственной позиции. Дон Ферранте, герой «Обрученных», читал эту книгу и ставил ее так же высоко, как и «Государя» Макиавелли.

Для ума, ищущего в исторических событиях нравственный смысл, политика Венеции — долгая цепь преступлений, обманов и самого жестокого деспотизма, казалась достаточ-

ным объяснением и политического упадка Венеции, и потери ею самостоятельности. Для такого ума оправдание венецианской политики и венецианского «государственного интереса» было невозможно.

Невозможно оно было и для Мандзони. Философия истории, вырабатывавшаяся в борьбе с реакцией, нравственная философия, требовавшая «категорического», то есть формального повиновения законам нравственности и отвергавшая макиавеллизм в политической практике реакционных правительств, романтические литературные теории, имевшие своей задачей подготовку итальянского Рисорджименто, определили замысел Мандзони — выбор темы и сюжета, центральные образы трагедии, ее содержание и ее форму.

Мандзони с тою же страстью, что и Альфьери, сражается с макиавеллизмом. Он понимает, что эта теория служит лишь силам реакции, и связывает ее с темным прошлым Италии. Но вместе с тем он сражается и с эвдемонической моралью XVIII века. Ему кажется, что нравственная ценность поступка определяется не пользой, которую он приносит, но исполнением одного и того же, всегда равного самому себе формального долга. Очевидно, здесь сказалось влияние всей той литературы, которая развивала кантовские идеи. Она согласовалась с католическими учениями, которые как раз в это время Мандзони развивал в своем трактате «О католической морали».

Мандзони подчинил эту мораль задаче своей жизни и творчества — национальной независимости и счастью итальянского народа. Принимая формальный принцип абстрактного «категорического императива» и разоблачая макиавеллизм, он боролся против реакции и поработителей итальянского народа.

В «Графе Карманьоле» резко противопоставлены две системы нравственности: мораль «государственного интереса» и мораль «категорического императива». Первая представлена венецианским сенатом, и глашатай ее — Марино. Другая — графом Карманьолой, и глашатай ее — Марко. И Марино, и Марко Мандзони назвал вымышленными героями, то есть придуманными для того, чтобы воплотить две системы нравственности.

С первого же акта читатель попадает в атмосферу подозрительности и недоверия. Несколькими штрихами обрисована государственная машина Венеции, исключая

всякое человеческое отношение к человеку, всякое понимание нравственности. Дожд говорит Карманьоле:

Мы вместе с вами делим чувство мести.
Заботливей, чем прежде, мы поднимем
Свой щит пад вами...

С самого начала Венеция подозревает и угрожает.

Марино еще более резко выражает недоверие к Карманьоле, и в ответ на эти рассуждения дожд обещает шпионить за полководцем, которому Венеция вручает свою судьбу: ведь у Венеции есть глаз, чтобы следить за ним, и невидимая рука, чтобы его поразить.

Тут выступает Марко: зачем омрачать подозрениями это прекрасное начало? Нужно думать о наградах, а не о карах. Марко лучший психолог, чем Марино и дожд: он понимает Карманьолу и доверяет ему, потому что так же благороден, как он. Таков пролог к дальнейшим событиям.

Карманьола с радостью принимает командование армией. Нет никакого сомнения в том, что он неспособен на измену. Он отпускает пленных, потому что понимает людей:

Побежденный враг
Не будит больше гнева. Честно бьются
Сердца солдат под их стальной кольчугой,
Несчастье им внушает состраданье,
Они хотят прощать своих врагов...

Комиссары думают иначе и не отпускают пленных. Это ошибка, которая вызывает военные неудачи. Сенат видит в Карманьоле изменника. Между Марино и Марко происходит разговор, объясняющий дальнейшие события. Марко так же предан Венеции, но его представления о пользе родины правильнее, потому что более нравственны. Он верил, что полезным для Венеции может быть только то, что служит ее чести. Ясная, отчетливо выраженная мысль: нельзя противопоставлять полезное нравственному, потому что только нравственное может быть полезным. Безнравственные поступки приводят к гибели того, кто их совершает. Такова основная идея «Графа Карманьолы», нравственная и политическая одновременно.

Дело сделано. Невинный человек, жертва интриг и личной ненависти, завлечен в ловушку и казнен. Это «государственный интерес», но он принес Венеции вред. Недоверие, основанное на зависти и полном отсутствии нравственного

чувства, помешало Карманьоле осуществить свои замыслы и принести Венеции полную победу и лишило ее великого полководца.

«Крик врагов и потомства», который в глубине своей совести услышал Марко, принесет Венеции еще больший вред. Это говорит и Карманьола в своей последней речи. Ту же идею неизбежного исторического возмездия высказывает хор:

И злобный виновник чужого несчастья
От кары и мести себя не спасет....
Пусть мщение медлит — оно неизбежно,
За жертвой намеченной смотрит прилежно,
Идет по следам ее, видит, и ждет,
И всюду и зорко ее стережет.

Таков нравственный фон, на котором разбивается действие. Вне этой идеи оно оказывается бессмысленным, историческое поучение исчезает, и драма превращается в скудный содержанием исторический анекдот.

Венецианскую республику постигла кара: могучее государство, распространившее сеть своих торговых контор, свои флотилии и свою инквизицию на весь Левант, захирело и погибло. Мандзони объясняет это государственным устройством Венеции, ее олигархическим режимом, естественно связанным с жестокой деспотией и с теорией «государственного интереса», неизбежно превратившегося в интерес реакционного класса. В известной мере Мандзони был прав, хотя он не видел других важных причин, а указанные им политические причины склонен был толковать в нравственном плане.

В черновом наброске драмы, созданном в течение 1816 года, Венецианская республика очерчена более полно. В сценах первого акта, вычеркнутых из окончательного текста, мотивы ненависти сенатора Марино к Карманьоле выражены яснее: Венеции приходится прибегнуть к помощи «какого-то иностранца, сына гнусного пастуха еще более гнусного стада, который... презирает всех нас» (венецианцев и сенаторов). «Не столь тяжело потерять какой-нибудь город, как владеть им благодаря Карманьоле». Злостный умысел этой касты аристократов вскрывается в словах Стефано, единомышленника Марино: «Друзей, которые теперь его окружают, он вскоре одного за другим сделает своими врагами, тогда вас будут слушать».

Воспользоваться трудами и талантом Карманьолы и затем, по миновании надобности, убить его, отомстив за его справедливое прозрение, — таков замысел Марино, выполненный тиранической олигархией.

В другой сцене, в которой выступает венецианский народ, ярко показана ненависть его к аристократам. Один горожанин говорит, что на Карманьолу, выступающего в поход, возложена «вся забота о нашем спасении». «О нашем? — возражает ему второй горожанин. — Вернее было бы сказать — о спасении Синьоров. Что значим мы теперь, когда всякое государственное дело стало их личным делом? Какое значение имеет для нас война? Если она окончится успешно, все будет принадлежать им, — и слава, и добыча». Горожане отлично понимают, что «государственный интерес» Венеции является интересом господствующей касты.

Философская проблема, поставленная в драме Мандзони, немислима была вне истории. Действительно, весь нравственный смысл человеческого существования либеральные мыслители послереволюционной эпохи обнаруживали не в личной судьбе, но в историческом процессе. Судьба отдельного лица недостаточна и слишком случайна, чтобы можно было уловить в ней нравственный смысл. Невинно страдающие, жертвы несправедливости и общественных катаклизмов, все те, кто погиб в великих революционных сражениях или в кровопролитных войнах наполеоновской эпохи, не могут служить доказательством исторических закономерностей нравственного характера. Эти закономерности обнаруживаются лишь в судьбах народов и государств. Человечество страдает не напрасно — оно движется вперед, к более справедливому и счастливому будущему. Страдание не есть искупление первородного греха; человечество создано не для того, чтобы в вечной беде оплакивать грех праотцев, — эту точку зрения Жозефа де Местра, ультрароялиста и католика, Мандзони считает глубоко порочной. Он избирает своим духовником в Париже не Ламенне, в то время ультрароялиста, а Грегуара, епископа, обвинявшегося в том, что голосовал в Национальном Конвенте за казнь короля. Мандзони хочет быть не «пророком прошлого», каким был Жозеф де Местр, а человеком будущего.

«Не распятия и ризницы создают Мандзони», — писал молодой Кардуччи при жизни поэта. В «Графе Карманьоле» Мандзони излагал не пессимистическую мораль ортодоксального католицизма, но философию истории современного ему

буржуазного либерализма, оправдывавшего исторические неудачи, жертвы и катастрофы высшей справедливостью истории и неизбежным прогрессом человечества. Вот почему никакого противоречия между моральными и историческими взглядами Мандзони в трагедии нет: мораль ее вытекает из философии истории Мандзони, а эта философия имеет своей задачей утверждение нравственного смысла человеческих судеб, прогресса и общественной справедливости, которая установится когда-нибудь на развалинах старых деспотий, национальной нетерпимости, классовых государств, всей той системы насилий и угнетения, которую Мандзони с отвращением и негодованием констатировал в своей грустной современности.

* * *

В разгар работы над «Графом Карманьолой», в июле 1819 г., преодолев сопротивление своих духовников, Мандзони решил ехать в Париж. 26 июля он уже получил заграничный паспорт и с восторгом сообщил о предполагавшейся поездке своему парижскому другу Клоду Форьелю. Он выехал со своей семьей из Милана в середине сентября и 1 октября был в Париже.

Здесь он сразу попал в обстановку острых политических дискуссий. В салоне мадам де Кондорсе, где царил Форьель, придерживались либеральных взглядов, и он быстро вошел в курс политической жизни.

Как раз в это время во Франции возникает новая историографическая школа, сыгравшая огромную роль в общественной борьбе эпохи. Мандзони с радостью усваивает эти новые идеи, отлично согласовавшиеся с его философскими и историческими взглядами. Эти новые идеи получают свое отражение во второй его исторической трагедии — «Адельгиз».

Близким другом Форьеля и постоянным посетителем его кружка был молодой ученый, публицист и историк Огюстен Тьерри, один из создателей новой романтической историографии. Как раз в это время он с необычайной энергией и страстью разрабатывал свою теорию, доказывая, что феодальный строй и связанная с ним система социального угнетения и эксплуатации имели своей причиной первоначальное германское завоевание. Теория Тьерри приобрела большое значение в идеологической жизни эпохи. В десятках

книг, статей и брошюр говорилось о том, что во Франции и по сей день происходит борьба между «двумя народами», угнетателями и угнетенными, борьба, начавшаяся в эпоху великого переселения народов.

Познакомившись с теорией Тьерри по журнальным статьям и из личных бесед, Мандзони, мечтавший об освобождении родины от иностранного владычества, увидел в этой теории ключ к объяснению современного положения вещей.

Так же как Франция и Англия, Италия была завоевана германскими племенами. Она и в то время была добычей «северных варваров». Конечно, в 1820-е годы Мандзони казалось, что немцы были самыми страшными и самыми беспощадными врагами его страны.

В чем же заключается проблема завоевания, рассмотренная с философско-исторической и нравственно-религиозной точки зрения? Для Мандзони это следовало разрешать в связи с идеей провиденциальной справедливости и в связи с судьбами католической церкви.

Аналогией, впрочем, далеко не полной, франкскому завоеванию Галлии было лангобардское завоевание Италии (568 г.). Это было первое вторжение германцев, которое оставило длительный след в истории полуострова.

Королевство лангобардов просуществовало больше двух столетий, вплоть до нового завоевания — вторжения франков во главе с Карлом Великим (773—774). Как произошли оба эти завоевания, какое значение они имели для итальянского народа, каковы были их социальные последствия, — обо всем этом велись долгие споры и существовали прямо противоположные мнения, ни одно из которых не могло удовлетворить Мандзони. В его глазах эта проблема приобретала острый политический смысл, и он решил исследовать ее заново, в свете интересов, подсказанных общественной жизнью начала XIX в. Так возникли и трагедия «Адельгиз» («Adelchi»), и напечатанное вместе с нею «Рассуждение о некоторых вопросах истории лангобардов в Италии».

Пробыв в Париже около десяти месяцев, Мандзони выехал в Италию 25 июля 1820 года. Через два с половиной месяца он сообщил Форьелю о замысле своей новой трагедии.

К ноябрю 1821 года трагедия была закончена. Сохранился первоначальный ее набросок, в котором есть весьма интересные сцены, не вошедшие в окончательный текст. Мандзони очень долго работал над своим новым произведе-

нием и еще в октябре 1822 года, когда трагедия печаталась, продолжал исправлять и дополнять ее. Она вышла в свет в конце 1822 года, в 1823 году была переведена на французский язык вместе с «Графом Карманьолой» и напечатана в переводе Клода Форея.

Эта трагедия была тоже исторической,— история для итальянцев, так же как для всей европейской литературы того времени, была проблемой актуальной. Она была написана в годы особенно напряженной политической борьбы за освобождение Италии, в период, когда австрийская полиция сажала в тюрьмы итальянских патриотов, даже неповинных ни в каких политических действиях.

Так же как и в первой трагедии, в «Адельгизе» разрабатывается проблема отношения политики и морали и утверждается нравственный смысл истории. Однако здесь эта проблема поставлена несколько иначе; речь идет о двух завоеваниях Италии: первое — лангобардское в 568 году. Дикие лангобарды вместе с такими же дикими саксами и свевами истребляли итальянцев, разрушали города, сохранявшиеся после римского владычества, грабили селения. Это продолжалось более двадцати лет, и почти все земли Италии переходили из рук в руки в непрерывных войнах. Центрального государственного управления не было, власть отдавалась дружинникам и спутникам короля. Народ был по существу совершенно бесправен, а герцоги, владевшие отдельными областями, вели себя как короли, а короли пытались ограничить их области, хотя в большинстве случаев безрезультатно. Завоевания и набеги, также и на папский Рим, происходили часто, и папы, искусные дипломаты, направляли своих врагов друг на друга и тем спасали свои владения. Папы часто искали помощи у франков, и только в 774 г. Карл Великий окончательно разгромил лангобардское королевство, а в 776 г. вторым походом уничтожил герцогства и ввел франкскую систему управления.

О лангобардском завоевании Италии, так же как о завоевании франком, велись долгие споры. Мандзони решал эту проблему, так же как проблему «Графа Карманьолы», в свете интересов современной эпохи. Свое понимание событий, рассказанных в драме, Мандзони изложил в «Рассуждении о некоторых вопросах истории лангобардов в Италии». До того времени историки утверждали, что после лангобардского вторжения завоеватели и итальянцы слились в одну

нацию, и папы вызывали распри и набеги, чтобы сохранить самостоятельность и владеть своей областью. Мандзони утверждал, что рабы никогда не могут слиться со своими тиранами, и политика пап спасала существование итальянского народа. Уничтожение лангобардского королевства улучшило положение итальянцев, потому что франкское господство, вызванное властью папы, было мягче. Но все же это было завоевание, иностранное ярмо, и потому не было абсолютной справедливостью, а только справедливостью относительной, которую только и можно найти в делах человеческих, т. е. в истории,— писал Мандзони.

Адельгиз мыслит так же, как создавший его автор, — он понимает историческую необходимость современной ситуации, которую не понимает ни Дешидерий, ни его герцоги, он угадывает будущее,— в этом он похож на Дона Карлоса, тоже человека будущего, героя Шиллера. Смысл трагедии заключен в этом персонаже.

Образ Карла Великого Мандзони построил так, как понимали великих людей Вальтер Скотт, разработавший эту проблему в своих романах, французский философ В. Кузен и французские историки того же времени. Историю создают человеческие массы, но их воля и потребности осуществляются через посредство их представителей, «великих людей», которые и действуют на сцене истории. Осуществляя волю народа, они исполняют миссию, порученную народу историей. Они не самые лучшие и не самые достойные,— они только «избранные». Карл Великий — человек самый заурядный, не святой (его развод с Эрменгардой свидетельствует об этом), не ученый, не герой и не законодатель — Мандзони подчеркивает это в своей трагедии. Карлу все удастся, так как история поручила ему решить задачу, подсказанную временем. Он велик, потому что он делает то, что заставляют его делать необходимость, или случай, или обстоятельства.

Адельгиз отличается всеми добродетелями, но все же он погибает,— так как историческая справедливость, по мнению Мандзони, осуществляется не в земной жизни одного человека, а в биографии человеческого рода.

Последние слова Адельгиза отцу все современные исследователи толкуют как вопль беспредельного отчаяния и отрицание истории. Но Адельгиз имеет в виду не первородный грех детей адамовых, а исторический грех первых лангобардов, вторгшихся в Италию и установивших там «режим за-

воевания». Разбитые Карлом, лангобарды пожали жатву, посеянную их предками: понимание права как силы порождает непрерывную цепь насилий и завоеваний, предела которым нет. Дезидерий, веривший только в силу меча, побежден мечом более правого соперника. Адельгиз открывает Италию перспективу будущего,— без этого историческая драма не могла бы выполнить своего назначения — показать пути дальнейшего развития и возвестить новую эпоху.

Каким бы «прогрессивным» ни было новое завоевание, оно не освободило Италию. Храбрецам-франкам, оставившим свои замки и выступившим в тяжелый и опасный поход, была обещана награда — новые земли, замки и рабы. Хор, которым завершается третье действие, говорит об этом очень четко. Критики обычно рассматривают эти строки как выражение антидемократических тенденций Мандзони, его презрения к своему народу. Особенно обидела критиков последняя строка — «утративший имя, в рассеянье жалком живущий народ». Но эти слова передают реальное положение дел,— в те времена итальянцы не имели своего имени, а латинами назывались все те, кто говорил на латинском языке. Если бы Мандзони изобразил итальянцев VIII века борцами за свою свободу, его драма превратилась бы в буффонаду. Но он чувствует к этой поработанной безличной массе глубокую симпатию и сострадание.

В первоначальном тексте трагедии роль покоренного народа в поражении лангобардов подчеркнута значительно резче, особенно в речах Адельгиза. В окончательном тексте эта тема звучит только в одном эпизоде, который подсказала Мандзони анонимная «Новалезская хроника». В стан Карла, безрезультатно осаждающего укрепления лангобардов в горном проходе Валь-ди-Суза, приходит диакон Мартин, прошедший по трудным горным тропам через Альпы, чтобы указать Карлу путь в Италию. Если бы лангобарды освободили итальянцев, никогда бы Карл не проник в Италию. «Пусть Риму больше не угрожает это несправедливое и злое племя,— говорит диакон Карлу,— и да будет твоею рукой облегчено ярмо остальной Италии, если еще не наступил день и не родился человек, который совсем освободит ее от ига; в этом будет моя награда». Эти слова, также не вошедшие в окончательный текст, раскрывают и роль итальянцев в изображенных событиях, и историческую правоту Карла, и философско-историческое значение трагедии.

* * *

Как первая, так и вторая драма Мандзони имеют остро политический и современный смысл. Италия в конце XVIII века была завоевана французами. Это новое «франкское» завоевание было гораздо более прогрессивно, чем недавнее австрийское, но рассчитывать на освобождение при помощи иностранных штыков было невозможно,—освободиться итальянцы смогут только собственными силами, но они отвыкли от военного труда, разоружены материально и духовно. Проблема, поставленная перед великим писателем потребностями исторического становления Италии, была проблемой нравственной и политической — так она воспринималась итальянцами той эпохи. Обе драмы сыграли свою роль в освобождении страны. То же нужно сказать едва ли не обо всех произведениях великого писателя, о его теоретических работах по литературе и эстетике, о работах, посвященных проблемам истории.

Б. Реизов



Граф Карманьола

ТРАГЕДИЯ

Перевод Н. Соколова



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ

Граф Карманьола.

Антоньетта Висконти, его
жена.

Их дочь (в трагедии — Матильда).

Франческо Фоскари, дож
Венеции.

Джованни Франческо Гонзага

Паоло Франческо Орсини

Николо́ да Толентино

Карло Малатести

Анджело делла Пергола

Гвидо Торелло

Николо́ Пиччини́но (в трагедии — Фортебраччо)

Франческо Сфорца

Пергола, сын Анджело

} кондотьеры на службе Венеции.

} кондотьеры на службе миланского герцога.

2. ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Марко, сенатор венецианский.

Марино, член Совета Десяти.

Первый комиссар } Венеции в лагере
Второй комиссар } Карманьолы.
Солдат армии Карманьолы.
Солдат-пленник.

Сенаторы, кондотьеры, солдаты,
пленники, стража.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

ВЕНЕЦИАНСКИЙ СЕНАТ.

Д о ж п с е н а т о р ы с и д я т .

Д о ж

Патриции! Сегодня тех сомнений,
Которые смущали долго нас,
Не существует больше. Мы узнали,
Что было нужно знать нам. Наш ответ
Флоренции мы можем дать сегодня.
Она зовет нас вместе с ней идти
На герцога миланского войною.
Вот что решить сегодня мы должны.
Но, может быть, еще не всем известно,
С какою дерзостью была оскорблена
Венеция кровавым преступленьем?
Пусть знают все,— для дела это важно!..
На наших улицах какой-то иностранец
Убить пытался графа Карманьолу,
Но промахнулся и теперь в тюрьме.
Он был подослан герцогом Филиппом,—
Тем самым герцогом, которого послы
С словами мира, с просьбой нашей дружбы
И до сих пор в Венеции. Зачем
Для этой дружбы новых доказательств
Мы будем ждать? Я говорить не буду
О низости и наглом вероломстве
Такого преступленья. Знают все,

Что, оскорбляя нашего солдата,
В лице его он оскорбил и нас.
Пусть будет так! Зато теперь мы знаем,
Что Карманьола герцог ненавидит.
Меж ними кровь, мириться им нельзя:
Они — враги и будут век врагами.
Зачем Филипп убить его хотел?..
Патриции! Здесь к ненависти старой
И новый страх прибавился. Кто трон
Филиппу дал, тот также сбросить с трона
Филиппа может... О, он догадался,
Что этот мир, позорный и бесславный,
Не нужен нам... Он чувствует войну,
И знает он, что значит Карманьола,
Прославленный, могучий кондотьер,
Когда война знамена развеивает!..
Граф знает силы герцога Филиппа,
Граф знает, как Филипп войну ведет,—
И он найдет то место, где вернее
Смертельную нанести он может рану.
И герцог хочет вырвать этот меч
Из наших рук... Но, герцог, ты ошибся!
Нам пригодится скоро этот меч!..
Патриции! Откуда же совета
Мы лучшего себе могли бы ждать,
Как не от графа? Мнение его
Угодно знать вам?

Знаки согласия.

Позовите графа.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и граф.

Д о ж

Граф Карманьола! В первый раз сегодня
Республика имеет повод к вам
И вашей верности и дружбе обратиться.
По важному вопросу ждет она

От вас совета. Нам сегодня важно
Услышать ваше мнение. Но прежде
Позвольте мне от имени сената
Поздравить вас. Вы счастливо ушли
От замыслов предательской измены.
Обидой вам — мы все оскорблены.
Мы вместе с вами делим чувство мести.
Заботливей, чем прежде, мы поднимем
Свой щит над вами... Враг ваш не найдет
Дороги к вам, на ней не встретясь с нами.

Г р а ф

Светлейший дож! Что сделать я могу,
Чем заплачу стране гостеприимной
За все, что мне дает она? Как жадно
Хотел бы я служить ей как отчизне!..
Но жизнь моя, которая недавно
Спаслась опять от вражеской руки,
В бездействии томительном проходит.
Считая дни бесславного покоя,
Я молча жду, придет ли светлый день,
Желанный день, когда своею жизнью
Удастся мне вам доказать, что я
Достоин был высокого участия,
С каким сюда я вами принят был.

Д о ж

От вашей помощи, когда настанет время,
Мы вправе ждать великих дел. Пока
От вас мы ждем совета, Карманьола.
Флоренция нас просит ей помочь
Оружием в войне против Висконти,
Скажите нам ваш взгляд на это дело.
Для нас теперь он важен...

Г р а ф

Мой совет,
И жизнь моя, и добрый меч мой — ваши,
И если бы я только думать мог,
Что здесь один совет мой будет нужен,—
Я и совет имею. Но позвольте

Мне о себе сперва поговорить,
Позвольте сердце мне открыть пред вами,
Оно давно открыться хочет вам.

Д о ж

Мы слушаем. Нам только то и ценно,
Что ваше сердце будет говорить.

Г р а ф

Светлейший дож! Сенаторы! Я знаю,
Что я не смел бы ждать от вас доверья,
Пока не стал врагом непримиримым —
Врагом тому, кому служил я прежде,
Как верный подданный. Но, если б и теперь
Я думать мог, что до сих пор осталось
Не порванным малейшее звено
Из цепи той, которая с Висконти
Меня соединяла, ни за что
И этого звена я б не разбил...
Я предпочел бы свой досуг бесславный
Священной тени боевых знамен
Венеции... В своих глазах презренным
И вероломным быть я не хочу...
Но я теперь ни одного мгновенья
Не сомневаюсь больше. Я свободен.
Я не обязан герцогу ничем.
Но тяжело мне думать, что, быть может,
Не все глядят на это дело так же.
Как счастлив тот, кому сама судьба
Дорогу в жизни ясно указала!
Над честью и бесславьем для него
Не может быть сомнений и раздумья.
Напрасно враг пытался бы пайти
В нем что-нибудь доступное злословью.
Но мне пришлось идти другим путем,
И не для всех понятен он... Опасность
Грозит на нем мне в каждом направленье...
Что, если мне швырнут в лицо упреки
В неблагодарности? Что, если мне придется
Услышать обвинение в измене?
О, знаю я... Есть люди... Их закон —
В своих делах своим суждениям верить
И суд чужой надменно презирать.

Я не рожден для этого... Мне важно,
Что обо мне подумаете вы,
Что будет думать каждый, кто решает
Дела людей судом и правдой чести.
Сенаторы! На суд ваш отдаю
Я старый спор свой с герцогом Филиппом.
Пусть подведет, кто хочет, наш итог,
Пусть он проверит счет услуг взаимных
И пусть решит, кто может должником
Считаться в нашем деле... Но довольно...
Мне не об этом нужно говорить
Пред судьями. Я герцогу был верен
И не отказывал ему в повиновенье,
Пока он к этому не вынудил меня.
От должности, которую я кровью,
С опасностью жизни заслужил,
Он отрешил меня... Напрасно оправдаться
Возможности искал я перед ним.
Мои враги теснились возле трона.
И понял я, что мне беда грозит. И рано,
Казалось мне, меня искала смерть.
В моих мечтах мне смерть моя являлась
На поле битвы, в доблестном бою
За славное и доблестное дело.
И этой смерти жалкой и ничтожной
Я испугался... Я бежал... У вас
Нашел себе приют и справедливость...
Но он и здесь меня не позабыл,
Но и сюда он шлет убийц наемных!
Наш счет окончен!.. Я теперь Филиппу —
Открытый враг открытому врагу!..
Свободный меч сегодня предлагаю
Я вам, сенаторы!.. Свободный кондотьер
Присягу в верности готов вам дать сегодня.

Д о ж

Вполне согласен с вами наш сенат.
Вас с герцогом миланским рассудила
Уже Италия. Бесповоротный суд
Был в вашу пользу. Вы, бесспорно, правы,
Отныне верностью и службою Филиппу
Вы не обязаны. И верность ваша нам
Принадлежит отныне. Наш расчет,

Надеюсь, будет лучше и честнее,
Чем тот, какой был сделан вам в Милане.
Сегодня первый верности залог
Вы нам дадите... Ждет от вас совета
Сенат Венеции.

Г р а ф

Светлейший дож! Я долго
И много думал, прежде чем вопрос
Вы мне поставили. Война — необходима.
И, если в будущем возможно что-нибудь
Предвидеть верное, война успешна будет,
Ее успех тем дальше от сомнений,
Чем меньше медлить захотите вы.
Какими силами располагает герцог?
Флоренцию он, правда, победил,
Но бесполезна трудная победа, —
Он утомлен и слишком обессилен!
Казна пуста... А граждане томятся
Под тяжестью бесчисленных податей:
Их давит страх, они полны надежды,
Что небо, сжалившись над ними, ниспошлет
Над их оружием его врагам победу.
Я это знаю, должен это знать.
В их памяти погаснуть не успели
Воспоминанья прежних, лучших дней,
Когда так пышно жизнь их расцветала
Под ярким солнцем славы и свободы...
Откуда б им рассвет ни заблистал,
Они к нему пойдут навстречу. Больно
И стыдно им носить свое ярмо.
И герцог это видит... Он заметил
Издалека опасность — и прислал
Он к вам послов с словами грубой лести.
Он просит мира, по ему довольно
И перемирия, чтоб жадно растерзать
Свою добычу, он в нее когтями
Уже успел вцепиться... Но допустим,
Что перемирие ему дадите вы.
Все переменится немедленно. Жестоко
С Флоренцией расправившись, солдат
Накормит он награбленной добычей
И в них разбудит жажду грабежа.

И кто тогда осмелится отвергнуть
Его союз? О, счастлив будет тот,
Кто первый другом быть ему сумеет!
И вы тогда останетесь одни.
Когда и как войну затеять с вами,
Обдумает спокойно на досуге
Ваш грозный враг. Горит суровым гневом
В дни неудачи доблестное сердце,—
Но в герцоге его корыстный гнев
Пылает ярче в дни слепого счастья.
Опасности боится он, а там,
Где он уверен может быть в успехе,
Нетерпелив и дерзок. И его
Перед собой солдаты не увидят.
Одной добычи он от битвы ждет.
То прячется пугливо в старом замке,
То затевает пышные пиры
В роскошных виллах... В толках об охоте
И о пирах проводит он досуг,
Когда не шепчется в мучительном испуге,
Как женщина, с каким-то колдуном.
Теперь момент разбить его затеи.
О, не теряйте времени! Скорей.
И чем скорей, тем ближе к вам победа!

Д о ж

Вас за совет ваш, благородный граф,
Благодарит сенат венецианский.
Что б ни решили мы сегодня, ваш совет
Был дорог нам... Мы видим в нем залог
И мудрости, и вашей верной дружбы.

Граф уходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Д о ж и сенаторы.

Д о ж

Граф Карманьола нашему сенату
Дает совет немедленной войны,
И за войну я подаю свой голос.
Остался ль нам другой такой же выход,

Такой же честный и надежный путь,
Как путь войны — прямой и благородный?
Протянем руку помощи в несчастье
Флоренции и вступим с ней в союз,
Разделим с ней опасность и надежды
И встретим вместе общего врага,
Не то грозит нам будущность бедою!
Он, слабому бросающий свой вызов,
Он, злобный враг всем, кто его рабом
Не хочет быть, — он просит мира, герцог!..
Зачем же мир ему теперь так нужен?
О, он хотел бы выбрать время сам,
Когда б ему войну угодно было
Нам объявить. Но этот выбор — наш
На этот раз, когда мы не ошиблись.
Своих врагов он бить хотел бы порознь,
Но выйдем мы на битву заодно.
Под звуки лести Лев Венецианский
В беспечности ленивой не задремлет.
Да, герцог, ты неверно рассчитал.
Вступить в союз с Флоренцией, Филиппу
Немедленно же объявить войну,
Вручить команду графу Карманьоле
Над сухопутным войском — вот мой голос.

М а р и н о

Все это так. Против войны не буду
Я говорить. Она — необходима,
Она законна. Но успех ее
Нам следует покрепче обеспечить.
Я в выборе вождя опасность вижу.
Пусть граф имеет здесь своих друзей.
Пусть даже их в сенате нашем много,
Но я в одном глубоко убежден:
Не может быть, чтоб и для них был граф
Дороже, чем отечество. Ничтожно,
Ничтожно все пред благом государства.
Светлейший дож! Поверьте, больно мне
Во взглядах с вами резко расходиться,
Но я скажу, что этот полководец
Несовместим с достоинством и честью
Республики венецианской. Граф, —
Он разошелся с герцогом. Не буду

Искать настойчиво причины их раздора.
Граф оскорблен был. — Это — вероятно.
Оправдывать такое оскорбленье
Я не могу. Да, это все возможно.
Его словам я верю. Только в них
Нам вдуматься поглубже не мешает,
Они и нам немало говорят.
Сенаторы! Нам следует подумать
Заранее, легко ли будет нам
Вести дела с вождем самолюбивым,
Обидчивым, могучим и надменным?
Мне кажется, не меньше, чем в войне,
Опасности в таком вожде таится.
Пока от подчиненных мы могли
Почтительности требовать спокойно.
Ну, а теперь, пожалуй, нам придется
Самим почтительности поучиться.
Для наших дел мы меч ему даем.
Но, взяв его, держа в руках все войско,
Захочет ли он подчиняться нам?
И что же нам останется? Стараться
Не раздражать могучего вождя?
А если мы во взглядах разойдемся,
И, что возможно, перевес возьмет
Над нашей волей — воля кондотьера?
Достойно это нашего сената?
Да и нельзя считать непобедимым
Ни одного вождя, будь он и Карманьола.
Ошибки могут быть, а кто же за ошибки
Расплачиваться будет? Только мы!
А жаловаться право нам оставят?
И что взамен такого униженья
Получим мы? Что делать нам тогда?
Перетерпеть? Сенат венецианский,
Ты примешь этот выход из беды?
Или сердиться будем мы и повод
Ему дадим уйти от нас в обиду,
Оставив нас на произвол судьбы,
Среди условий гибельных и трудных?
Но, гневный вождь, куда же он пойдет?
Пойдет... туда, куда ему угодно...
Быть может, снова к нашему врагу,
Снесет ему все, что о нас он знает,

И величаясь будет говорить,
Что он — герой, а мы неблагодарны.

Д о ж

От герцога, Марино, граф ушел.
Конечно, так. Но что такое герцог?
Он и на трон посажен тем же графом.
И разве мог в своих руках держать
Такой синьор такого кондотьера?
Он окружил ничтожными людьми
Свой шаткий трон, а сам неосторожен,
Недальновиден и труслив. Свой страх
Он затаить не мог глубоко в сердце
И молча ждать удобного мгновенья,
Он дал заметить замысел врагу.
Таков Филипп. Но разве есть меж нами,
В Венеции, такие же безумцы?
И если конь на всем скаку с седлом
С своей спины скачком безумным сбросит
Неопытного всадника, то разве
Испытанный и сдержанный наездник
Не оседлает снова скакуна?

М а р и н о

Дож верит графу. Этого довольно.
Я умолкаю и одно спрошу,—
Согласен дож за графа поручиться?

Д о ж

Прямой вопрос — и будет прям ответ.
Ни за кого ручаться я не буду.
Я верен долгу, я в себе уверен —
И этого с меня довольно. Но, Марино,
Что это значит? Я не предлагал
Доверить графу войско без контроля
Со стороны Венеции. Поверьте, я не мог
Желать найти в наемном кондотьере
Хозяина республики. Мне он
Доверие внушает. Но допустим,

Что я ошибся... О, всегда найдется
Внимательное ухо, чтоб подслушать
Преступный замысел, а чтоб разбить его,
Найдутся и невидимые руки.

Марко

Зачем бросать сомнений скорбных тень
Нам рано так на светлое начало?
Зачем пришли, зачем смутили нас
Пустые призраки измены и обмана?
Нет, подозрительный и осторожный ум,
Ты здесь не прав: пусть только чуткость
дружбы

О будущем сегодня говорит.
Для Карманьолы дорог наш союз,
Лишь дружбой с нами он достигнуть может
Осуществленья замыслов своих.
Мне нет нужды доказывать вам это.
Но верности имеем мы залог
Еще один, сенаторы. О славе
Тоскует вновь покрытый славой граф.
Суровый вождь, — он горд и благороден.
Не может быть, чтоб в этот честный ум
Могла закрасться низкая измена,
Чтоб и его коснуться мог позор.
О, бросим прочь все эти подозренья!
Пусть осторожность будет наблюдать,
Но наше сердце — пусть спокойно верит.
В тот славный день, который осенит
Опять победой стяги Карманьолы,
Мы благодарность нашу принесем
Ему с таким же честным благородством,
С каким он нам несет свои услуги.

Многие сенаторы

На голоса!

Дож

Сберите голоса.
Но помните, как важно государству,
Чтобы никто решенья не узнал,
Которое мы приняли сегодня.

Венеция не многим доверяет
Свои секреты, и из них никто
Не может этой тайне изменить
И избежать за это наказанья.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ДОМ ГРАФА.

Граф

Беглец иль кондотьер? Вот мой вопрос,
Который мне Венеция решает.
Бесславный отдых старого солдата,
Сны прежней славы, жалкая нужда
Просить себе приюта и защиты
У тех людей, которые, быть может,
Когда-нибудь устанут защищать —
Или опять увидеть поле битвы,
И снова жить, и вновь своей судьбе
Идти навстречу смело и открыто
Под звуки труб, под шум моих знамен,
С солдатами, привыкшими к победе?
Вот мой вопрос!.. Сенат венецианский,
Ужели вновь твоё решение — мир?
А мне опять таиться, как в темнице,
В твоём убежище безмолвном и печальном,
Как будто я убийца прежних дней,
Во храме ищущий последнего спасенья?
Я — и бессилён пред своей судьбой,
Я, правивший судьбами государства?
Италия! В кругу твоих князей
Ужели нет завистников Висконти?
Блеск герцогской короны над челом
Желаний их ужели не волнует?
А если есть, то помнят ли они,
Что я достал блестящую корону,
Что я её Филиппу подарил,
И что теперь горю одним желаньем —
Сорвать её с ничтожной головы
И дать тому в подарок драгоценный,
Кто призовет к себе на службу меч,
Мой добрый меч, меч графа Карманьолы?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф и Марко.

Граф

Желанный друг! Скажи, какие вести?

Марко

Ты — полководец. Решена война.

Граф

О, Марко! Знай, ни разу перед битвой
Так горячо мое не билось сердце,
Как в этот миг оно во мне забилося.
Как верит мне сенат ваш благородный!
Его доверие, что б ни было, клянусь,
Обмануто не будет... Мне сегодня
Судьба всю жизнь мою определила.
Старинная и славная семья,
Венеция, твой новый сын, отныне
Мой меч тебе навек я посвящаю,
Твоим величием, твоею славой горд,
Отдам все силы для твоей защиты.

Марко

Святые сны! Да сохранит их небо
От гибели... У них есть два врага —
Судьба — и ты.

Граф

Как? Я?

Марко

Да, Карманьола.

Доверчивый и благородный ум,
Весь занятый чужою пользой, часто
Вредит себе. Исполнив трудный подвиг,
Который был по силам лишь ему,
Он делает один ничтожный промах,
И падает, и больше встать не может.
Моей любви и дружбе, Карманьола,

Поверь сегодня... Ты своих друзей,
Конечно, знаешь... Правда, их немало.
Но помни же, не все тебе друзья...
Ну, этого довольно. Я не смею
Подробнее с тобою говорить,
И без того сказал я слишком много.
Но ты мне друг. Вели моим словам
В твоей душе скрываться одиноко.

Г р а ф

Но разве, Марко, это все мне ново?
И я не знаю, кто мой враги?

М а р к о

А знаешь ты, кто сделал их врагами?
Ты, ты один. Ты выше их, конечно,
Ты это чувствуешь. На каждый их протест
Один ответ — открытое презрение —
Ты им даешь. Пока тебе не могут
Они вредить. Но знай, их час настанет.
Ты до сих пор о них не хочешь думать,
Ты ждешь того, когда ты встретишь их
Лицом к лицу открыто на дороге.
Но о тебе-то думают они
Гораздо больше, чем предполагаешь
Ты, Карманьола! У тебя врагам
Презрения и забвенья слишком много.
Но нет у них привычки забывать
И много в них уменья ненавидеть.
Не раздражай их. Погаси вражду
В зародыше. Теперь возможно это.
Я не хочу советовать тебе
Постыдных средств и лицемерной лести.
Нет, трусости угодливой не надо,
Но и беспечности здесь также места нет,
Меж этих крайностей найди свою дорогу.
Умей привлечь и честные сердца,
И ум рабов опасных и ничтожных,
Найди любовь народа, но не лести
Его страстям, и в день твоей невзгоды
Покорно он пойдет на твой призыв.

Г р а ф

Ты, Марко, прав. Ты слишком прав, мой
Марко!

Я тоже думал много, много раз,
Но, к сожаленью, скоро эту мудрость
Позабывал. И я, конечно, видел
Не мало раз, что там, где сеют гнев,
Придется жать раскаянье. Но это
Бесплодной школой было для меня,
И я устал себе законы ставить,
Которым следовать я никогда не мог.
Моя судьба нередко мне сплетала
Запутанные сети, их распутать
Я не умел, да и само умение
Распутывать и разрешать узлы
Я до сих пор ценить не научился.
И я решил, что если мне придется
В таких сетях запутаться глубоко
И выхода себе не находить,
То я пойду своей судьбе навстречу,
Не делая усилий бесполезных.
Но посмотри, мой Марко, на себя.
И у тебя свои враги найдутся.
Скажи же мне, ужель ты их считаешь
Достойными — не говорю усилий
Смягчить их гнев, но даже дать заметить,
Что ты их презираешь?

М а р к о

Да, ты прав.

Но что же делать, если человеку,
С рождения привыкшему носить
Свое чело высоко и стремиться
На подвиг правды честною душой,
Судьба родиться там определила,
Где нет нужды в открытой, смелой силе,
Где жизнь полна невидимых тревог,
И тайных бурь, и ненависти скрытой?
Здесь лицемерной скрытностью себя
Порой спастись бывает неизбежно.
Не удивляйся же, что даже мне пришлось
Немного этому искусству научиться.

Но знай еще, что мне мои ошибки
Грозят бедою меньше, чем тебе.
Кинжалу меньше грудь моя доступна,
От частной ненависти больше огражден
Я властью и защитой государства.
Я тот же пурпур на плечах ношу,
Каким одеты гордые синьоры,
Держащие мою судьбу в руках,
Не забывай: для них — ты иностранец,
Для них пока ты только кондотьер,
Ты — полководец, нанятый за деньги.
Тебе даны в защиту государства
Мечи их войска, но скажи, где меч,
Который был бы дан тебе в защиту?..
Запомни все и пусть твои друзья
Услышат только голос одобренья
И похвалы искусному вождю,
Избавь друзей от тягостной заботы
Тебя оправдывать, и верь мне, что очи
Не будут счастливы, когда твое несчастье
Они почувствуют... Что мне еще сказать?
Коснуться ль мне еще струны заветной,
Которая, быть может, зазвенит
Глубоко в сердце? У тебя жена
И дочь твоя — им ты одна надежда,
Они привыкли к радости и счастью,
Привыкли к ласке ясных, светлых дней.
А кто им даст, когда тебя не будет,
Такие дни? Не говори, что властно
Тебя влечет могучая судьба,
Скажи «хочу» — и снова господином
Будь над собой, как прежде.

Г р а ф

Ты сказал
Мне правду, Марко. Я глубоко верю,
Что богом я и небом не забыт,
Когда такой мне послан друг. Но слушай,
Успех войны, надеюсь, примирит
Со мною всех врагов моих, и радость
Все разрешит, все разом успокоит.
Но если ты услышишь что-нибудь
Тревожное, сомнительное, слуху

Не торопись поверить, не вини
Меня ни в чем по первой вести, помни,
Что слов твоих я, Марко, не забуду.

Марко

Теперь я рад. Теперь иди к победам
И к нам вернись. Как будет дорог мне
Желанный гость — гонец твой с поля битвы,
Который нам известье принесет
Спасения республики и славы,
Победной славы славного вождя!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

ЧАСТЬ ГЕРЦОГСКОГО ЛАГЕРЯ, ПАЛАТКА.

Малатести и Пергола.

Пергола

Да, кондотьер! Как приказали вы,
Свой войска я к битве приготовил,
Судьбу войны доверил герцог вам,
И я вам повинуюсь — с болью в сердце.
Но, Малатести, время не ушло,
Я вас прошу, не надо этой битвы.

Малатести

Я знаю, Пергола, что вы — искусный вождь,
В делах войны ваш голос значит много,
Но взять назад приказ мой — не могу.
Вы сами знаете, как дерзок Карманьола,
Он нас зовет на битву каждый день,
И вот теперь он обложил Маклодий
Пред нашим фронтом. И теперь для нас
Два только выхода — прогнать его отсюда
Или бежать без битвы перед ним.
Последнее — позорно...

Пергола

Малатести!

Проверить вновь внимательным сомнением
Красивых дум блестящие ряды —
Нелегкий подвиг. Он не всем по силам.
Но, Малатести, он по силам вам.
Вот почему решаюсь я пред вами
В последний раз об этом говорить.
С тех пор, как варвары несметными толпами
Своих солдат к нам из-за Альп не шлют,
Таких могучих армий не видала
Еще Италия. И в нашем войске — все,
Вся сила герцога, на нем его надежды,
Ему другого войска не собрать.
Исход войны предвидеть невозможно,
Случайность в ней всегда свое возьмет.
Но пусть она так много, много значит,—
Зачем ей все безумно отдавать?
Зачем судьбе нести такие жертвы,
Каких она не требует от нас?
И нет для нас потерь невозвратимых
При нашем войске, если же оно
Разбито будет, с ним мы все теряем.
Зачем же нам бросать его, как кости,
Закрыв глаза, бросают игроки?
Нам будет тесно это поле битвы.
Оно нам незнакомо, а врагу,
Должно быть, слишком хорошо знакомо,
Что он упорно манит нас к нему,
Для нас узка дорога к Карманьоле,
Меж двух болот идет к нему она,
Кусты на ней разбросаны повсюду.
В них скрыл свои отряды хитрый вождь.
Где мы пойдем, оставив ложементы?
Как мы пройдем по этому пути?
Я убежден глубоко: здесь засада.
Недаром я не раз на бой ходил
В одних рядах когда-то с Карманьолой.
Мне кажется, в войне с таким врагом
Особенно опасна торопливость.
Мы будем ждать момента. Может быть,
Он утомит суровой дисциплиной

Своих вождей и, может быть, устанет
Держать всегда натянутой узду...
И если день настал для этой битвы,
Не здесь ей место. Мы должны уйти.
Мы сами выберем удобное нам место.
И пусть туда за нами он идет,
Таких удобств он там иметь не будет.

М а л а т е с т и

Лицом к лицу стоят войска пред битвой,
Великой битвой, герцогу Филлипу
Она нужна. Он слишком долго медлил
И слишком, слишком много потерял,
Пока таким же следовал советам...
Нет, медлить — риск, уйти отсюда — гибель.
Кто знает, там, на вашем новом месте,
Найду ли я солдат своих такими,
Какими здесь их вижу? Все, что вождь
Прикажет им, они теперь исполнят,
И с ними мне теперь возможно все!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сф ор ца, Фортебраччо и те же.

М а л а т е с т и

Как кстати к нам приходите вы, Сф ор ца
И Фортебраччо! Расскажите нам,
Каким нашли вы боевое поле?
Чего нам ждать?

С ф о р ц а

Победы, кондотьер!

Когда приказ готовиться к сраженью
Я объявлял солдатам, мне в ответ
Шумел грозой могучий крик восторга.
Меня встречал их радостный привет,
Я говорил, и тотчас умолкали
Все голоса, и в мертвой тишине
Мой только голос властно раздавался.
И взоры их, горевшие огнем,
«Веди скорей на бой» — мне говорили.

Ф ортебраччо

Да, кондотьер, таким огнем горит
Все наше войско. И когда к солдатам
Я подскакал, суровою толпой
Они меня угрюмо обступили.
Один спросил: «Звук боевой трубы
Когда-нибудь услышать нам придется?»
Другой сказал: «Насмешки от врага
Нам надоесть успели». Все просили
Скорее битвы. Им ее успех
Не кажется сомнительным, и только
Один вопрос — когда же? — мучит их.
Я им сказал: «Соратники, как прежде,
Опять к победе дружно мы пойдем,
Когда трубы, теперь уж недалекой,
Призыв услышим». Бешено шумел
Восторг солдат в ответ на эти вести...
Блестели шлемы в воздухе на копьях,
Горели лица радостью и счастьем.
И их восторг и до сих пор шумит
В моей груди. Кто с вестью отступления
К таким солдатам смеет подойти?
Они горят суровым нетерпеньем
Свои мечи скорее обнажить.
И дать теперь приказ снимать палатки?
Нет, ни за что с таким приказом к ним
Я не поехал бы...

Пергола

Какие речи!

Солдат дает приказ своим вождям,
Вождь ждет себе команды от солдата...
Мне это ново.

Ф ортебраччо

Пергола! Солдаты,
Которых я на битву поведу,
Учились дисциплине в школе Браччо.
А это имя живо до сих пор,
Оно всегда будило удивление
И ужасом дышало. Этот вождь
Своих солдат терпеть врага насмешки
Не приучал.

Пергола

Каков бы ни был я,
Своих солдат военной дисциплине
Я сам учил. Они от кондотьера
Привыкли ждать его распоряжений,
Привыкли верить своему вождю.

Малатести

У нас нет времени для частных пререканий,
Оставьте спор свой, гордые вожди,
У нас есть враг — но он не здесь...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Торелло.

Сфорца

Торелло!

А ваше мнение теперь переменялось?
Восторг солдат вы видели?

Торелло

Я видел.

Их взоры блещут жаждой скорой битвы,
Они пойдут охотно за вождем,
Они свой долг исполняют. Но невольно
От их рядов я молча отвернулся.
Я не хотел, чтоб на моем лице
Они мои сомненья подглядели.
Обманет их, изменит им победа,
Которой ждут так весело они,
Погибнут даром мужество и доблесть.
И я от них скрывал свое лицо,
Пока скакал я молча перед фронтом.
И долго я в ту сторону глядел,
Где ждет нас враг. Кусты на топкой почве
Казались мне живыми. Sterегут
Они наш путь. Клянусь я, в них — засада.
Двойным кольцом стоит обоз врага
С той стороны, откуда нападенья
Он может ждать... И если в первый раз

Его войска не выдержат атаки,
Легко ему собрать своих солдат
И к новой битве быстро приготовить.
Да, ты умно придумал, Карманьола.
При неудаче мысль солдат — бежать,
И эту мысль ты отнял у солдата.
Нет, нам одним ударом не разбить
Его войска... Нам две отдельных битвы
Придется с ним сегодня начинать...
А мы... Зачем мы все еще боимся
Признаться в правде? Разве наш солдат
Вполне надежен? Он идет на битву
Не за жену, не за своих детей, —
Не на защиту родины любимой —
Он нанят нами, он идет за деньги.
И можем мы надеяться, что он
Удержит место, где его поставят,
Хотя бы смерть ему на нем грозила?
Нет, храбрости еще возможно ждать,
Но стойкости в наемном войске мало.
С безумной дерзостью войска на бой идут,
Когда полны надеждой на победу,
Но если первый натиск не дает
Им перевеса в битве над врагами,
И если им придется выбирать
Смерть или бегство, — выбор их опасен.
Предвидеть это — мудрость, устранить
Такой исход — заслуга полководца.
Да, в наше время трудностей в войне
Гораздо больше, славы... меньше славы.
Нет, я не мог свой взгляд переменить
На эту битву: здесь, на этом поле
Не место ей...

М а л а т е с т и

И значит?..

Т о р е л л о

Мы уйдем.

В руках врага здесь много лишних выгод.
Пойдем туда, где этих выгод враг
Иметь не будет.

М а л а т е с т и

И Маклодий бросим
Как дорогой подарок, Карманьоле?
Покинем наших доблестных друзей?..
А им одним двух дней не продержаться!

Т о р е л л о

Все это так. Но мы должны спасать
Не гарнизон, не города и земли,
А государство.

С ф о р ц а

Разве без земель
Возможно государство? Мы, Торелло,
Давно бежим и слишком долго медлим,
И города сдаем врагу без битвы.
Казаль, Квинцано, Бина... Грустный счет!
Его вести не в силах я... Считайте,
Считайте сами дальше, если может
Спокойным быть при этом ваше сердце.
Мы рвем на части дорогую ткань,—
Ту ткань, которую защите нашей герцог
И нашей доблести доверил. Наш гонец
Опять поедет с вестью отступления?
И много мы пошлем таких гонцов?
Надменной гордостью, презрительной
насмешкой
В нас бросит враг, когда опять узнает,
Что вновь мы отступаем.

Т о р е л л о

Это значит,
Что враг наш хочет этой битвы, Сфорца.

С ф о р ц а

Он хочет? Нет! Чего ему желать,
Когда и так он наше войско гонит
С мечом в ножнах?

П е р г о л а

Нет, Сфорца, вы
ошиблись.
Понятны мне желанья Карманьоле.
Поверьте мне, он хочет, чтобы мы

Всем нашим войском в битве рисковали
В той местности, где выгодно ему.
Но мы уйдем. Нам слишком нужно войско.
Мы с ним вернем свои потери.

Фортебраччо

Как?

Когда солдат приучим мы скрываться,
И всякий раз бежать перед врагом,
Боясь глядеть в лицо ему, и низко
В опасности бросать своих друзей,
Тогда они нам возвратят потери?
Теперь они готовы побеждать
И нам вернуть утраченные земли.
Насмешками своими враг зажег
Их мощный гнев, они на битву рвутся.
Зачем давать отточенным мечам
Покрыться ржавчиной? Зачем опять нам
медлить?

Чего нам ждать?

Сфорца

Торелло, вы боитесь,
Что нас засада может ожидать?
Но в наше время прежние приемы
Военных действий не имеют смысла.
Бывало прежде, по стране бродили
Ничтожными отрядами враги,
И каждый куст, крутой изгиб дороги
Казался страшным, мог скрываться враг
В такой засаде... Миновало время
Подобных войн. Все силы враг ведет
Теперь на битву смело и открыто.
Искать его — не надо. Побеждать —
Одно искусство нужно нам. А войско,
Ломая грозно встречные преграды,
Где может стать, своей считает землю
И не вернет ее назад без битвы.

Фортебраччо
(к Перголе и Торелло)

Убеждены вы?

Торелло

Но позвольте...

Малатести

Нет.

Я убежден. Не нужно больше споров.
Вы разошлись во взглядах, но я верю,
Что дружно вы пойдете на врага.
И если нам и тот и этот выбор
Грозит опасностью, мы избираем тот,
Где больше славы. Это — выбор битвы.
Я впереди своих солдат поставлю,
И в первый бой я сам их поведу.
Ты, Сфорца, будешь охранять наш тыл.
А ты свои отряды, Фортебраччо,
Поставишь между нами. Мы ударим
Могучим натиском на лагерь Карманьолы,
Прорвем их строй и оттесним солдат,
И вырвем вновь из рук врага Маклодий.
Вы, Пергола, и вы, Торелло, битвы
Вести на этом месте не хотели.
Я предлагаю вам опасный этот день
Лишить опасности... Недалеко за нами
В резерве вы отряды поведете.
И если храбрым, как всегда, судьба
И в этот день поможет, мы прорвемся
Сквозь цепь врагов, и свежей силой вы
Сомнете их разбросанное войско.
А если враг напор наш отобьет,
И нас замкнет в своем кольце железном,
И нам назад закроет всякий путь,—
Спешите к нам на помощь, выручайте
Своих друзей, но знайте, наших лиц
Мы от врагов в бою не будем прятать
И до конца их не покажем вам.

Фортебраччо

Нет, не покажем!..

Сфорца

Ни за что на свете!

Фортебраччо

О, слава богу! Наконец-то бой!..
А сколько споров стоило сегодня
Решить вождю сраженья!..

Пергола

Карманьола,
Ты угадал, что молодой задор
Седую опытность сегодня переспорит.

Фортебраччо

Да, опытность и мудрость стариков...
Она растет, пока не превратится
В конце концов...

Пергола

Во что, скажите?

Фортебраччо

В страх,
Коли угодно знать вам...

Малатести

Фортебраччо!!

Пергола

Что ты сказал?.. Солдат, который много
И видел битв, и одержал побед,
Когда ты был почти еще ребенком
И не видал развернутых знамен,
Он от тебя сегодня должен слышать
Такие речи... В первый раз сегодня
И первый ты осмелился...

Малатести

Ни слова!

В той стороне — вон там — стоит Маклодий.
Там Карманьола, только он наш враг,
И кто теперь других врагов имеет,
Изменник тот! Ни слова! Замолчите!

Пергола

Свой прежний голос я беру назад...
Теперь его я подаю за битву...
Да, битва будет неудачна, но...
Теперь за битву подаю я голос!..
Я эту битву отклонить хотел,
Теперь ее прошу я... Я за битву...

Малатести

Я, Пергола, беру от вас ваш голос,
Но предсказанье ваше — нет, врагам
Пусть будет то, что нам вы предсказали.

Пергола

Ты, Фортебраччо, оскорбил меня...

Малатести

Теперь не время...

Фортебраччо

Если хочешь думать...

Мои слова, как хочешь, понимай...
Но только знай, что, как бы ни обидны
Они тебе казались, я назад
Их не возьму... Я их сказал...

Малатести
(собираясь уходить)

За мною,

Кто верен герцогу!..

Пергола

Даю вам обещанье,
Что в битву все сегодня, кондотьер,
Пойдем мы дружно... Только, Фортебраччо...
Ты, Фортебраччо, оскорбил меня!..
Зачем же снова новые обиды
Ты мне готовишь? Слушай, я готов
Тебе помочь найти удобный способ
Восстановить поруганную честь
Седого Перголы, не оскорбляя этим
И твоего достоинства...

Фортебраччо

Чего ты хочешь?

Пергола

Отдай твое мне место, Фортебраччо,
Возьми мое. Где б ни сражался ты,
Известно всем, что ты стоял за битву.

А я... Пойми... Мне нужно, слишком нужно
Сражаться там, где б друг и недруг видел,
Что я не... то, что ты сказал...

Ф ор те бра ч ч о

Согласен.

Возьми мой пост. Он твой, когда ты хочешь.
Но, Пергола мой храбрый, я не мог,
Я не хотел нанести тебе обиду.
Я очень рад сказать тебе, что я
Не оскорблял тебя... Мне показалось,
слишком

Боишься ты — за герцогское войско.
Вот что хотел сказать я. Этот страх
Родиться мог в твоём бесстрашном сердце,
Но пред опасностью он гаснет, ты за жизнь
Не дрогнешь в день военной непогоды.
И думал ты?..

Пергола

Я ничего не думал.
Ты говорил, как честный вождь.
(К Малатести.)

Синьор,

Согласны вы на эту перемену?

Малатести

Я очень рад, что гнев ваш весь врагу
Вы отдаете безраздельно.

Торелло (к Сфорце)

Прежде

Мне с Перголой назначен рядом был
Мой пост... Теперь... несправедливо это...

Сфорца

Я понимаю. Занимай мой пост.
Последние и первые, мы будем
Сражаться дружно... Безразлично, где
Придется быть нам.

М а л а т е с т и

Но пора. За дело.
Пора, пора — и да хранит вас бог.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ЛАГЕРЬ. ПАЛАТКА ГРАФА.

Граф и солдат.

С о л д а т

Синьор! Враги на лагерь наш идут.
Их авангард вступил...

Г р а ф

Где кондотьеры?

С о л д а т

Здесь, у палатки — ждут распоряжений...

Г р а ф

Зови. Я жду.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г р а ф

Ты наступил, мой день!
Я звал тебя... Я за тебя боялся...
Я по тебе глубоко тосковал...
Я был один, осмеянный, бессильный,
И на тебя надеяться не смел,
Но я сказал, что будешь ты. Сегодня
Приветствую тебя, счастливый день!
Свои слова я помню... «Ты увидишь
Меня вождем — вождем твоих врагов,
И ты раскаешься тогда, неблагодарный!»
Так я сказал. Но мне казалось сном,
Безумной грезой это обещанье...
Мечта сбылась и оправдался сон!

Сегодня — день мой... День моей победы,
Тебя я чувствую!.. О, успокойся, сердце!
А если мне?.. Но нет... Моя победа.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Граф, Гонзага, Орсини, Толентино и другие
полководцы.

Граф

Соратники! Наш враг мои желанья
Исполнил все. И я на вас надеюсь,
Что также их исполните и вы.
Смотрите — там встает в лучах рассвета
Блещающее солнце. Лучший день
Для нас оно на небе зажигает.
Я знаю вас, не только ради славы
Вы ждете битвы... Но, клянусь я, будет
Безмерно славным вечер наш сегодня!
И имя этой битвы прогремит
Далеким эхом!.. Перед ним Маклодий
Покажется ничтожным... Ты, Орсини,
Своих солдат к сраженью приготовил?

Орсини

Да, кондотьер.

Граф

Вели своим отрядам
Рассыпаться направо от дороги
И всех солдат, которых там найдешь,
Возьми к себе немедленно под команду.
А ты пойдешь налево, Толентино.
Не торопитесь битвой. Ждите нас,
И только мы с врагом в бою сойдемся,
К нему на плечи бросьтесь. Но когда
Заметит враг засаду и захочет
Уйти назад, — как только он спиною
К вам повернется, бейте оба разом
В открытый тыл. Я подоспею к вам.
И в бегстве он найдет свою погибель,
Как он погибнуть должен в наступленье.

О р с и н и

Исполню все.

(Уходит.)

Т о л е н т и н о

Все сделаю.

(Уходит.)

Г р а ф

(к другим кондотьерам)

Со мною рядом ты пойдешь на бой.
А вам, друзья, места на поле битвы
Я укажу. Идемте. Первый натиск
Отбить бы только, и победа наша,

(Уходит.)

Х о р

Вдали боевая труба прозвучала.
Другая труба отозвалась вдали.
Под конским копытом земля задрожала,
И шумно солдаты на битву пошли.
Вожди и знамена ведут их на сечу,
Другие знамена шумят им навстречу,
Проходят ряды закаленных солдат.
Вперед! Им не будет дороги назад.

Сошлись. И мечи из ножен загремели,
Железо стучит по железу кругом,
Горячею кровью клинки заалели,
И кровь полилась на пиру боевом.
Но кто же, кто стал за отца и за деда,
Сказав перед битвою: смерть или победа?
Какие враги из далекой земли
На эти поля за добычей пришли?

Здесь нет чужеземцев! Здесь борются
братья!..

Растила, кормила одна их страна.
Своим и врагам боевые проклятья
Понятны и близки... Речь боя — одна.
Морями и Альпами край их природа

Спасала от злобы чужого народа,
Но братья родные сошлись воевать
И залили кровью кормилицу-мать.

Ужасная распря! Но кто же, безбожный,
Кто первый на брата свой меч обнажил?
Зачем и за что же в борьбе невозможной
Он кровью родные поля напоил?
Не знает никто! И направо, налево,
Мечи опуская без злобы и гнева,
Солдаты идут за продажным вождем,
Торгуя продажным, презренным мечом.

И это их детям, их женам известно?
Они не уймут иступленных мужей?
Их старцы не явятся в битве нечестной,
Не вырвут из рук нечестивых мечей?
Вы, старцы, вы, близкие к тихому гробу,
Уймите, гасите безумную злобу
И речью высокой и чистой своей
Смирите порывы нечистых страстей.

Зачем земледелец у хижины бедной,
Те тучи с их ношей желанных дождей,
Когда драгоценная влага бесследно
Прольется далеко от милых полей?
Зачем эти армии с мощью железной,
С победой и битвою их бесполезной,
С рядами без нужды убитых врагов,
С пожаром своих и чужих городов?

О, горе! О, горе! Валились рядами
Солдаты, как в жатву колосья полей,
И с новою силой стучали мечами,
И бой разгорался сильнее и сильнее.
Средь шума и битвы вожди не видали,
Куда их товарищи бой направляли...
Победы не будет... И дрогнул солдат.
Мгновенье... и он повернется назад.

Как падают зерна из полной лопаты,
Ложась полукругом на твердой земле,
На поле широком валились солдаты

С следами страданья на бледном челе.
И в страхе безумном они побежали.
Напрасно! В засаде враги ожидали,
И грозный противник пред ними стоял,
И сзади на плечи им враг налегал.

Отбросив оружие, жизни и плена
Солдаты просили у страшных врагов,
Склоняя пред ними в испуге колена...
Сливались со стоном упавших бойцов
Веселые клики победы счастливой,
И с вестью победы гонец торопливый
Стрелою летел на коне боевом,
И мчался как бешенный конь под бичом.

Зачем вы стоите толпой у дороги
И жадно из лагеря ждете вестей?
Зачем на гонца вы глядите в тревоге?
Ужасны победы могучих вождей!
Горячею кровью упавшего брата
Обрызгано в битве оружие солдата.
Не может из битвы быть вести другой,
Не может быть радости в вести такой.

Но блещут восторгом безумные взоры,
Но залит огнями ликующий храм,—
И господа славят хвалебные хоры,
И вьются гирлянды цветов по стенам.
Гордятся убийцы позорною славой,
А враг из-за Альп на их праздник

кровавый

Глядит и считает упавших в бою,
Скрывая до времени радость свою.

Оставьте триумфы! Забудьте молитвы
Бесславной победы. С альпийских высот
К вам враг чужеземный спустился для
битвы,

И вам чужеземное иго песет.

Он рад, что вы слабы, он рад, что вас мало,
Он рад, что так много недавно упало
В бою под ударами ваших мечей —
И ставит палатки средь ваших полей.

Ты всех сыновей накормить не умела
В дни мира без споров, родная страна!
Теперь на поля твои жадно слетела
Орда чужеземцев... Ты им отдана.
Сама для себя не сберешь ты посева.
В врагах не будила ты злобы и гнева,
Они из-за гор за добычей пришли,
Царям твоим цепи они принесли.

Безумные люди! До мирного счастья
Кровавой дорогой никто не дойдет!
И злобный виновник чужого несчастья
От кары и мести себя не спасет...
Пусть мщение медлит — оно неизбежно,
За жертвой намеченной смотрит прилежно,
Идет по следам ее, видит, и ждет,
И всюду и зорко ее стережет.

Мы братья. Мы дети единого бога!
Пусть горы и воды меж нами лежат,
Пусть в жизни не сходится наша дорога,
И разно слова нашей речи звучат,
И мы не видали друг друга, — мы братья.
Любовь нас связала навеки. Проклятье,
Проклятье тому, кто нечистой рукой
Кидает враждою в союз наш святой!

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Граф и первый комиссар.

Граф

Довольны вы?

Первый комиссар

О, кондотьер, довольны!
День торжества над родиной горит!
И первым нам венецианской славы

Счастливым день послал свои лучи...
Мы первые державному сенату
С приветом нашим шлем своих гонцов...
В ушах у нас еще не отзвенели
Слова угрозы дерзкого врага,
Когда бежать позорно с поля битвы
Его заставил наш победный меч.
И это бегство видели мы сами...
Да, он бежал, упал невольный страх,
Которым нас опасность обвевала.
Восходит в небе солнце нашей славы
Блистательней, чем прежде... О, синьор!
Такую радость рассказать словами?!
Но разве наши люди не горят
Ее огнем? И мне ли перед вами
О благодарности сегодня говорить?
О, нет, не я — сенат венецианский
Вам принесет державный свой привет.
Он вам найдет достойную награду
За подвиг ваш.

Граф

Я получил ее.
Венецию опасность миновала.
Отчасти я уже теперь сдержал
Свои слова. Я о себе напомнил
Тому, кто помнить не хотел меня,
Он побежден...

Первый комиссар

И все плоды победы
Собрать теперь необходимо вам.
Хотите вы?..

Граф

Что я хочу, я знаю.

Первый комиссар

Но, кондотьер, пред вами путь открыт.
От вас мы ждем, что этою дорогой
Вы до конца пойдете, ваш поход
Кончается у вражеского трона...

Граф

Быть может, да. Но не теперь.

Первый комиссар

Ужели

Преследовать бегущего врага
Вы не хотите?

Граф

Нет. Теперь не время.

Первый комиссар

Но наш сенат... Мы думали... Победа
Давала право думать нам, что вы
С таким же жаром пуститесь в погоню,
С каким вели на бой своих солдат,
Казалось нам...

Граф

Вы слишком торопливы.

Первый комиссар

Вы остановитесь? Что будут говорить,
Когда узнают...

Граф

Что следует довериться

вождю,

Который знает, как добыть победу...

Первый комиссар

Но... Что же делать думаете вы?

Граф

Свой план войны открыл бы я охотно
Для вас, синьор, когда б имел досуг.
Мне некогда. Теперь скажу немного.
Отсюда прочь я не уйду, пока
Окрестных замков не займу войсками.
Мой враг — один, и я привык смотреть
Ему в лицо, не в спину...

Первый комиссар

Но надежды,

Желанья наши...

Граф

Быстры, так что меч
Их догонять давно не поспевает,
Они быстрее боевых коней...
И в первый раз приходится сегодня
Услышать мне, что можно и меня
И торопить и подгонять...

Первый комиссар

Но что же?

Вы прекратить решаетесь поход?

Граф

Кто вам сказал? Победа мне не новость.
Я не настолько ею удивлен,
Чтоб позабыть, что сделать мне осталось,
Что мне теперь...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и второй комиссар.

Второй комиссар

Измена, кондотьер!

Скорей на помощь... Все плоды победы
Изменники стремятся погубить,
Они успели...

Граф

Что вы говорите?

Второй комиссар

Солдаты ваши отпускают пленных!
Вожди им позволяют это. Вы,
И только вы могли бы...

Граф

Я? Зачем?

Второй комиссар

Вы медлите?

Граф

Таков войны обычай.
Он вам известен. Побежденный враг
Не будит больше гнева. Честно бьются

Сердца солдат под их стальной кольчугой,
Несчастье им внушает состраданье,
Они хотят прощать своих врагов...
Ужели вы им запретить хотите
Обычай их? Вчера они за вас
Своею жизнью в битве рисковали.
За храбрость их вы не дадите им
Воспользоваться правом благородства?

Второй комиссар

Пусть, если хочет, будет благородным,
Кто для себя сражается, но мы
Солдатам вашим наши деньги платим.
Пусть даже честь на битву их зовет,
Но раз они берут за это деньги,
То пленники принадлежат не им.

Граф

Вы можете так думать... Но солдаты
Сошлись с врагами в битве, им в лицо
Они смотрели, нанося удары
И их ударам подставляя грудь,
Не даром им достался каждый пленник.
И думать так, как думаете вы,
Они, синьор, не могут.

Первый комиссар

Значит, битва

Была простым турниром? Не для нас,
Не для Венеции мечи вы обнажили?
Бесплодная победа...

Граф

И опять

Все то же слово! Это слово лживо
В моих ушах назойливо жужжит.
Оно, как летом мухи, — прочь прогонишь —
Летит назад и снова беспокоит...
Бесплодная победа!.. Там лежат
Ряды врагов, остаток их рассеян.
Оно бежит... бежит... Какое войско!
Когда б я мог опять его собрать
И развернуть над ним мои знамена,

Во всей Италии никто бы не посмел
Со мною спорить. Разбросал по ветру
Я замыслы надменного врага,
Да, оскорблять он больше не захочет...
Вчера с трудом из рук моих ушли
Четыре знаменитых кондотьера,
Довольные, что могут убежать...
Их вызывать на битву накануне
Казалось страшным риском,— и они,
Они бегут, и отзвенела слава
Непобедимых, доблестных вождей.
Дух наших войск горит огнем победы,
Уныние и страх в рядах врага.
Исход войны от нас зависит. Наши
Все области, откуда убежал
Разбитый враг... Бесплодная победа?!
Да разве пленники, свободные теперь,
Пойдут опять назад в миланский лагерь?
Да разве их на битву привела
Любовь к Филиппу? За него сражались
Они вчера? О, нет! Когда солдат
Идет за знаменем на голос кондотьера,
Властительный, непобедимый голос
Ему твердит: иди и побеждай.
Упали их знамена, и свободны
Они опять... Они пойдут к тому —
Таков удел солдата,— кто их купит.
Наймите их, и будут ваши...

Первый комиссар

Нет.

Когда мы вас на службу нанимали,
И ваших пленников купили мы...

Второй комиссар

Синьор,

Венеция вам верит. Как на сына,
Она на вас надеется. И вы
Все, что к ее клониться может славе,
Исполните...

Граф

Все, что могу.

Второй комиссар

Но что же
Вам невозможно?

Граф

Невозможно то,
О чем вы просите... Священный для солдата
Обычай я нарушить не могу.

Второй комиссар

Здесь вашей воле нет ограничений.
Вам все возможно, благородный граф!
Когда не страх, тогда любовь прикажет
Исполнить то, чего хотите вы.
И издавать, и отменять законы
Вы можете. Кто смеет...

Граф

Я сказал,
Что не могу исполнить вашей просьбы.
Теперь скажу прямее: не хочу.
Довольно слов... Я не хитрю с друзьями,
Когда могу исполнить просьбы их,
Не медлю я, но говорю открыто,
Когда их просьбы не по сердцу мне.
Отказ мой прям. Я не могу. Солдаты!

Второй комиссар

Но... что же, что хотите вы?..

Граф

Увидите.

(К солдату.)

Все пленники отпущены?

Солдат

Синьор,

Я думаю, четыреста осталось
Еще в плену.

Граф

Зови их. Пусть войдут.
Зови того, кто первый попадется...
Зови скорей...

Солдат уходит.

Конечно, я бы мог...

На мой приказ на этом поле битвы
Отказа мне не будет... Но друзей,
Товарищей в опасности и славе
Мне обмануть! О, нет. Они мне верят,
И от меня они спокойно ждут,
Что я приду и стану на защиту
Их выгоды и чести каждый раз,
Когда им будет угрожать опасность.
И мне, вождю, их службу унижать?
Мне делать их наемными рабами?
Мне отнимать права их? Нет, синьоры!
Я верен вам, и в войске нет измены.
Оно вам служит... Но зачем отнять
Моих солдат вы от меня хотите?
Зачем хотите сеять между нами
Раздор и гнев?... Быть может, нужно вам,
Чтоб только в вас я находил опору?
Мне кажется... Все это слишком странно...
Здесь что-то есть... Недаром к вам пришли
Такие мысли...

Второй комиссар

Что вы говорите!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Пленники, Пергола-сын, те же.

Граф

Вам изменило счастье, а не храбрость
Вчера, друзья. Сегодня вновь судьба
К одним лишь вам сурова. Вы остались
В плену одни...

П л е н н и к

О, благородный граф,
Мы этого не думаем. В палатку
Мы к вам входили с полною надеждой
Услышать здесь слова освобожденья.
Кто был в плену у ваших кондотьеров,
Давно уже отпущен... Только мы...

Г р а ф

Кто взял вас в плен?

П л е н н и к

Мы долго не сдавались.
Разбито было наше войско; в плен
Сдались одни, другие побежали,
И только мы с судьбой неравный спор
Еще вели... Тогда приказ вы дали
Нас окружить... И вот сложили мы —
Неспобежденные из войска побежденных —
Пред вашим знаменем...

Г р а ф

Так это были вы?
Я рад, друзья, сказать вам, что сражались
Вы доблестно... Когда бы вас на бой
Вел кондотьер, достойный вас, и в битве
Вы не были б покинуты, быть может,
Не мне пришлось бы встретить вас во фронте
Лицом к лицу...

П л е н н и к

И мы должны жалеть,
Что в плен сдались мы графу Карманьоле?
Товарищи попались в плен вождам,
Которые не так покрыты славой,
Как вы, синьор... Но мене славный враг
Был более учтивым и любезным.
Напрасно мы просили о свободе,
Никто не смел без вашего согласия
Нас отпустить... Но говорили нам,
Что задержать вы нас не захотите.
Нам говорили: вам дает судьба

Счастливым случай лично видеть графа.
О, ни за что не будет оскорблять
Наш кондотьер отказом побежденных.
Он сохранит обычаи войны,
Он не забудет боевых приличий,
Он первый сам...

Граф
(к комиссарам.)

Вы слышите, синьоры?!
Скажите же, скажите, что мне делать?
(К пленникам.)

Друзья мои! Да не допустит небо,
Чтоб суд чужой был лучше обо мне,
Чем тот, какой ношу я в этом сердце.
Вам говорили правду: вы свободны.
Счастливым путь! Искать свою судьбу
Ступайте вновь, свободные, как прежде,
И если вновь она поставит вас
Под знаменем, враждебным мне, мы с вами
Увидимся... Прощайте.

Радость между уходящими пленными; граф замечает Перго-
лу-сына и останавливает его.

Погоди
Ты, юноша. Костюм твой, взгляд открытый,
Твое лицо — ты не простой солдат!
Я это вижу... Для чего же молча
Ты расстаешься с нами?

Пергола

Полководец!
Каких речей ты ждешь от побежденных?

Граф

Но кто несет, как ты, свою судьбу,
Мне кажется достойным лучшей. Кто ты?
Скажи мне имя.

Пергола

Имя старой славы.
Его славнее сделать пелсгко.
Носить его достоин только храбрый.
Я — Пергола.

Граф

Как? Пергола? Ты сын
Испытанного в битвах кондотьера?..
Он благородный вождь...

Пергола

Он мой отец.

Граф

Дай мне обнять тебя. Мы прежде жили
дружно
С твоим отцом. Я был таким, как ты,
Когда его я в первый раз увидел.
О, юноша, как ты напомнил мне
Дни юности, дни молодой надежды!..
Но успокойся, молодой мой друг!..
Я начинал счастливее. Но храбрым
Судьба успех и славу обещает.
Твой день придет. Тебе твое отдаст
Слепое счастье... Юноша, снеси
Отцу привет горячий Карманьолы.
Скажи ему, что без расспросов, сам,
Я знал, что Пергола был против этой битвы.

Пергола

О да! Ты прав. Он битвы не хотел.
Но были тщетны все его усилия.

Граф

Ну, не грусти... Виновен Малатести,
И только он, в потере этой битвы.
Он виноват, и весь позор ему
За этот бой... А ты свой долг исполнил.
Ты храбро бился, до конца стоял,
Где был поставлен. Но пойдем со мною,
(берет его за руку)
Я покажу тебя моим вождям,
Отдам при них тебе твой меч.
(К комиссарам.)

Синьоры!

Я уйду. Я не был до победы
Ни добр, ни ласков с вашими врагами.
Прошу вас это помнить. До свиданья.

Граф и Пергола уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Комиссары.

Второй комиссар

Что? И теперь вы скажете, что мне,
Где нет опасности, порой опасность снится?
Что слишком скор я был на подозренье?
Что я к нему давно несправедлив
По чувству личной ненависти? Часто
Он отвечал мне резко и обида
Туманит глаз мой? Что же? Он упрям,
Надменный вождь, нетерпелив и дерзок,
Но верен долгу? Нам нужны услуги,
А не покорность кондотьера? Слишком
Преувеличенным казался вам мой страх,
Когда я опасался, что откажет
В опасности исполнить просьбы граф,
С которыми к нему мы обратимся?
Теперь убеждены вы?

Первый комиссар

Даже слишком.

Я говорил ему, что нам необходимо
Нанести удар бегущему врагу,—
Он отказался.

Второй комиссар

Что же он сказал?

Первый комиссар

Он крепости намерен брать осадой,
Бойтся он...

Второй комиссар

Какая осторожность!
И этот страх... после победы!

Первый комиссар

Он

Мне отвечал с обидной неохотой.
Едва-едва сходили с языка
Его слова. Он говорил, казалось,
С назойливым, нескромным болтуном,
Который выведать старается секреты,
Совсем ему ненужные, чужие...

Второй комиссар

Но все же он вам свой секрет открыл?
И вы нашли, что тот мотив, который
Он вам привел, чтоб успокоить вас,
Единственный и верный?

Первый комиссар

Я не знаю.

К таким речам я не привык, и мне
Казался он каким-то сумасшедшим.
Его слова я взвесить не успел.

Второй комиссар

Но, знаете... Мне кажется, от битвы
Страх был велик, а вред ее — ничтожен.
Зачем вредить недавнему синьору?..
Он награждать его умел когда-то...
Из рук его он получил свой трон...
И... может быть... с него довольно страха?..
Пусть только герцог наконец поймет,
Каков его противник знаменитый.
Пусть только он поймет, что этот враг
Незаменимым, мощным будет другом...
И мог ли граф желать разрушить трон,
Который им же раньше был поставлен?
Ведь только там он первым мог стоять;
И ближе всех к сидящему на троне...
Миланский герцог любит воевать

И гнется сам под тяжестью доспеха;
Ему нужны советы и мечи
И их привык он брать от кондотьера.
Он приказанья только те дает,
Которые солдат ему подскажет.
Филипп один — и слишком много нас.
Мы бодрствуем. Мы нового не ищем.
Мы старое заботливо храним.
Кому же больше граф служить захочет?
Кто для него удобнее? И где
Найдет себе он более простора,
Он, кто давно привык повелевать
И никогда не мог повиноваться?

Первый комиссар

Да... Может быть... Всего возможно ждать
От этого...

Второй комиссар

Но наши подозренья
Мы затаить до времени должны.
Он горд и прям, мы зорки и пытливы.
Догадки наши время подтвердит
Или совсем рассеет опасенья...
Но только он таит в своей душе
Какой-то замысел... Пока он не уверен
Еще в его успехе... Вот где ключ
К его поступкам... Слишком он не любит,
Когда о том пред ним заговорят,
Чего пока он открывать не хочет.
Над нами он смеется. Это знак,
Что он себе другого господина
Уже нашел... А может быть, и то,
Что он и сам уже нашел возможным
Повелевать другими... Только нет.
Еще не все покончил он с Филиппом.
Не может быть чужим он той семье,
Откуда взял себе жену. Вот узел,
Который им совсем не разорвать!
Пусть даже сам он разорвал с Филиппом,
Но дочь свою безумно любит он,
А в ней течет все та же кровь Висконти,

Первый комиссар

Как с нами он надменно говорил!
Как он ушел, смеясь над нашим гневом!
С каким спокойствием, как гордо не хотел
Он подчиняться нашим приказаньям!
Но разве здесь мы в лагере чужом?
Иль полномочия Венеции ничтожны?
А пленники... Побеждены они?
А если так, зачем глядят надменно
Они на нас?.. Ему мы показали,
Как он могуч на этом поле битвы,
Как может он исполнить все, что надо,
Как губит он плоды своей победы,—
Но нас послушать он не захотел.
Нет, более терпеть нам невозможно.
Что делать нам? Как думаете вы?

Второй комиссар

Что делать нам? Один остался выход —
Пока терпеть, и ждать, и притворяться.
Он знает сам, что нас он оскорбил,
Что мы обиды этой не забыли.
И мы ему пожалуемся вновь
На это оскорбление,— и умолкнем,
Когда ему не будем мы мешать,
Пред нами он скорей проговорится.
То предлагать, что сам он хочет делать,
Просить того, что дал бы он и так,
Не спорить с ним, а если нужно, спорить,
Но для того лишь, чтобы уступать.
И устранять все поводы к разрыву,
И все вокруг спокойно подмечать —
Вот наша роль! Вот что должны мы делать!
А между тем Совету Десяти
Все донести и ждать распоряжений.

Первый комиссар

Пусть будет так! Но как упали мы!
Почетный пост когда-то был сенатом
Доверен нам... И вот теперь он стал
Каким ничтожным!..

Второй комиссар

Родины спасенье

Не может быть ничтожным. Этот пост...
Теперь он слишком важен государству —
И мы должны гордиться быть на нем.
Нам нет другого выхода. Солдаты
И кондотьеры — за него здесь все.
Любовь солдат к нему не знает меры;
Вся гордость их лишь в том, чтоб исполнять
Послушно все его распоряженья.
Их честь в одном, — в умение заслужить
Его высокое и лестное вниманье.
Идет беда... И в этот день беды
Где мы найдем такой могучий голос,
Который мог бы быть услышан здесь?
А если вдруг мятежные солдаты
Пойдут на голос старого вождя?..
Нет, этих мер мы принимать не будем.
Не говорить, но слушать нужно... Мы
В числе друзей ему должны казаться
И твердо стать в числе его врагов.

Первый комиссар

Но может быть, что мы уж опоздали.
Он, кажется, подозревает нас?

Второй комиссар

О, нет еще! У нас еще есть шансы.
Он здесь один. Здесь жизнь не дорога;
Здесь не страшна опасность; здесь надежда
Сопровождает замыслы, пока
В его строю стоят еще солдаты...
Но там, у нас, живет его семья.
Вот наш залог. Но если подозренье
Родится в нем? И если наша лесть
И доказательства высокой дружбы нашей
Его не успокоят? Если он
От нас отнимет их? Тогда... тогда что
делать?

Покорные рабы его меча,
Мы склонимся пред волею солдата?

Первый комиссар
Исход один, вы правы. Будь что будет,
Но нам теперь другой дороги нет.

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА I

ЗАЛ СОВЕТА ДЕСЯТИ В ВЕНЕЦИИ.

Марко, сенатор, и Марино, член Совета Десяти.

Марко

По приказанию Совета Десяти
Сюда пришел я.

Марино

Я уполномочен
Вам сообщить от имени Совета,
Что из Венеции уехать вы должны
Немедленно по делу государства.
Насколько в этом порученье к вам
Доверие Совета, вам подскажет,
Конечно, ваша совесть...

Марко

Если я
Еще не мог доверия Совета
И до сих пор достойно заслужить,
И если мне еще нельзя доверить
Вести дела, где нужен сильный ум
И долгий опыт, все же, я надеюсь,
Отечество спокойно может верить
Мне всякий раз, когда ему нужны
Любовь к нему и верность.

М а р и н о

Это слово!..

Отечество!.. Тому, чья жизнь полна
Лишь им одним, его название — радость.
Но пусть дрожит, кто назовет его,
Когда он друг его врагам.

М а р к о

И значит,

Что это я?..

М а р и н о

Но за кого в сенате
Сегодня вы так страстно говорили?
Что разбудило гнев ваш? Ваш испуг
Зажгла опасность родины, быть может?
Кого вы защищали? Вы один?

М а р к о

Кто вы, я знаю. Пусть моя судьба
В руках у вас, но голос мой свободен.
Над ним нет места внешнему суду.
Судья ему один — мое сознание.
И лишь тогда я был бы виноват,
Когда бы я не этот подал голос.
Но я готов во всем отдать отчет.
Что нужно вам?

М а р и н о

Заботливости нашей
Доверено все, что могло бы быть
Опасным родине, сомнительным и вредным.
Вот почему вы позваны сюда.
Вам непонятно это? Если нужно
Вам объяснять и это, — я скажу.
Сегодня вы подвергнетесь допросу
И объясниться предо мной должны.
Не ваша жизнь, но день из вашей жизни
Внушает нам сомнение.

М а р к о

Какой?

И, может быть, он не один? Их много?
Мне все равно. Мне нечего бояться.
Все дни мои, вся жизнь моя...

М а р и н о

Известна —

Нам даже лучше, чем известна вам.
Не все хранить умеет память; книги
Не забывают...

М а р к о

Свой отчет во всем
Готов вам дать...

М а р и н о

И вы дадите,
Когда его потребуют от вас...
Припомним все. Команду нашим войском
Сенат доверил Карманьоле. Многим
Казался он опасным. Но другие
Не соглашались с этим. Кто был прав,
Кто ошибался — можно было спорить;
Тогда все было спорным. Нашим пленным
Он возвратил свободу. Комиссаров
Он оскорбил. Он дерзко отказался
Исполнить наши просьбы. Он разбил
Своих врагов, но весь успех победы
Сам уничтожил. Многие прозрели
И на него переменили взгляд.
Но — дальше. Слишком на его поддержку
Надеялся отважный Тревизан,
Когда на По атаковал он смело
Миланский флот. Но натиск был отбит.
Он подкреплений ждал от Карманьолы,
Просил о них и получил отказ.
Сенат был в гневе. Но еще немного
Нашлось в сенате робких голосов
В защиту графа. И теперь — Кремона!
Когда бы к ней на помощь он пришел,
Она могла бы до сих пор держаться.
Но помогать ей он не захотел.
Об этом речь сегодня шла в сенате.
Защитники умолкли. Лишь один
Красноречивый выступил защитник
Потерянного дела... Это — вы!
Вам кажется, что до сих пор невинен

Несчастный вождь, что мы должны хвалить,
А не прощать такого кондотьера...
Одна судьба в несчастье виновата,
Судьба... и мы. Теперь не справедливость
Ведет свой суд над графом, а вражда,
Надменность наша, ненависть и злоба.
Мы до сих пор простить ему не можем,
Что он стоит так высоко над нами.
Пока отцы сената не слыхали
Таких речей. Сегодня в первый раз
В собрание их такой раздался голос.
Они молчали. Удивленный взор
Искал того, кто говорить решился
Таким неожиданным, странным языком.
Такие речи только иностранец
Иль тайный враг в сенате мог держать.
Изменником объявлен Карманьола.
Мы от него должны теперь отнять
Возможность делать вред нам. Он опасен.
Он страшен нам. Находчивая дерзость,
Коварный нрав— вот что пугает нас.
Открытой силой спорить невозможно
С таким врагом. Он может обратить
На нас оружие, которое мы сами
Ему вручили. Силен нашей силой
Противник наш. Сердца его солдат
И их мечи ему вполне послушны.
Что, если он в открытый вступит спор
С Венецией? Его решения быстры.
Он не умеет медлить. Что же, нам
Подвергнуть родину опасности и риску
Открытой битвы? Он тогда уйдет
Из наших рук. Нет места правосудью
В таких условиях. Одно осталось нам.
С обманщиком борьба — борьба обманом.
Он нас принудил выбрать этот путь,
И мы теперь на этот путь выходим.
Вот общий голос. Что же, друг его,
Вы говорили? Вам напомнить надо?
Вы чересчур спокойны. Я напомню,
Каким вас видел беспристрастный взор.
Вы позабыли все. Вам ваша мудрость
Для вашей дружбы оставляла круг

Достаточно широкий; вы же, Марко,
Границы все безумно перешли.
Пред близорукими себя вы обнажили;
Открылись тем, кто до сих пор не знал
Того, что нам давно было известно.
Все говорят: сегодня был в сенате
Несдержанный и страстный человек;
В опасности секреты государства;
Необходимо меры предпринять,
Чтоб он не мог...

Марко

Синьор, вам все возможно.
Не знаю я, зачем теперь я здесь.
Но все равно. Я не могу позволить
Вам забывать, что я патриций. Вам
Так оскорблять себя я не позволю.
Патриций я. И я один из вас.
И мне близки заботы государства,
И мне близки, как каждому из вас,
Его секреты...

Марино

Вам еще неясно,
Зачем вы здесь? Так знайте — государство
Считает вас опасным. Вы должны
Мне доказать, что нет ему причины
Бояться вас. Возможность оправдаться
Дается вам сенатом. Это милость.

Марко

Я обвиняюсь в дружбе с Карманьолой?
Такой вины я отрицать не буду.
Я друг ему. Здесь признаваться в этом,—
Быть может, нужно мужество. И здесь
Я повторю спокойно: он мне друг.
Но, может быть, он недруг государству?
О, если так, он враг и мне. Но разве
Доказано такое обвиненье?
Что сделал он? Дал пленникам свободу?
Но он ли это сделал? — Нет, солдаты!
Они на волю пленных отпустили.
Он не хотел исполнить вашей просьбы?

А мог он это сделать? — Но допустим,
Что он и мог. Обычаи войны
Вождю солдат священны. Он рискует,
Рискует многим, если он захочет
Их отменить. И это объяснение
Сомнительным вам кажется? И после
Он не был ваших почестей достоин?
Он Тревизану не хотел помочь?
Но без него рискованное дело
На личный страх задумал Тревизан,
О помощи просил он слишком поздно.
И граф не мог своих солдат вести
В опасный бой. И раз к позорной ссылке
Приговорен сенатом Тревизан
За это дело, — этим приговором
Оправдан граф. А дальше что? Кремона?
Но кто решил Кремону осаждать?
Кто дал приказ ввести войска в Кремону?
Граф Карманьола! Он не ожидал,
Что встретит там его мятеж народа.
Нежданный бунт Кремону охватил.
Его отряд не мог держаться. Слишком
Он был ничтожен для такой борьбы.
Граф отступил. Ни одного солдата
Не потерял он в этом деле. Там
Явился враг опасный, где не ждали
Найти вражду. А рисковать упрямо,
Настойчиво, без цели и нужды
Солдатами — безумно и опасно.
Граф совершил немало славных дел,
В Кремоне он обычного успеха
Не получил... Но в чем же здесь измена?
Вы говорите, что надменный вождь
На нас глядит презрительно и дерзко,
Что он давно позорит нашу честь,
Когда в ответ державному сенату
Дает отказ. А разве вероломство
Нам возвратит поруганную честь?
Ужели нам обман необходим?
Союз Венеции и графа Карманьолы
Был честно нами заключен когда-то.
Зачем же честно нам не разорвать
Такой союз, когда он нам не нужен?

И отчего позорным должен быть
Конец такой блестящей, славной дружбы?
Как! Даже это страшно нам? Позор!
И блеск побед, и гений кондотьера,
Любовь солдат и слава — вот чего
Венеция позорно испугалась!
Тот виноват, кто правду говорит.
О, стыдно мне! Когда сомненье в графе
Позорный страх нашептывает вам,
Ободритесь во имя вашей чести
И прогоните низкий этот страх.
О, будем лучше думать о себе!
Венеция не так глубоко пала,
Чтобы могла бояться одного,
Кто б ни был он. Оставим страх тиранам.
Страшна им доблесть. Славы боевой
Победный блеск в них зажигает зависть.
Не крепок трон их. Их прогонит прочь
Любой солдат, когда настолько дерзок,
Чтобы увлечь в мятеж свои войска.
Как слепы вы! Ужель опять к Филиппу
Вернется граф и увлечет солдат
Идти за ним дорогою измены?
Да разве герцог может позабыть
Когда-нибудь обиду? Он заслуги
Простить не может своему вождю.
Позволит ли он вновь к себе вернуться
Тому, кто мог его поставить трон?
Он этот трон сумеет опрокинуть,
Когда захочет. С подданным не мог
Ужиться герцог. Враг победоносный
В нем миролюбие разбудит? Нет!
И граф вернется к той руке кровавой,
Которая купила нож, чтоб грудь
Изгнанника пробить железом мести?
Я знаю,—страшен этот трибунал,
Перед которым я стою сегодня.
Но был бы я глубоко благодарен,
Когда б хоть здесь, хоть раз сказали мне
Всю правду этого запутанного дела.
Мои надежды, может быть, напрасны.
Быть может, ужас ждет меня. Но пусть!
Я говорю. Лишь ненависть слепая,

Одна она могла внести в сенат
Такое лживое, пустое подозренье.
Врагов у графа много; почему
Они врагами стали, я не знаю;
Но есть они; в плаще публичной мести
Они скрывают личную вражду.
И я сорвал их плащ. Когда в сенате
Я говорил, что цель моя одна,—
Что я хочу лишь блага государства,
Тогда я прав был... Говорил во мне
Не друг пристрастный графа Карманьолы,
Но верный долгу честный дворянин.
Нет, тех речей, которые в сенате
Я говорил, я не возьму назад.
Когда отцы сената согласились
Позвать вождя под видом совещаний
В Венецию с почетом небывалым,
Чтоб обмануть и погубить его,—
Тогда я прав... Я говорил, что надо.
И слов своих назад я не возьму.

М а р и н о

Заботливые думы — все о друге.
Все позабыто. Дорог только он.

М а р к о

Нет, притворяться не по силам мне.
Я чувствовал, душа перевернулась
Во мне, когда такой позорный план
Предложен был и принят. Вы не правы.
Я думал не о друге. Честь страны,
Запятнанной предательством, я видел.
Мне слышалось — суровый, грозный суд
Презрительно ведут потомки наши
Над нашим вероломством, а враги
Смеются злобно нашему позору.
Меня коснулось первое дыханье
Бесславья родины, и вдруг холодный ужас
Обжег огнем мне дрогнувшее сердце...
Мне было больно, стыдно. Вы сказали...
Взволнованный и возмущенный духом,
Весь полный жалости к несчастному вождю,
Я мог молчать? Я должен был молчать?

Я виноват? Я виноват, что думал
Я в этот миг о славе государства.
Позор ему не может быть полезным...
С достоинством оно найдет...

М а р и о

Довольно.

Я слишком долго слушал, чтоб узнать
Поближе ваши мысли. Это нужно
Для нашего Совета. Он решил
Дать вам возможность передумать снова
И лучше взвесить дело. Может быть,
Казалось нам, посмотрите трезвее
Вы на дела и нужды государства.
Но мы ошиблись. Показалось вам,
Что я намерен защищать пред вами
Декрет сената? Странная мечта!
Вы призваны к допросу. Ваше дело,—
Одно оно решается теперь.
Не думайте о родине. Довольно
Вам будет дум сегодня о себе.
Другим рукам заботы государства
Доверены. И твердо держат их
Спокойные, уверенные руки.
Красивым снам мечтательно не верят
Такие люди. Точно исполнять
Они умеют волю государства.
Когда опасность родине грозит,
Они ее в зародыше задушат.
Мы призваны блюсти свою страну.
Не спорить с вами, но один ответ
Узнать от вас мне нужно. Приговором
Венецианского сената осужден
Граф Карманьола; он исполнен будет;
Как вы себя намерены держать?

М а р к о

Что за вопрос, синьор!

М а р и о

В решение общем

Участия принять вы не хотите.
Хотите вы, чтоб этот план погиб.
Я угадал?

Марко

Зачем мои желанья
Сенат державный хочет знать? Мой долг,
А не мои желанья мне предпишет,
Что делать мне.

Марино

Какой залог дадите
Вы в поручительство, что будет этот долг
Исполнен вами? Требую от вас
Я именем и властью Трибунала,
Чтоб верности вы дали нам залог.
А если вы откажетесь, в измене
Вы будете обвинены. Надеюсь —
И вам известно, что велит закон
Нам делать в этом случае...

Марко

Но что же,
Что делать мне?

Марино

Всем доказать открыто,
Что родина дороже вам, чем друг,
Случайный иностранец... Знайте, Марко,
Отечество своих детей щадит.
Оно тогда своей рукой железной
Несет им гнев, когда спасти себя
Они ему мешают сами. Знайте,
Оно готово всё простить вам, все,
Предать забвенью грустные ошибки,
Когда раскаяться готовы вы... Оно
Для этого само вам путь покажет.

Марко

Раскаянье?.. Открытый путь?.. Но где?..

Марино

На Фессалонику напали мусульмане,
Сенат туда назначил ехать вам.
Вот и декрет о вашем назначенье.
Корабль готов. Отъезда срок сегодня.

Марко

Я повинуюсь.

Марино

Доказать должны

Вы вашу верность делу государства
Одною клятвой. Поклянитесь, Марко,
Что никому, ни словом, ни намеком,
Не выдадите тайны. Что решил
Сенат сегодня, знать никто не должен.
Вот текст присяги.

(Дает ему лист.)

Подпишите.

Марко

(читает)

Это?

И это мне? О, слишком велика
Такая жертва!

Марино

Выслушайте, Марко.

Теперь уже в дороге наш гонец.
Он Карманьоле наше приглашенье
Прибыть сюда в Венецию везет.
И если граф исполнит приказанье
Немедленно,— найдет он правосудье
И снисходительность, быть может, здесь.
Но если он откажется и даст
Малейший повод к подозренью — знайте
(Но это тайна, только вам открыть
Такой секрет я нахожу возможным),
Из наших рук живым он не уйдет.
Приказ уж дан. И если кто посмеет
Предостеречь изменника, тот сам
Убьет его и с ним себя погубит.
Я кончил... Больше я не буду слушать...
Ну, Марко, подпишите... или...

Марко

Я подпсал.

М а р и н о

Все позабыто, Марко. Вашу дружбу
В вас победило чувство долга. Дело
Исполним мы. Но вы не забывайте,
Что вам даны две жизни; их судьба
В руках у вас; она от вас зависит.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

М а р к о

Все решено... Сомнений нет... Я низок!
Судьба меня хотела испытать,
И что я сделал?! В первый раз сегодня
Я не узнал себя... Какая тайна
Сегодня мне была сообщена!..
Смотреть, как друг в сетях измены гибнет —
И отвернуться!.. Видеть, что убийца,
Из-за угла подкравшись, свой кинжал
Над жертвою беспечно заносит,
И закричать не смею: остерегись!..
А мог бы я... Но поздно. Я не смею
Спасать его... О, праведное небо,
Тебя зову в свидетели позора
И низости предательства!.. Но мною
Подписан приговор... И кровь его на мне...
И я виновен... Боже, что я сделал?
Но что меня смутило? Смерть? Но жизнь
Порой спасти нельзя без преступления.
Я позабыл об этом. Я забыл,
Что жизнь свою я обещал когда-то
Отдать ему. Чего же я боялся?
За что дрожал? За друга?.. За себя?..
За эту голову, покрытую позором?
Я за нее боялся?.. Но отказом,
Конечно, я спасти его не мог,
И, может быть, я только бы ускорил
Его погибель... Господи, ты знаешь,
Ты видишь все, открой мне это сердце,
Дай посмотреть мне в бездну ту, куда
Я так упал... Скажи, чего в ней больше —

Безумия, позора иль несчастья?
О, Карманьола, прочитаешь ты...
Увидишь ты, конечно... Те лисицы —
Ты подозрительно их будешь слушать, но
Когда узнаешь, что зовет и Марко
Тебя в Венецию, — отбросишь далеко
Ты прочь сомненья... Ты сюда приедешь...
Ну а потом раскаешься, зачем
Поверил ты... Я погублю тебя,
Вини меня... Но что же этот низкий
О снисходительности говорил мне?.. Речи
Бесстыдные! Поймать в свои силки
И в них творить свой незаконный суд,
Решив заранее, что этот суд осудит,
Что б ни было, несчастного — и нагло
О снисходительности говорить. Невинным
Нет нужды в милости. И я хотел поверить
Таким речам! Конечно, он заметил,
Что низкий страх, который он вливал
В мое больное сердце, был не в силах
Мое согласие вырвать. Он заметил,
Что нужно дать мне выход благовидный.
И свой обман он бросил, как подачку,
В мое лицо — и я его схватил
И им прикрыл позор свой... Как я лизок!..
Предатели! Как ловко и искусно
Разделены их роли. Там кинжал,
Насмешка здесь, угрозы... Оставалось
Одно звено свободным. Надо маску,
Чтоб скрыть лицо измены. Эту роль
Мне предложили, и она — за мной...
Мне презирать их? Я гораздо хуже,
Чем все они. Они ему враги,
А я... Зачем я захотел быть другом
Такому человеку? Я искал,
Я домогался этой дружбы. Слава
Над именем сияла знаменитым.
Могучий дух навстречу шел судьбе.
Его судьба мне взоры ослепила.
Я не успел подумать, что порой
Тяжелым будет бремя честной дружбы
С тем, кто стоит над всеми. Для чего
Я не ушел с блистательной дороги,

Где шел герой, когда мои шаги
Догнать его не могут?.. Он заметил
Меня в толпе и руку протянул...
И вот теперь, когда он так беспечно,
Так беззаботно задремал и сети
Поставили ему его враги,
Я опустил испуганные руки?!
Проснется он, начнет меня искать
И не найдет... предателя и труса,
В последний раз с презреньем молчаливым
Меня он вспомнит — и умрет. Мне душно,
Мне тяжело с такою мыслью жить!
Что сделал я!.. Но что же, что я сделал?
Пока я лист бумаги подписал.
Я клятву дал. Она была ошибкой.
Я отрекись, нарушу клятву. Пусть
Я на краю пред бездной, но я вижу,
Я вижу эту бездну и могу
И сам уйти с опасного обрыва,
И друга прочь от бездны отвести.
Но если этим я его убью?
А может быть, он говорил неправду?
Хотел меня он только напугать?
А если правду? Тайное убийство
Не остановит их. Язык лукавый!
Какие сети мне они сплели!
Нет выхода! Кругом стоит бесчестье
И больше нет мне честного пути!
Сомнение безжалостное!.. Нет,
Я благодарен им. Мне выбирать не надо.
Они решили за меня судьбу,
Передо мной закрыли все дороги,
Одну оставили, и на нее они
Меня толкают. Вот моя дорога.
Сомненье выбора на ней не ждет меня.
Все не мое, что мне теперь осталось.
Прощай навек, родная сторона!
Моя могила далеко отсюда.
Я смерти жду, и небо принесет
Мне вместе с ней последнюю отраду.
В опасностях я смерть скорей найду,
Чем долетят отсюда злые вести.
Не за тебя я буду умирать!

Что мне за дело, если в новой славе
Твое величие под небом расцветет?
Мне жизнь дала две радости — дух чести,
Сознание доблести и друга. Ты убила
Их обе разом. Родина, прощай!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

ПАЛАТКА ГРАФА.

Граф и Гонзага.

Граф

Что ты узнал?

Гонзага

Я видел комиссаров.

Я им сказал, что ты мне поручил.
Я доказал им ясно, что в потере
Их кораблей виновен вожь, который
Командовать их флотом не умел,
Что ты не знал об этом предприятии,
Что ты не мог помочь им... Слишком поздно
Тебя позвал на помощь адмирал,
И ты не мог свои дела оставить,
Чтоб не свои ошибки исправлять...
Я говорил им, как велась успешно
Война, пока ты ею управлял,
И обещал успех им, если только
Они вручат все силы одному,
И власть ему дадут вести все дело,
Как он найдет удобнее...

Граф

И что же

Они ответили?

Гонзага

Как будто согласились

Они со мной... Они мне говорили,
Что притворяться не хотят они,
Что под Кремоной наша неудача

Смутила их, что жаль им кораблей,
Но что для них приятно убедиться,
Что в этом деле ты не виноват...
Они надеются, что их дела поправить
Сумеешь ты...

Граф

Ты видел их, Гонзага,
О них в народе часто говорят,
Что ладить с ними трудно... Осторожность
И недоверчивость, как говорят, нужны,
Когда ведешь дела с венецианцем.
Я до сих пор себе не изменял,
Я отвергал порой их притязанья,
Когда признать законность их не мог.
Случалось мне заставить их сойти
С высоких кресел их высокомерья,
Откуда им все кажутся рабами.
Мне приходилось резко отмечать
Предел моей покорности... И что же?
Раскаяться мне в этом не пришлось...
Всегда учтивы, неизменно мудры
Они со мною были...

Гонзага

Кондотьер!

Не всем идти такой, как ты, дорогой.
Счастливый вождь, ты баловень судьбы;
Ты, как врагов, пугаешь неудачи.
Ты им полезен; ты необходим,
Ты дорог им, а может быть, и страшен.
Ты разогнать умел их опасенья...
Когда в тебе уверены они.

Граф

Ты сомневаешься?..

Гонзага

А ты вполне уверен?

Мед их речей и сладость взоров их
Меня в любви их убедить не могут...
Мне кажется, что точно так же смотрит
Испуганная ненависть...

Граф

О нет:

Я этого не думаю. Синьоры
Привыкли слишком к власти,— это верно.
И мне они, доверив слишком много,
Боялись верить до конца... Теперь
Они убеждены, они мне верят...
Их много хвалят, часто порицают
За то, чего на самом деле нет.
Их речь — молчит; зато красноречиво
Молчанье их. Их разгадать нельзя
И слишком ясны им чужие тайны.
В искусстве лгать им даже равных нет.
Их речь одета мягкой тканью лести...
Так их рисуют... Только это все
Преувеличено...

Гонзага

А если верх искусства
Венецианского казаться пред тобой
Таковыми именно, какими ты их видишь?

Граф

Гонзага, нет. Тебя чужие толки
Ввели в обман. Взгляни на них поближе,
Узнай их сам, и ты, смеясь, отбросишь
Такие мысли. Нет, они не скрытны,
Они добры. Но если слишком грубо
К ним постучится в сердце кто-нибудь,
Пред ним они закроют двери сердца
И спрячутся. А их душа мягка;
В ней злобы нет; она всегда открыта
Тому, кто к ней с любовью подойдет.
Чтоб их понять, одно необходимо —
Иметь в себе немного их души
И благородства. Мной они довольны.
Они мне верят. Будь не так, давно
Я знал бы это...

Гонзага

Пусть избавит небо
Твой честный ум от роковых ошибок!

Граф

Другое мне, Гонзага, сердце мучит.
Я утомлен войною. Невозможно
Ее вести мне так, как я хотел бы...
Когда я был еще простым солдатом,
Затерянным средь тысячи других,—
Тогда я часто жаловался небу
На то, что я поставлен слишком низко.
Безвестный жребий был тяжел мне. Я
Мечтал о власти. Жребий полководца
Казался мне завидным. Кто тогда
Сказал бы мне, что сбудутся желанья,
Что буду я могучим кондотьером,
Что вслед за мною славные вожди
Солдат отважных поведут на битвы,
Что это все... меня не успокоит...
Не даст мне счастья...

Входит солдат.

Что ты?

Солдат

Из сената

Привез гонец.

Граф

Подай.

Солдат отдает пакет и уходит.

Гонзага, видишь?

Не правду ли тебе я говорил?
Они мне верят. Просит мира герцог,
И дож меня зовет на совещанье
В Венецию... А ты со мной поедешь?

Гонзага

Да, кондотьер!

Граф

Что скажешь ты о мире?

Гонзага

Ты говоришь с солдатом...

Граф

Это правда...

Но как война? Что дальше будет с нами?..
Жена и дочь... Я скоро вас увижу!
Я обниму друзей... В Венецию, скорее!
Но отчего нет радости во мне?
Зачем молчит взволнованное сердце?
Кто мог бы знать, придется ль мне еще
Увидеть вновь такое поле битвы?

Конец четвертого действия

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА I

НОЧЬ. СОВЕТ ДЕСЯТИ.

Дож, Десять и Граф Карманьола сидят.

Дож
(к графу)

Условия Висконти вам известны.
Он просит мира. Наш Совет от вас
Ждет мнения по этому вопросу.

Граф

Я говорил уже об этом деле.
Мой взгляд — один; он тот же. Неизменным
Остался он. Я обещал вам много.
Отчасти я свои слова сдержал,
Но далеко не все успел я сделать.
Я не хочу, чтоб были позабыты
Мои слова... Хвастливый пыл солдата
Их легкомысленно не вырвал из меня.
Я говорил обдуманно. И снова
Я не имею нового ответа
На ваш вопрос. И если вы хотите
Решать вопрос войною до конца,—

Вам путь открыт. Теперь вам все возможно.
Вот лучший выбор. Герцог отдает
Вам Брешию и Бергамо?.. Это щедро —
Вам дарит герцог ваши города.
Вы их завоевали. Разве герцог
Вам может дать все то, что вам возможно
Взять от него войною? Буду прям.
Я ваш солдат. Я вам давал присягу.
Я все скажу вам. Если не хотите
Вы изменить тот способ воевать,
Которого вы до сих пор держались,—
Миритесь с герцогом...

Д о ж

Вы говорите, граф,
Загадками. Скажите нам яснее,
Как смотрите на это дело вы?

Г р а ф

О, если так, то слушайте. Все войско,
Весь ход войны доверьте одному.
Пусть только он все в лагере решает,
Пусть он один дает войскам приказ.
Над ним не ставьте власти и контроля.
Пока война не кончена,— а там
Во всем отдать отчет он вам обязан.
Я не прошу, чтоб вы меня избрали.
Я только то решаюсь вам заметить,
Что многого не сделает тот вождь,
Который этой власти не получит.

Д о ж

А эта власть в руках у вас была,
Когда вы наших пленных отпустили?
Вы этим делали решительней войну?
Иль, может быть, вы, вождь и победитель,
На поле битвы власти не имели?

Г р а ф

Я отпустил их, и теперь к Филиппу
Они уж не вернутся. К нам придут,
Под нашим знаменем пойдут они на битву,
И будет пуст Филиппа гордый трон,
Пока другой на этот трон не сядет.

Д о ж
Безумные надежды!

Г р а ф
Да, надежды. —
И это жаль. От вас одних зависит
Осуществить их. Для чего так долго
Вы развязать те руки не хотели,
Которые могли бы это сделать?

М а р и н о
Мы иначе на это дело смотрим.
Нам кажется, что ненависть и злобу,
Которые питали вы к Филиппу,
Вы, граф, на нас теперь перенесли.

Г р а ф
Какая ложь! Мне жаль, что эти басни
Бесстыдной лжи, бессмысленные грезы
Какого-то клеветника, который
И частного вниманья недостоин,
Дошли до стен державного Совета
И в нем себе внимание нашли.

М а р и н о
Конечно, жаль... И жаль, что эти слухи
Вы подтверждали вашими делами.
Вас и теперь язык ваш выдает...

Г р а ф
Я уважаю тот Совет державный,
В котором случай место дал и вам,
Но ваших слов не слышал я. Та честь,
Которой я Советом удостоен,
Когда он сам меня сюда призвал,
Желая выслушать мой взгляд на это дело,
ясно
Мне говорит, что он — другого мнения.

Д о ж
Мысль всех — одна.

Граф

Какая ж это мысль?

Дож

Вы слышали.

Граф

Совет меня считает
Тем, что сказал Марино?..

Дож

Я сказал,
И вы должны поверить дожу...

Граф

Разве
Вы сомневаетесь?

Дож

Нам сомневаться поздно.

Граф

И я за этим позван был сюда?
Вы до сих пор молчали?

Дож

Мы молчали,
Чтоб наказать измену и не дать
Изменнику уйти от наказания...

Граф

Изменнику?.. Теперь я понимаю.
Я слишком долго вас не понимал.
Изменник? Я?.. Позорное название!
Ты в первый раз меня коснулось! Нет,
Ты — не мое. Пусть это имя носит,
Кто заслужил его. О, нет, я не изменник,
Я только безрассуден. Если вы
Дадите мне такое имя, молча
Его перенесу я. Здесь я так поставлен,
Что должен все переносить. Но с вами
Не поменяюсь этим местом я.

Оно честнее всех здесь... Преодо мною
Теперь встают те дни, когда я был
Солдатом вашим... Вы тогда цветами
Мой осыпали путь... Скажите мне, когда же
Я стал изменником? Да был ли день один,
Когда не слышал бы я щедрых обещаний
И благодарности, и лести, и похвал?
Да что же больше? Я сижу сегодня
В Совете вашем. Роковая честь!..
Когда я шел сюда сегодня, в сердце
Я много нес горячих честных чувств.
Доверчивость, любовь и благодарность
И жажда подвигов мне наполняли грудь.
Что я сказал? Доверчивость? Ни разу
О ней я не подумал. Я к друзьям
Спешил на зов. Какое тут доверье!
Я шел к друзьям — и ждал меня обман!
Вы лгали мне, вы низко изменили...
Но полно... Прочь... По крайней мере, вы
Сегодня сбросили притворные улыбки.
И ваши лица перестали лгать.
Лицом к лицу стоим мы здесь открыто.
Здесь мы равны... Теперь за вами речь.
Ну, обвиняйте... В чем моя измена?

До ж

Допрос с вас снимет Тайный Суд.

Граф

О, нет.

При свете дня я шел за вас на битвы
И не хочу в таинственных потемках
Давать в них свой отчет. Судить солдата
Один солдат способен. Оправдаться
Хочу пред тем, кто б понимал меня.
Мою защиту пусть услышат все,
Пусть видят все...

До ж

Напрасные желанья!

Вы опоздали...

Граф

Как? К открытой силе
Вы обращаетесь? Солдаты!!!
(Кричит и хочет уйти.)

Дож

Здесь их нет.
Они вас не услышат. Стража!!!

Входят вооруженные люди.

Вот солдаты,

Которых вы не звали!

Граф

Я обманут!

Дож

Да, не была излишней осторожность —
Солдат от вас подальше отослать,
Чтобы предатель, пойманный в измене,
Спасть не мог открытым мятежом!

Граф

Мятеж... Предатель... Говорите больше,—
Теперь вам все возможно говорить!

Дож

Вы явитесь пред Тайный Суд. Он снпмет...

Граф

Нет, погодите. Дайте мне мгновенье,
Я вижу, мне мой приговор подписан.
Но вместе с ним подписан ваш позор,
И вам его с себя не смыть вовеки.
С моих знамен Венецианский Лев
Теперь глядит далеко. Всей Европе
Известно то, что я его поставил
Над теми башнями, где до меня ни разу
Никто таких знамен не развевал.
Здесь ваших дел, конечно, не осудят.
Пред вашей властью ужас молчаливый

Закроет рты. Но там вас не бояться,
Там подведут итог правдивый нам,
Неистребимыми чертами там отметят,
Что было сделано Венеции и как
Она за славные услуги заплатила.
Не забывайте летописи вашей,
О будущем подумайте... Вам скоро
Опять солдаты будут нужны. Кто же
Захочет вам отдать свои услуги?
Теперь я в вашей власти. Но не здесь
Я родился. Воинственное племя
Меня вскормило. Крепко друг за друга
Стоят в нем все. Оно давно гордится
Мою славою. Не забывайте, там
Моя обида громко отзовется.
Вы ошибаетесь,— лукавый недруг мой
Не друг и вам. Не верите вы сами
В мою измену. Время не ушло.
Одумайтесь! Назад возьмите...

Д о ж

Поздно!

Вам было время это все предвидеть,
Когда вы щли на это преступленье,
С упрямой дерзостью бросая вызов тем,
Кто должен был вас за него карать,
Кто мог вам мстить...

Г р а ф

О, замолчи, несчастный!

Ты, кажется, надеялся, что буду
Я у тебя просить пощады... Мог,
Осмелился подумать, что испуган
Я видом близкой смерти? Ты ошибся.
Нет, умирать ты у меня учись.
В последний час, когда на жалком ложе
Тебя застанет смерть,— ты перед нею
Свое чело так гордо не поднимешь,
Как поднял я, встречая смерть мою.

(Уходит в сопровождении солдат.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

ДОМ ГРАФА.

Антоньетта и Матильда.

Матильда

Вот и заря... Но что ж отец не идет?

Антоньетта

Дитя мое! Чего мы ждем так жадно,
Приходит поздно. Медленно идет
И не всегда приходит наше счастье.
Несчастье быстро. Чуть издали
Его заметишь,— и оно над нами.
Но ночь прошла... Печальные часы
Считали долго муки ожидания,
И скоро нам теперь они пробьют
Веселый час свиданья. Долго медлить
Отец не будет. Знай, мое дитя,
Что эта медленность нам обещает счастье.
Ведь медленно решают только мир.
Он скоро наш и будет нашим долго!..

Матильда

И я надеюсь, мама! Эти ночи
Нам слишком долго приносили слезы
И слишком долго нас пугали дни.
Пора пройти невыносимой муке.
За каждый миг дрожали мы, бледнея
При каждой новости из лагеря... был
страшен
Нам каждый шум и каждый крик народа.
О, уходите, тягостные мысли,
Из сердца утомленного!.. Вы нам
Не раз шептали: «Тот, кого вы ждете,
К вам не придет, он умер...»

Антоньетта

Дочь моя!

Забудь страданья пережитой думы;
Теперь она — неправда. Знай, дитя,
За радость плата — муки. Мы купили,
Мы заплатили все за нашу радость.

Не билось ли твое восторгом сердце,
Когда в триумфе славный твой отец
Входил вчера с своей блестящей свитой
И нес знамена вражеские в храм?

М а т и л ь д а

Счастливыи день!

А н т о н ь е т т а

Вчера все были меньше,
Чем твой отец... Росло, шумело эхо
И повторяло имя Карманьолы.
Смотрели мы с высокого балкона,
Нас разделял поток густой толпы,
Глядели все на одного — и сердце
Шептало нам, что мы — его, он — наш.

М а т и л ь д а

Счастливые мгновенья!

А н т о н ь е т т а

Эта радость!
Чем мы ее пред небом заслужили?
Из многих тысяч нас одних судьба
Нашла достойными носить такое имя!
За что же нам достался щедрый дар,
Которым был бы горд и счастлив каждый?
Наш жребий будит зависть. Наше счастье
Мы покупаем горем и слезами.

М а т и л ь д а

Нет, мама, нет... К нам не вернется горе...
Ты слышишь?... Стук... Сильнее... Вот умолк.
Гремит засов... Ворота распахнулись...
Ах, это он. Оружие блеснуло
Там на дворе... Отец! Отец!

А н т о н ь е т т а

О муж мой!

(Оборачивается к сцене.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Гонзага.

Антоньетта

Но где же муж мой? Где мой муж, Гонзага?
Но вы молчите? Праведное небо,
Как страшен взгляд ваш. Он таит несчастье!

Гонзага

О, для чего он правду говорит!

Матильда

Кому несчастье?

Гонзага

Для чего, синьоры,
Досталось мне такое порученье?

Антоньетта

Гонзага! Вы, вы добрым быть хотите,
Но вы жестоки... Говорите нам...
От вашего молчанья веет ужас...
Но... Ради бога... Где мой муж?

Гонзага

Пусть небо
Вам силы даст услышать это! Граф...

Матильда

Он возвратился в лагерь? Да, Гонзага?

Гонзага

Нет, больше в лагерь не вернется он!..
Сенат им недоволен. Он под стражей.

Антоньетта

Под стражей? Он? За что же?

Гонзага

Обвиняют
Его в измене...

Антоньетта

Как? Его? В измене?

Матильда

О мой отец!

Антоньетта

Но что же с ним, Гонзага?
Мы ко всему готовы. Говорите.

Гонзага

Мне не сказать... так трудно...

Антоньетта

Он убит?

Гонзага

Нет, жив ещё; но приговор подписан.

Антоньетта

Он жив. Не плачь, Матильда. Будет время
Еще нам плакать. А теперь — за дело.
Скорее, дочь. Гонзага, не устаньте
Несчастьем нашим. Беззащитных женщин
Не оставляйте в горе их. Мой муж
Был вашим другом. Проводите,
Пойдемте с нами к судьям. О, Матильда,
Невинное, несчастное дитя,
Иди и ты... Есть в мире состраданье.
Ведь и у них есть дети. Эти судьи,
Когда они вели свой суд жестокий,
Они забыли, что отец и муж
Стоит пред ними. Пусть они увидят,
Какую скорбь приносят их слова...
О, пусть они увидят... Дрогнет сердце
И в их груди, быть может... Но скорее!
Незнанья мука слишком тяжела!
Он, может быть, пред ними извиниться
Не захотел... Он не хотел сказать им,
Как много сделал он для них... Мы скажем,

Мы это им напомним... Он просить
Их не хотел, конечно... Мы попросим,
Мы за него...

(Хочет идти.)

Гонзага

О господи! Хоть эту
Оставить бы надежду им. Напрасно.
Здесь не помогут просьбы. Эти судьи —
Невидимы. Их упрямить нельзя.
Их приговор как молния; мгновенно
Ударит он и спрячется меж туч.
Позволено одно вам... Утешенье
Печальное! Его вам можно видеть.
Не торопитесь. Успокойте сердце.
Вас испытанье ждет. Оно ужасно.
Но бог несчастных будет с вами.

Матильда

Нет,

Надежды нет, Гонзага?

Антоньетта

О, Матильда!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ТЮРЬМА.

Граф

Теперь они уж знают все!.. Зачем
Так слишком близко к ним я умираю?
Дошла до них мучительная весть,
И отбежал прибой печали первой...
Стоит нагое горе... Вось до дна
За каплей каплю отравленный кубок
Им надо выпить... Отчего не там?
Простор полей согрет лучами солнца,
Звенят мечи, рокошут трубы, мчится
Мой конь пред фронтом, крик моих солдат,

Шум и дыханье битвы, в сердце радость
Перед опасностью и боевой восторг,—
Такая смерть,— о, как она прекрасна!
А здесь... Как раб, угрюмо я иду
Навстречу ей, напрасно споря с нею,
С бессильной жалобой на жалкую судьбу
И с сожаленьем бесполезным в сердце...
О, Марко, ты... И ты предатель, Марко!
Ужасно это подозренье. Правду...
О, если б правду знал я, умирая,—
О, если б мог сомненья прочь отбросить!
Но нет... Зачем? Зачем мечтою льнуть
К пережитой, невозвратимой жизни?
Туда уже мне больше нет пути.
А ты, Филипп!.. Ты будешь рад, конечно.
Пусть будет так. Я радовался прежде
Такой же радостью. Она — мечта,
не больше,
В ней правды нет. Я это испытал.
Но, господи, увидеть их!.. Их вздохи
И горе их... Последнее «прости»,
Последние объятия — и навеки
Расстаться с ними... Вот они... О, боже,
Пошли любовь на их больное горе!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Антоньетта, Матильда, Гонзага и граф.

Антоньетта

Мой муж!

Матильда

Отец мой!

Антоньетта

Так вернулся ты?

Так вот чего мы так упорно ждали?!

Граф

Несчастные! Но знает бог, мне страшно,
Мне страшно только перед вами. Смерти
Я не боюсь. Ее я видел близко.

Я ждал ее. Она мне не страшна.
Но, мужество, ты нужно мне сегодня!
Не правда ли, ведь вы не захотите
Отнять его?.. Ты, господи, который
Судил послать такое горе им,
Пошли им сил, чтоб вынести это горе.
Несчастью вашему пусть будет ваше сердце
Соперником достойным! Благо небу!
Свиданье это — дар его. Матильда,
Дитя мое, не плачь; жена, утешься.
Когда я звал делить со мной судьбу
Тебя, жена, — твоей весны счастливой
Безоблачны и ясны были дни.
И ты пошла за мной — на это горе!
О, эта мысль последние часы
Мне отравляет... Я в твоём несчастье,
Я виноват... О, если б мне не видеть!..

А н т о н ь е т т а

О, нет, мой муж! Ты солнце дней моих!
Я счастлива была тобою. В сердце
Мое взгляни. Полно смертельной скорби,
Оно твое, оно тобою бьется.
Не быть твоей — я не умею думать!

Г р а ф

Жена моя, что я с тобой теряю,
Я это знал. Но сжался и не делай,
Не делай так, чтоб в этот горький час
Я это слишком чувствовал глубоко.

М а т и л ь д а

Они убийцы!

Г р а ф

Нет, моя Матильда.
Дитя мое! Пусть мести злобный гнев
Твоей души невинной не коснется.
Глубокий мир мгновений этих кроток.
Их возмущать нельзя: они священны.
Прости, Матильда, это преступление.
Оно ужасно. Но прости им. Всем
Всегда одна доступна радость. Злоба

Ее отнять не может. Это — смерть.
Да, злобный враг ее приблизить может,
Но дальше он бессилён. О, не люди
Ее придумали... Она была бы злою,
Невыносимою, жестокою и гневной,
Когда б она была людским созданием.
Но смерть пришла к нам с неба. Небо благо,
Оно дает нам утешенье с нею
И оторвать от утешенья смерть
Не могут люди... О, моя жена,
И ты, Матильда, вот последней воли
Последние слова мои. Быть может,
Вам будет больно слушать их, но после
Вы вспомните с хорошим чувством их.
Живи, жена! Перенеси несчастье
И это горе и живи! Пусть много
Берет судьба, она всего не губит.
Беги отсюда. Уведи Матильду
К ее родным. Они ее любили.
В ней кровь Висконти. Ты моя жена.
К тебе любовь их меньше. Гнев и злоба
Висконти дом и имя Карманьолы
Давно поссорили. Но там Матильду примут.
С моею смертию гаснет давний гнев.
Смерть гневных душ великий примиритель.
Дитя мое! Ты расцвела под бурей...
Я воевал, когда ты родилась,—
Ты принесла мне в трудный час отраду.
О, дочь моя, склоня чело пред ними.
Но ты дрожишь... Ты молча запираешь
Дождь жарких слез в рыдающей груди...
Но я их вижу; жгут они мне сердце,
Но их унять я не могу. Ты смотришь,
Как будто бы ты утешенья ждешь,
И для тебя отец твой не имеет
Ни одного... Но есть другой Отец,
Жди от Него любви и состраданья
И если нет надежд на радость, тихий
И кроткий мир Он ниспошлет тебе.
Зачем бы это горе, эти слезы,
К тебе пришли так рано, если б небо
Своей любви тебе не берегло?
Живи же, дочь! Живи и утешай

Тоскующую мать свою... Настанет
Когда-нибудь счастливый день. В тот день
Она отдаст достойному супругу
Твою любовь... Гонзага, дай мне руку.
Мой старый друг, в дни битвы, в дни, когда
Нам вечер был сомнительным, ты часто
Мне руку жал — на жизнь и смерть, Гонзага,
Дай обещанье мне помочь им. Будь для них
Защитником. И помоги скорее
Им выбраться отсюда и вернуться
К своей семье...

Гонзага

Довольно. Я исполню.

Граф

Спасибо, друг мой; я теперь спокоен.
Когда вернешься в лагерь, передай
Моим товарищам привет мой. Ты им
скажешь,
Что я невинным умираю. Дел моих
Ты был свидетелем. Ты знаешь все.
Скажи им,
Что я свой меч изменой не покрыл,
Что сам я здесь пал жертвою измены...
Да, ты вернешься в лагерь. Ты увидишь,
Ты вновь пойдешь на битву. О, Гонзага,
Когда знамен развернутая ткань
Зашелестит по ветру над войсками,
Когда в атаке трубы загремят,
Ты обо мне подумай... Снова буду
В твоей мечте и я на поле битвы.
Умолкнет бой. Над павшими бойцами
Священник станет. Скорбный свой канон
Он запоет, поднимет руки к небу
С молитвой по убитым. Дым кадила
Поднимется над братскою могилой.
Тогда опять меня, Гонзага, вспомни
И вспомни то, как часто я хотел
Такой же смерти...

Антоньетта

Господи!

Граф

Матильда,
Жена моя! пора расстаться нам.

Матильда

Отец мой, нет!..

Граф

В последний раз придите
В мои объятия. Но господом прошу
Скорей уйти.

Антоньетта

Пусть отнимают силой
Нас от тебя!

Слышен шум оружия.

Матильда

О, ужас!

Антоньетта

Боже, боже!

Дверь отворяется, и входят солдаты; начальник их
приближается к графу; Матильда и Антоньетта падают.

Граф

Благодарю тебя, мой милосердный бог,
Судивший мне такое испытанье!
Мой старый друг, ведь ты поможешь им?
Отсюда ты домой проводишь женщин?
Когда они придут в себя, узнают
Они одно — что больше им бояться
И мучиться не надо. Все прошло.



Агельгиз

ТРАГЕДИЯ

Перевод С. Ошерова



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЛАНГОБАРДЫ

Дезидерий, король.
Адельгиз, его сын, король.
Эрменгарда, дочь Дезидерия.
Ансельберга, дочь Дезидерия,
настоятельница монастыря.
Бермунд, оруженосец Дезидерия.
Анффрид } оруженосцы
Теуд } Адельгиза.
Баудо, герцог Брешианский.
Гизельберт, герцог Веронский.
Хильдегиз }
Индульф } герцоги.
Фарвальд }
Эрвих }
Гунтинг }
Амрис, оруженосец Гунтинга.
Сварт, латник.

ФРАНКИ

Карл, король.
Альбин, посол.
Рутланд } графы.
Арвин }

ЛАТИНЯНЕ

Пётр, посол папы Адриана.

Мартин, диакон из Равенны.

Лангобардские герцоги, оруженосцы, латники, придворные,
дамы, монахини в монастыре Спасителя, франкские графы
и епископы, герольд.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В ПАВНИ.

Дезидерий, Адельгиз, Вермунд.

Вермунд

Король мой Дезидерий! Адельгиз,
Отца достойный соправитель! Мною
Высокий и печальный долг исполнен,
Мне вверенный. Как наказали вы,
В долине Сузы под стеной крутою,
Что отделяет Франкскую державу
От Лангобардской, ждал я, — и туда
Со свитой франкских дам и щитоносцев
Спустилась Эрменгарда и под нашу,
Как только с провожатыми простилась,
Охрану перешла. Но ясно показало
Почтительное, долгое прощанье
И слезы на ресницах, лишь с трудом
Удерживаемые, что достойны
Иметь ее, как прежде, королевой
Такие подданные, что в разводе
Никто пособником для Карла не был,
Что все она сердца завоевала —
Все, кроме одного... Мы в путь пустились.
Теперь в лесу у западного вала
Она расположилась, я же с вестью
Помчался к вам скорей.

Дезидерий

Небесный гнев,
Проклятья всей земли и меч возмездья
На голову его! Он дочь мою
Прекрасною и непорочною принял
Из материнских рук и возвращает
Бесчестьем развода заклеяемой!
Позор ему, по чьей вине отцу,
Как весть о горе, сокрушает сердце
Весть о прибытии дочери. О, Карл,
За этот день заплатишь ты! Падни же
Так низко, чтоб убогий из убогих
Средь подданных твоих, восстав из праха,
Мог над тобою вознестись и смело
Сказать: ты был и подл и нечестив,
Невинную обидев.

Адельгиз

Разреши мне,
Отец, поехать к ней, ее доставить
Тебе пред очи... Ждет она предстать
Пред очи матери — но тщетно! Горю
За горем велел! Тут раненую душу
Разбередит воспоминаний горечь, —
Так пусть их штурм свирепый не застигнет
Ее врасплох, пусть укрепитсЯ сердце
Словами утешенья и любви.

Дезидерий

Останься, сын! А ты, Вермунд мой верный,
Ты к дочери вернись, скажи, что ждут
Ее раскрытые объятия близких...
Тех, кто по воле неба не покинул
Доселе этот мир... К отцу и брату
Веди ее, дай лик желанный видеть.
Двух дам возьми и Анфрида с собою:
Довольно будет этой свиты. Дочь

По улице глухой к дворцу доставьте
Как можно незаметней, а людей
Разбейте на отряды и введите
За стены через разные ворота.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Дезидерий, Адельгиз.

Дезидерий

Что ты задумал, Адельгиз? Весь город
Свидетелями нашего бесчестья
Хотел ты сделать, злую чернь созвать,
Словно на праздник? Ты забыл, что живы
Те, что держали сторону Ратгиза,
Когда со мной он за престол боролся?
Врагам, когда-то явным, ныне тайным,
Доставит мстительное утешенье
Потупленный наш взор.

Адельгиз

О, злая плата
За власть! Удел наш горше их удела,
Горше, чем участь покоренных нами,
Коль мы должны их глаз бояться, прятать
В смущенье лица, коль при свете солнца
Любимую почитать в ее несчастье
Не смеем!

Дезидерий

Только кровью смыв пятно,
Мы вровень им оплатим, и тогда-то,
Сняв скорбную одежду, дочь моя
Из тени выйдет и чело поднимет
Высоко над толпой,— сестра и дочь
Монархов, блеском славы и возмездья
Сверкающая. Близок этот день!
В моих руках оружие, что вручил мне
Сам Карл. Я о Герберге говорю,
Вдове несчастной Карломана, чьим
Преемником он стать сумел бесчестно:

Она у нас убежище нашла,
В тени престола моего укрыла
Двух сыновей, которых поведем мы
На Тибр, войска придав им для охраны,
И там первосвященнику прикажем
Невинное чело помазать им
И, по обряду вознеся моления,
Дать франкам короля. А мы доставим
Их в землю франков, в царство их отца,
Где к ним толпой сторонники стекутся:
В душе у многих дремлет, но не гаснет
Гнев на захватчика престола.

Адельгиз

Разве
Не знаешь ты, что Адриан ответит?
Он связан с Карлом тысячами нитей:
Отец благословляющий, он Карла
Хвалами возносит, Карлу льстит,
Сулит победу, и престол, и славу,
Для Карла молит милости Петра!
И нынче у него послы от франков:
Он просьбами на нас их натравляет.
Не только что свой храм — всю землю
воплем,
За отнятые города пеняя
На нас, он оглушил.

Дезидерий

Что ж, пусть откажет:
Тогда — открытая вражда, конец
Войне бессрочной жалоб и посланий
И тайных козней. Новая война —
Война мечей начнется. Как тут можно
В исходе сомневаться? Сберегает
Судьба для нас тот праздник, о котором
Отцы вотще мечтали. Рим падет!
Опомнясь поздно, нас моля напрасно,
Земных мечей лишенный Адриан
К делам священства обратится, станет
Царем молитв и таинств, а престол
Освободит для нас.

Адельгиз

Гроза мятежных
И победитель греков, не привыкший
Иначе возвращаться, как с победой,
Айстульф перед могилою Петра
Склонял знамена дважды — и бежал,
Два раза оттолкнув Стефана руку,
Которая протягивала мир.
Он оставался глух к его стенаньям,
Но, из-за Альп услышав их, Пипин
Сюда вторгнулся дважды через горы,
И франки, те, которых столько раз
И побеждали мы, и выручали,—
Навязывали нам условия мира.
В окно отсюда вижу я равнину,
Где, на позор нам, был Пипинов стан
И франкские скакали кони.

Дезидерий

Что нам
Их вспоминать — Айстульфа и Пипина?
В могиле оба. Царствуют другие,
Идут другие времена, другими
Мечами потрясаем мы. Когда
Взошедший первым на стену и первый
Удар принявший воин гибнет, разве
Все прочие должны бежать в испуге?
И это мне советует мой сын?
Где гордый Адельгиз, тот юный ястреб,
Который грозно грянул на Сполето,
Кто, о себе забыв, нырял, как в волны,
В кипенье боя, кто блистал средь войска,
Как на пиру — жених? Кем герцог-
бунтовщик
Был побежден и взят? На поле там же
Просил я, чтобы сделали его
Мне соправителем,— и общий крик
Меня одобрил, и в его десницу —
Столь грозную тогда — вложил я пику.
А ныне он лишь беды да преграды
Умест видеть. Когда есть раздор,
Ты так не должен говорить со мною!

А донесли бы мне, что Карл сегодня
Таких же мыслей держится, какие
Мне высказал мой сын, я был бы
счастлив.

Адельгиз

Зачем, зачем не здесь он — и нельзя
Мне, брату Эрменгарды, с ним средь поля
Сойтись лицом к лицу, препоручить
Отмщение за обиду моему
Мечу и божию суду! Тогда бы,
Отец, ты должен был признать, что слово
Поспешное слетело с уст твоих.

Дезидерий

Вот это Адельгиза речь! Желанный
Я день приближу.

Адельгиз

Нет, другой мне виден,
И виден близко, день. На Адрианов
Бессильный, но повсюду чтимый зов
Со всею франкской силой Карл нагрянет;
Лишь в этот день преемники Айстульфа
И сын Цицина встретятся. Но вспомни,
Над кем мы правим: средь немногих
верных.

В рядах у нас замешаны враги,
И больше их, быть может. А при виде
Чужих знамен любой противник станет
Изменником. Отваги хватит мне
Погибнуть. Но победа и престол —
Для тех счастливцев, кто повелевает
Единодушными. Мне гнусен бой
И пика мне отягощает руку,
Когда на тех, кто рубится бок о бок,
С опаской озираться должен я.

Дезидерий

Кто властвовал — и не имел врагов?
Мы короли или нет? В отваге ль только
дело?

Должны ли мы держать мечи в ножнах,
Пока вражда и зависть не угаснут?
Сидеть должны ли праздно на престоле
И ждать удара? В чем, как не в дерзанье,
Ты видишь выход? Что ты предлагаешь?

Адельгиз

Лишь то, что предложил бы в день победы,
Народом правя верным и могучим:
Очистить земли римлян, Адриану
Друзьями стать.

Дезидерий

Нет, пусть погибну я,
Хоть на престоле, хоть во прахе, прежде
Чем этот вынесу позор. Советы
Держи такие про себя! Отец
Велит...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же. Входит Вермунд, за ним Эрменгарда с сопровождающими ее дамами.

Вермунд

Мой государь, вот Эрменгарда.

Дезидерий

Приблизься, дочь моя! Крепись!

Вермунд удаляется, дамы отходят в сторону.

Адельгиз

Ты снова
В объятьях брата! Видишь ты отца,
И преданных тебе, как прежде, близких,
И тот дворец, где больше чтят и любят
Тебя, чем в день отъезда.

Эрменгарда

Этот голос
Благословенный! Мой отец, мой брат,
Пусть небо вам воздаст за эти речи,
Пусть будет милостиво к вам всегда,
Как вы — к несчастной вашей. Если б мог
Мне выпасть день счастливый, это был бы
Сегодняшний: он дал мне вас увидеть.
А ты, родная... Здесь тебя оставив,
Я не слыхала слов твоих последних:
Ты умерла, а я... Но ты нас видишь
С твоих небес! Взгляни на Эрменгарду,
Которую сама ты наряжала
Так радостно в тот день, которой косу
В тот день обрезала,— взгляни, какую
Она вернулась, и благослови
Тех, кто отвергнутую принял!

Адельгиз

Помни,
Что боль твоя есть наша боль, и нас
Обидел твой обидчик!

Дезидерий

И за нами —
Забота об отмщенье!

Эрменгарда

Мой родитель,
Не этого желает боль моя:
Забвенья лишь хочу — и мир охотно
Дарит его несчастным. Пусть беда
Закончится на мне. Когда согласья
И мира белым стягом быть меж вами
Мне небо не дало, пусть хоть не скажут,
Что слезы и раздор с собой несу я
Везде и всем, кому должна была
Стать радости залогом.

Дезидерий

Будет горько
Тебе, коль понесет бесчестный кару?
Его ты любишь?

Эрменгарда

Ах, отец, зачем ты
Дорыться хочешь до глубин души?
Что ни найдешь там, будет не на радость...
Самой мне страшно вопрошать ее.
Что было, для меня не существует.
О милости прошу, отец, последней:
Здесь, при дворе, где мать меня растла
Для радужных надежд, что делать мне?
Я — как венок цветочный: любовались
Мгновенье им, чело венчали в праздник —
И на дорогу бросили... В святую
Обитель благочестия и мира,
Которую, как будто все провидя,
Твоя жена воздвигла, где сестра
Счастливая навеки обручилась
С тем женихом, который не отвергнет,
Укрыться разреши. Другие узы
В священный брак вступить мне не
позволят,
Но там, никем не видима, в покое
Я дни свои закончу.

Дезидерий

Да не сбыться
Тому, что ты пророчишь! Верь, ты будешь
Жить! Не отдал на произвол преступным
Жизнь лучших бог и не дал власти им
Гасить надежды, изгонять из мира
Любую радость.

Эрменгарда

О, когда б вовеки
Не видеть берегов Тицина Берто!
Не пожелать из рода лангобардов
Невестку привести и на меня
Не обратить очей!

Дезидерий

Увы, отмщенье,
Как медлишь ты!

Эрменгарда.

Даешь ли ты на просьбу
Согласье мне?

Дезидерий

Советчиком поспешным
Бывает боль скорее, чем надежным,
А время неожиданно меняет
И мысли наши, и дела. Но если
Оно твоих желаний не изменит,
Я не перечу им.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Т е ж е. Входит Анфрид.

Дезидерий
(Анфриду)

С чем ты явился?

Анфрид
Здесь, во дворце, посол. Он просит, чтобы
Вы, государи, приняли его.

Дезидерий
Откуда он и от кого?

Анфрид
Из Рима,
Но послан королем.

Эрменгарда
Отец, позволь
Мне удалиться.

Дезидерий
(дамам)
Дочь препроводите
В ее покои; отряжаю вас
Служить ей: почести и титул королевы
Останутся за ней.

Эрменгарда удаляется в сопровождении дам.

Он прибыл, Анфрид,
От короля? От Карла?

А н ф р и д

Ты сказал.

Д е з и д е р и й

Что нужно Карлу? Что решат меж нами
Слова? О чем мы можем договоры,
Как не о смерти, заключать?

А н ф р и д

Явился

Он с важною, мол, вестью, а покуда,
Кого ни встретит во дворце из знатных,
Заговорить спешит и льстит...

Д е з и д е р и й

Уловки,

Обычные для Карла!

А д е л ь г и з

В ход пустить их

Не дай же времени ему.

Д е з и д е р и й

(Анфриду)

Скорее

Зови к нам Верных! С ними пусть войдет
Посол.

Анфрид уходит.

Настало время испытанья,
Со мною заодно ли ты?

А д е л ь г и з

Отец.

Чем заслужил я твой вопрос суровый?

Д е з и д е р и й

Должны едины быть сердца и воля!
Но так ли это? Что ты мыслишь делать?

Адельгиз

Пусть прошлое ответит за меня.
Приказов жду твоих, чтоб их исполнить.

Дезидерий

И вопреки намереньям своим?

Адельгиз

Зачем об этом спрашивать меня,
Меж тем как близок враг? Я —
только меч
В твоей руке. Но вот посол. Да будет
Твоим ответом долг предписан мне.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Дезидерий, Адельгиз, Альбин,
лангобардские Верные.

Дезидерий

Отрадно вашим королям, что с ними
рядом
Вы, герцоги и Верные мои,
В совете и в сраженье.
(Альбину.)

С чем пришел ты?

Альбин

Карл, франков властелин, любимый
богом,
Вам, лангобардов короли, моими
Устами вот что возвещает: земли,
Что дарены Петру Пипином славным,
Угодно ль вам очистить сей же час?

Дезидерий

О лангобардские мужи! Вы мне
Свидетели пред всем народом нашим!
Ведь если от того, кого назвал он,
Но чье назвать претит мне имя, принял
Посланца я и слушал эти речи,
То лишь священный королевский долг

Меня принудил к этому. Вопрос твой,
Посол, не легок: тайну короля
Узнать ты хочешь. Только самым первым
Из нашего народа, от которых
Мы ждем совета здорового, лишь тем,
Кого ты видишь здесь со мной, привыкли
Мы доверять ее — но не пришельцам.
Так что на твой вопрос ответ достойный —
Не дать ответа.

Альбин

Твой ответ — война!
Ее вам, Адельгиз и Дезидерий,
От имени пославшего меня
Монарха объявляю, — вам, посмевающим
На божье достоянье посягнуть
И огорчить святого. Не на этих
Славных мужей войной идет король мой:
Поборник бога, богом призван, богу
Он посвящает меч — и поневоле
Его опустит на любого, кто
Разделит с вами грех.

Дезидерий

Ступай к нему,
Сбрось плащ посла — ты только в нем
отважен! —
Приди с мечом. Увидишь, изберет ли
Поборником предателя господь.
Ответьте, Верные!

Многие лангобарды
Война!

Альбин

Так ждите
Ее — и здесь, и скоро! Ангел, дважды
Предшествовавший скакуну Пипина,
Водитель, вспять не обращавший взора,
Пустился снова в путь.

Дезидерий

Пусть каждый герцог
Поднимет знамя. Пусть любой судья
Объявит о войне, созвав имущих,
И пусть любой, коня вскормивший, сядет
В седло и мчит на зов мой. Место сбора —
У Кьюзы в Альпах.

(Послу.)

Королю скажи,
Что я его зову.

Адельгиз

Скажи еще,
Что бог — за всех, бог внимлет клятве,
данной
Слабейшему, и верность ей пль кару —
Вот все, что он на выбор нам дает.
Порою мнит себя угодным богу
Разгневавший его — и бог ему влагает
Безумье в сердце, чтоб навстречу мести
Он сам летел. Скажи, что опрометчив
Тот, кто идет на копья лангобардов,
Обидев лангобардскую жену.

Выходят: короли с большей частью Верных — в одну сторону, посол — в другую.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Оставшиеся герцоги.

Индюльф

Война, сказал он...

Фарвальд

Гибель королевства —
В этой войне.

Индюльф

И наша.

Э р в и х

Что ж, мы будем
Ждать в праздности?

Х и л ь д е г и з

Друзья, для совещаний
Не место здесь. Скорее прочь —
и к Сварту
Поедем все, но разными путями.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

в доме СВАРТА.

С в а р т

Посол от Карла. Близится исход,
Каков бы ни был он. На дне сосуда,
Заваленное тысячью имен,
Мое лежит — и будет там лежать,
Коль не встряхнут сосуда. Я до смерти
Безвестен буду; не узнают даже;
Как из безвестности хотел я выйти.
Да, я никто. Коль в этот дом порою
Съезжаются знатнейшие, которым
И с королями можно враждовать,
Коль тайны их мне ведомы, — причина
Одна: что я никто. О Сварте думать?
Следить, кто ступит на его порог?
Кому я страшен? Кто мне враг? О, если б
Отвагой добывалась честь и судьбы
Все не расставили заране! Если б
Клиники давали власть, вы увидали б,
Князя-спесивцы, кто бы взял ее.
Иль будь все дело в хитрости... Читаю
У вас в сердцах я, а мое для вас закрыто.
С каким бы гневным изумленьем все вы
Узнали, что единственным желаньем
Я с вами связан и одной надеждой:
Встать с вами вровень. Золотом вы мните

Мне заплатить. Швырять его под ноги
Стоящим ниже — вот судьба! А гнуться,
Хватать его рукою безоружной,
Униженно, как нищий...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Сварт, Хильдегиз. Потом остальные.

Хильдегиз

Сварт, бог в помощь!
Есть кто-нибудь?

Сварт

Нет никого. Какие
Известья?

Хильдегиз

С франками война! Завязан
Мудреный узел: если не разрубишь —
Так не развяжешь. Близок день, который
Сулит награду всем.

Сварт

Награды жду я
Только от вас.

Хильдегиз
(входящему Фарвальду)

Кто едет за тобою?

Фарвальд

Скакал за мной Индульф.

Хильдегиз

Вот он.

Индульф

Друзья!

Хильдегиз
Вот Эрвих!

Остальные входят.

Братья! Срок последний близок:
Пусть победит любой из королей,
Мы будем побежденными, коль скоро
В игру не вступим прежде сами. Если
Удача будет нашим королям,
Они на нас ударят тотчас. Карл
Одержит верх — в захваченной державе
Кем будем мы? Примкнуть иль к тем,
иль к этим
Придется поневоле... Но желавших
Другого короля — простят ли наши?

Индульф
(за ним другие)
Война! Война им!

Хильдегиз
Так союза с Карлом
Искать должны мы.

Фарвальд
Где его посол?

Эрвих
Он окружен друзьями королей:
С ним Анфрид. Адельгиз придумал это.

Хильдегиз
Так пусть один из нас поедет к Карлу,
Чтоб наши предложенья передать,
И сообщит ответ.

Индульф
Согласны.

Хильдегиз
Кто
Поехать вызовется?

С в а р т

Я! Ведь если
Один из вас, о герцоги, исчезнет,
То подозрение по следам его
Отправит стражу — и гонца поймают.
А всадник рядовой исчезнет, Сварт,
Его не больше хватятся, чем шишки,
В сосновой роще с дерева упавшей.
А спросят на поверке, где я,— пусть
Один из вас ответит: Сварт? Я видел,
Как вдоль Тицина нес его скакун
Взбесившийся; с седла упал он в воду,
И так как был в доспехах, то не выплыл.
«Злосчастный!» — скажут, а потом

о Сварте

Никто не вспомнит. Вам и незаметно
Нельзя пройти. А на моем лице
Кто остановит взгляд? На топот клячи,
Одной к тому же, чуть глаза поднимет
Какой-нибудь латинянин — и даст
Дорогу мне.

Х и л ь д е г и з

Сварт, я не думал прежде,
Что ты таков.

С в а р т

Нужда придаст проворства
Усердию, а чтоб доставить вести,
Проворство нужно, больше ничего.

Х и л ь д е г и з

Пусть едет?

Г е р ц о г и

Пусть.

Х и л ь д е г и з

К рассвету изготовься,
Чтоб в тот же день исполнить наш наказ.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

ЛАГЕРЬ ФРАНКОВ В ДОЛИНЕ СУЗЫ.

Карл, Петр.

Петр

Непобедимый Карл! Что слышу я?

Едва лишь

Вступил ты в землю, где второе царство
Тебе господь назначил, как по всем
Шатрам шептаться стали о возврате!
Пусть королевскими устами тотчас
Слух нечестивый будет опровергнут!
Пусть правнуки не скажут, будто дело,
На небесах решенное и в руки
Тобою взятое, ты бросил тотчас.
Неужто возведу отца святому:
Меч, поднятый по божьему внушенью,—
В ножнах. На миг исполнясь доброй воли,
Отчаялся твой сын великий.

Карл

Сколько

Я сделал, чтоб спасти отца такого,
Ты сам свидетель, божий человек,
И мир свидетель! А о том, что сделать
Осталось, не могу просить совета
У моего желанья, коль дала мне
Совет необходимость. Всемогущий,
Един! Когда ушей моих достиг
Зов пастыря в беде, я, победитель
И сокрушитель идолов, на саксов
Неверных шел; их бегство пролагало
Мне путь, но я на полпути к победе
Остановился, заключивши мир,
Хоть мог три дня спустя и покорить их;
В Женеве станом став, единой воле

Моей чужую волю подчинил я —
И франки вышли, как один, с охотой,
Как шли бы отвоевывать свой край,
На перевал вступили итальянский —
Но он был заперт. Что теперь, ты видишь!
Когда бы между франками и целью
Стояли только люди, неужели
Мог бы сказать тебе властитель франков,
Что заперт путь? Врагу сама природа
Здесь укрепила оборону, рвами
Ущелья проложив; господь воздвиг
Вершины гор — сторожевые вышки
И башни; самый малый перевал
Стеной перегорожен: здесь десяток
Опасен сотням, женщины — бойцам.
Я слишком много потерял отважных
Здесь, где в отваге пользы нет; и слишком
Уверен в преимуществе своем
Свирепый Адельгиз: он нападает,
Смел, точно лев у логова, наносит
Удар — и мчится прочь с мечом кровавым.
Как часто, ночью обходя мой стан,
Встав у шатров, я слышал это имя,
Со страхом повторяемое. Франков
Здесь, в школе страха, долго я не стану
Держать. Когда бы мы в открытом поле
Лицом к лицу могли сойтись, то верен
Был бы исход недолгого сраженья,—
Да, слишком верен, чтобы зваться славным!
Сварт, безымянный воин, перебежчик,
Со мной делил бы славу: он донес мне,
Как много есть врагов, заране побежденных...
Все день один решил бы — бог мне не дал
Его! Об этом полно.

Петр

Государь,
Смиренному рабу того, кем избран
Ты сам и взыскан дом твой властью, просьбы
Дозволь продолжить. Знаешь ли, в чьи руки
Ты предаешь того, кого зовешь
Отцом? — Его врага на бой ты вызвал

И шел войной, а враг, утратив разум —
От ярости, не от испуга, — слал
Гонцов к отцу святому, чтобы новых
Дал королей он франкам (знаешь сам ты
Кого). Ответ тирану был такой:
Пускай рука отнимется, пусть раньше
Святой елей на алтаре засохнет,
Чем, сыну моему в ущерб, он станет,
Возлитый мною, семенем войны. —
Что ж, пусть твой сын спасет тебя, —

ответил

Король, — но если он тебя покинет,
То распря между нами решена.

Карл

Зачем ты рану бредишь мне? Хочешь,
Чтоб изошел и я в напрасных столах?
По-твоему, пришпорить нужно Карла
Напоминаям, что грозит опасность
Отцу святому? — Вижу, знаю сам
И мучусь так, что не сказать об этом
На языке людском. Но укрепления
Такие одолеть и на простор
Прорваться — этого король не может!
Ты слышал почему, а повторять
Охоты нет. Затем всего добился
От франков я, что дел хоть и великих,
Но выполнимых требовал. Тому, кто
Глядит извне и непричастен делу,
Тяжелым мнится легкое нередко,
А легким то, что людям не по силам.
Но тот, кто бой ведет на деле, кто,
Лишь действуя, достигнет цели, — знает,
Где есть, где нет надежды... Что еще
Могу я сделать? Мир врагу предложен,
Но с тем, чтоб он очистил земли римлян,
И золото — за мир в уплату. Было
Оно отвергнуто. Позор! Отправлюсь
На Везер искупать его!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Т е ж е, А р в и н.

А р в и н

Король,
Латинянин какой-то прибыл в лагерь.
Тебя он видеть хочет.

К а р л

Как же Кьюзу
Он миновать сумел?

А р в и н

По тропам тайным,
Путем окружным; хвалится, что с важной
Пришел он вестью.

К а р л

Приведи его.

Арвин уходит.

И ты послушай. Не хочу я упускать
К спасенью Адриана ни единой
Возможности. Будь мне свидетель в этом.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Т е ж е, М а р т и н. А р в и н, приведя его, удаляется.

К а р л

Латинянин — и здесь? Как ты в мой лагерь
Пробрался цел и незамечен?

М а р т и н

Слава

Тебе, надежда пастыря и паствы!
Тебя я вижу — и за труд опасный
Тем награжден сполна. О, нечестивых
Избранный сокрушить! Тебе дорогу
Я укажу.

Карл

Какую?

Мартин

Ту, где шел я.

Карл

Кто ты? Откуда? Как пришла к тебе
Мысль дерзкая?

Мартин

К священному сословью
Диаконів приписан я. Рожден
В Равенне. Лев меня послал, епископ,
Сказав: «Ступай! Там избавитель Рима —
Найди его. Господь с тобой! А если
Ты взыскан особливо им, то Карлу
Вожатым стань и Адриана горе
Ему яви».

Карл

Со мной его легат.

Петр

(Мартину)

Дай руку. Ты приходишь к нам, как ангел,
Несущий радость.

Мартин

Я — смиренный грешник,
А радость — от небес, и да не будет
Вотще она.

Карл

Латинянин отважный,
Что видел ты, где шел, какие встретил
Опасности, поведай.

Мартин

Указал мне

Туда, где стан твой, Лев — и я пошел
Через прекрасный край, — в нем лангобарды

Теперь гнездятся, имя дав стране;
По городам и весям там я видел
Одних латинян, а из нечестивых
Твоих и наших супостатов нету
Там никого, кроме надменных жен,
И матерей, и мальчиков,— они
Лишь учатся владеть мечом,— и старцев,
Оставленных стеречь рабов на пашне,
Подобных редким пастухам в отаре плотной.
Так я дошел до Кьюзы; там столпилось
Все племя, чтобы всех одним ударом
Десницы сокрушил ты.

Карл

В самом стане
Ты был? Каков он? Что враги готовят?

Мартин

С той стороны, что на Италию смотрит,
Ни рва, ни частокола, ни порядка
В расположеньях: встали как попало,
И лишь сюда глядят, откуда ждут
Тебя со страхом. Было невозможно
К тебе идти сквозь лагерь пряником,
Да я и не пытался: как стеною
Та сторона защищена, меня бы
Сто раз приметили — по подбородку
Обритому, по волосам коротким,
По платью, облику, латинской речи.
Чужак и враг, погиб бы я без пользы,
А не увидевши тебя, вернуться
Мне было б горше смерти. Я подумал,
Что долгожданный избавитель Карл
Стоит неподалеку, и дорогу
Решил искать — и отыскал.

Карл

Но как
Узнал ты путь — а враг о нем не знает?

Мартин

Бог вел меня, бог ослепил их. Вышел
Из стана незаметно я, вернулся

Но, из долин все в новые долины
Переходя, я сомневаться начал;
А если вдруг доступной крутизны
Я склон встречал и на него взбирался,
С горы я зрел вокруг и впереди
Другие горы, выше, круче; снегом
Белели от вершины до подножья
Одни, шатрам подобны островерхим,
Другие были словно из железа,
И все стеной вставали. Третий день
Клонился к вечеру, когда увидел
Я гору: головою возносилась
Она средь всех, но сплошь был зелен склон
И деревья вершину увенчали.
К ней поспешил я. То был склон восточный
Горы, чей скат, на запад обращенный,
Твой лагерь осеняет, государь.
Был у подножья я застигнут тьмою:
Мне ложем были скользкие, сухие
Иголки, изголовьем — старый ствол
Огромной ели. Светлою надеждой
Я был разбужен на заре и, свежих
Исполнен сил, стал подниматься. Чуть лишь
Достиг вершины я, как издалека
Ударил в уши мне внезапный гул,
Невнятный, но немолчный. Неподвижно
Стоял и слушал я: то не было паденье
Воды, прорвавшей скалы, не был ветер
Рассветный, обегающий верхушки
Лесов нагорных, — нет, живые люди,
Их говор, их шаги и суета
Их дел, их бурное вдали движение
Производили этот шум неясный.
Я шаг прибавил. Трепетало сердце.
Король! На той гряде — ее вершина
Нам видится и длинною, и тонкой,
Как острие вонзающейся в небо
Секиры, — плоские лежат поляны,
Поросшие нетоптаной травой.
По ним я срезал путь — и с каждым мигом
Гул приближался; я конец пути
Стремглав пронесся, края плоскогорья
Достиг, взглянул в долину... Что ж узрел я?

Израиля палатки, возжеленный
Иакова шатер! — Простершись ниц,
Я возблагодарил творца и тотчас
Спустился вниз.

К а р л

Всевышнего рука!
Лишь нечестивец это не признает.

П е т р

Ты явственней узришь ее, исполнив
Тот подвиг, что тебе назначен богом.

К а р л

Исполню, да!
(*Мартину.*)
Латинянин, подумай
И верный дай ответ: где ты прошел,
Там конница пройдет ли?

М а р т и н

Как иначе?
Не то зачем бы проложил дорогу
Всевышний? Чтобы человек безвестный
Пришел к владыке франков и поведал
О бесполезном чуде?

К а р л

Ты сегодня
В моей палатке отдохнешь, а завтра
Отборных воинов твоей дорогой
Сам поведешь чуть свет. — Тебе я вверю
Цвет франкских войск, — запомни это,
храбрый!

М а р т и н

Иду я с ними. Голова моя
Залогом обещаний будет.

Карл

Если

Из плена гор я вырвусь и с победой
Приду к святой апостола гробнице,
К отеческим объятьям Адриана,
И если что-то значат наши просьбы
В его глазах, то пастырской повязкой
Украсится чело твое, и люди
Узнают, как ты Карлом чтим. — Арвин!

Входит Арвин.

Позвать священников и графов.

(*Легату и Мартину.*)

К небу

Прострите руки! Пусть благодаренье
О новых милостях мольбою станет!

Легат и Мартин уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Карл

Карл отступал. Пусть едкий смех врага
И смех веков грядущих ждал его,
Но он поклялся отступить отсюда
В свою страну. Кто из моих отважных
И верных мог бы просьбой иль советом
Меня заставить изменить решение?
И вот один-единственный, — чужак,
Не воин, — мысли новые принес мне.
Но нет, не он вернул отвагу Карлу:
Звезда, сверкавшая мне при отбытье,
На время скрылась — и опять зажглась.
То призрак был обманчивый, толкавший
Прочь от Италии меня, и лгал мне
Звучавший в сердце голос, лгал, твердя:
Не быть тебе, не быть царем над краем,
Где Эрменгарда родилась. — Неправда!
Твоей я не запятнан кровью! Что же
В глазах моих стояла ты упорно,

Печальная, с упреком молчаливым,
И бледная, как будто из могилы?
Коль дом ее стал неугоден богу,
Был ли мой долг остаться с нею? Если
Мне приглянулась Хильдегарда, разве
Оправдан не был пользой государства
Союз наш? Сердце женское твое
С событиями не встало вровень. Что же
Могу я сделать? Что бы совершил
Тот, кто считать бы стал заранее горе
От дел своих? Путем высоким мчаться
Король не может — и не растоптать
Кого-нибудь. В тиши, в тени возросший,
Исчезни, призрак! Выходит солнце, трубы
Трубят...

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Карл, графы, епископы.

Карл

О войны мои! Сносить
В бездействии опасность, оставаться
Среди лишений, чести не суливших,
Нелегким испытаньем это было!
Но, веря королю, повиновались,
Как в день сраженья, вы. И испытанью
Настал конец, а близкая награда
Достойна франков. — На рассвете в путь
Отправится отряд. Его возглавишь
Ты, Экхард. На врага пойдете вы,
Чтоб в скором времени его застигнуть
Там, где не ждет он. Сам тебе отдам я
Приказ подробный, Экхард. Есть у нас
Друзья средь лангобардов: ты узнаешь,
Как отличить их. Остальных легко
Вы выбьете из их гнезда у Кьюзы,—
А мы без боя все ее минуем
И на равнине встретим вас. Друзья!
Не будет больше стен, валов и башен,
Ни стрел из-за зубцов, ни из укрытья

Смеющихся стрелков, ни нападений
Врасплох, во мраке,— нет, по ветру знамя,
Два племени в открытом поле, кони
Против коней, и грудь врага не дальше,
Чем на длину копья. Так и скажите
Всем латникам моим, что их король
Ликует, словно в день под Эерсбургом,
Когда наверно он предрек победу.
Пусть к бою будут все готовы! После,
Завоевав страну и разделив
Добычу, пусть толкуют о возврате.
Три дня — а там победный бой и отдых
В Италии прекрасной, среди нив,
Колышущих колосья, меж деревьев
Плодовых, нашим дедам неизвестных,
Средь храмов древних и палат, в земле,
В чьем лоне спят властители вселенной
И мученики веры, где подымлет
Верховный пастырь длани, чтобы наши
Благословить знамена, где одно
Враждебно племя нам — и то наполовину
Мне предалось; на это племя дважды
Ходил отец мой, и оно давно уж
Разрознено. Все прочие народы
За нас, все ждут нас. Пусть враги заметят
С высот дозорных, как мы снимем лагерь,
Пусть увидят радостные сны
О нашем бегстве, о добыче нечестивой
От разграбленья храма, о Верховном
Левите, нашем друге и всеобщем
Отце, попавшем в рабство к ним; пусть
грезят,
Покуда Экхард не придет и разом
Их не разбудит. Вы, отцы святые,
Назначьте в стане общую молитву,
Да будет богу посвящен поход,
Во имя бога начатый. Как франки
Перед царем царей во прах склонятся
Челом смиренным, так пред ними в поле
Склонятся их надменные враги.

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

ЛАГЕРЬ ЛАНГОВАРДОВ. ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ШАТРОМ
АДЕЛЬГИЗА.

Адельгиз, Анффрид.

Анффрид
(*входит*)

Мой государь!

Адельгиз

Ты здесь, любезный Анффрид?
Что франки? Никаких примет не видно,
Что с лагеря снимаются они?

Анффрид

Пока не видно; нет меж них движенья,
Как нынче утром, как три дня назад,
После того как первые отряды
Пустились отступать. Я, глядя с вала,
Почти что все увидел; также с башни
Я наблюдал: по-прежнему в порядке
И начеку их плотные ряды;
Обычный вид для тех, кто, нападать не
мысля,
Ждет нападения, стережется, зная
Свое бессилье, выжидает часа,
Чтоб только невредимо отступить.

Адельгиз

Увы, ему удастся это! Низкий
Обидчик Эрменгарды, тот, кто клялся
Весь род мой угасить,— уйдет, а я —

Я не могу пустить коня в погоню,
И удержать врага, чтоб он сразился
Со мной и растоптать его оружие!
Да, не могу! В открытом поле с ним
Тягаться мне нельзя! В теснинах Къюзы
Немногих верных, избранных для стражи,
И храбрецов, немногих из немногих,
На вылазки со мной ходивших, было
Довольно для спасенья королевства.
Предатели от боя уклонялись,
Но были связаны. А в чистом поле
Они меня на произвол врага
Покинут сразу. Жалкая победа!
Какая радость будет, когда вестник
Мне скажет: Карл ушел! — Я буду счастлив
Знать, что избег он моего меча.

Анфрид

Мой государь, и этой хватит славы!
Как победитель на добычу шел он
На ваше царство—и уходит, побежденный.
Ведь побежденным сам себя признал он,
За перемирье предлагая мзду.
Ты отразил его. Отец ликует,
Все войско числит за тобой победу,
Мы, верные, твоей гордимся славой
И нашей долей в ней. А им, трусливым,
Себя обрекшим не любить тебя,
Придется им бояться пуще.

Адельгиз

Слава!

Моя судьба — о ней мечтать до смерти
И не изведать. Разве это слава?
Нет, Анфрид! Враг уходит, не наказан,
Затеет новые дела и новой
Пойдет искать победы, побежденный,
Но правящий народом, воедино
Единой волей слитым и подобным
Его мечу и, словно меч, послушным
Руке его. А я — я нечестивца,

Что сердце уязвил мне и обиду
Коварным нападенъем возместил,
Не в силах наказать! — К тому же новый
Поход, всегда моим претивший мыслям,
Нам предстоит — неправый и бесславный,
Но уж наверняка успешный.

А н ф р и д

К прежним
Король вернулся замыслам?

А д е л ь г и з

Неужто
Ты сомневаешься? Отступят франки,
Угроза минет — и войска пошлет он
Против наместника Петра. На Тибр
Охотно и согласно лангобарды
Пойдут, верны тому, кто поведет их
За легкую и верною добычей.
Что за война! Что за противник! Снова
Нагромоздим развалины поверх
Развалин. Наше старое искусство —
Палить дворцы и хижины. Сначала
Убьем владетелей страны, а после
И всех, кто попадет под наш топор;
Кто уцелеет, тех возьмем рабами,
И лучшая при дележе добыча
Придется самым вероломным. Мнил я
Себя рожденным не затем, чтоб шайку
Разбойников возглавить, мнил, что небо
Дало мне на земле почетней дело,
Чем безопасно разорять ее.
Мой Анфрид милый, детских игр товарищ
И первых битв, опасностей, утех
Монх участник! Братом по избранью
Ты стал мне, так пускай перед тобою
Все вымолвят уста, о чем я мыслю.
Душа тоскует! Мне она велит
Свершать дела высокие, но судьбы
Меня на низменные обрекают
И по дороге, избранной не мною,

Влекут без цели. Исыхает сердце,
Зерну подобно, павшему на камень,
Швыряемому ветром.

А н ф р и д

Знай, твой верный
Тебе и сострадает и дивится.
Несчастный, царственный мой друг. От
горя
Высокого тебя я не избавлю,
Но разделю его с тобой. Сказать
Могу ли сердцу Адельгиза: властью,
Почетом, золотом довольно будь,
Найди покой, в чем низкие находят?
Нет, не могу! А мог бы, так не стал!
Страдай и будь великим! Твой удел
Таков. Страдай — но и надейся: ты лишь
начал
Свой путь. Кто скажет, для каких деяний
Ты предназначен небом, сочетавшим
В тебе высокий сан с душой высокой?

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Адельгиз, Дезидерий. Анфрид удаляется.

Дезидерий

Мой сын! Ты наравне со мной король,
Тебя почетом новым возвеличить
Никто не в силах, даже я. Но есть награда
Бесценная для чувств твоих сыновних:
Хвала отца. Спаситель королевства,
Твоя лишь всходит слава. Для нее
Я открываю поприще просторней.
Все опасенья, на какие ты
Ссылался, замыслам моим противясь,—
Ты их рассеял, ты лишил себя
Всех оговорок. Победитель франков,
Отныне будь завоеватель Рима!

Венец, венчавший двадцать королей,
Неполон был; лишь ты к нему прибавишь
Последние, прекраснейшие лавры.

Адельгиз

Твой воин за тобой пойдет послушно,
Куда захочешь ты.

Дезидерий

Такие земли
Завоевать! И только послушанье
Тобою движет?

Адельгиз

Мне оно подвластно,
А значит, и тебе, пока я жив.

Дезидерий

Отцу ты повинешься с проклятьем?

Адельгиз

Я повинуюсь.

Дезидерий

Старости моей
Мучение и слава! Меч мой в битвах,
А в замыслах — помеха! Нужно влечь
Тебя к победе силой!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же. Оруженосец, вбегающий в страхе.

Оруженосец

Франки! Франки!

Дезидерий

Что ты сказал, безумный?

Другой оруженосец

Франки здесь!

Дезидерий
Как?

Сцена наполняется беглецами-лангобардами.
Входит Баудо.

Адельгиз

Что случилось, Баудо?

Баудо

С тыла франки
Напали. Стан в кольцо. Враг отовсюду
Врывается. Беда и смерть!

Дезидерий

Но где же
Они прошли?..

Баудо

Кто знает?

Адельгиз

Разверните
Знамена — и бегом на них!
(*Порывается идти.*)

Баудо

На них?
От них бежим мы врассыпную. Битва
Проиграна.

Дезидерий

Проиграна?

Адельгиз

Друзья!
Не для того ль мы здесь, чтоб с ними
биться?

Не все ль равно, откуда враг напал,
Коль есть мечи для встречи? Вон из ножен
Клиники! Враг их изведаль — и еще раз
Изведает! Обратно, лангобарды!

Вонтеля нельзя застать врасплох!
Куда бежите? Этот путь бесславен!
Не там враги! Эй, все за Адельгизом!

Входит А н ф р и д.

Ты, Анфрид?

А н ф р и д

Я с тобой, король!

А д е л ь г и з

Отец мой,

Ты Кьюзу охраняй.

Уходит, за ним Анфрид, Баудо и немногие лангобарды.

Д е з и д е р и й

(беглецам, пересекающим сцену)

Куда вы, трусы?

За мною в Кьюзу! Если так трясетесь

За жизнь, то там есть башни, стены, чтобы

Укрыться...

Бегущие латники появляются со стороны, противоположной той, куда устремился Адельгиз.

Один из беглецов

Государь, ты здесь? Беги!

(Убегает.)

Д е з и д е р и й

Проклятый! Королю сказать такое!

А вы — кто гонит вас? Как вы посмели

Оставить Кьюзу? Трусость отняла

У вас рассудок!

Латники бегут. Дезидерий приставляет острие меча к груди одного из них. Беглец останавливается.

Если убегаешь

Ты от меча, то этот меч пронзает

Не хуже франкских. Королю ответь,

Вы почему бежали все из Кьюзы?

Л а т н и к и

И с этой стороны напали франки
Врасплох на стан. Мы их видали с башен.
А наши разбежались.

Дезидерий

Ложь! Мой сын
Собрал войска, на горсточку напавших
Повел их. Все назад!

Л а т н и к и

Нет, государь,
Враги сильны, сюда идут рядами
Сомкнутыми, а наши прочь бегут,
Оружье бросив. Адельгиз не мог
Собрать людей. Нас предали!

Дезидерий

(толпящимся беглецам)

О, трусы!
Спаситься мы можем в Кьюзе и держать
Там оборону.

Один из латников

Ни души в ней нет.
Пройдут ее насквозь и с двух сторон
На нас враги ударят. Остается
Один лишь путь для бегства, если прежде
Его не перережут.

Дезидерий

Так умрем
Как воины!

Другой латник

Изменники на бойню
Нас продали!

Третий

Погибнуть в честной битве
Согласны мы, не от удара в спину!

Четвертый

Франки!

Все
Бежим!

Дезидерий

Бегите! Я за вами.
Таков удел вождя убогих войск.
(Удаляется вслед за беглецами.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЛАГЕРЬ ВОЗЛЕ КЬЮЗЫ, ПОКИНУТЫЙ ЛАНГОВАРДАМИ.

Карл в окружении франкских графов, Сварт.

Карл

И эту одолели мы преграду.
Творцу вся слава! Я завоевал
Тебя, Италии земля, и в лоно
Твое вонзаю пику. Без сраженья
Мы победили: Экхард сделал все.

(Одному из графов.)

Ступай на холм, взгляни, где он с отрядом,
И доложи скорей.

Граф уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Рутланд.

Карл

Ты здесь, Рутланд?
Ты бой покинул?

Рутланд

Будь мне сам свидетель,
Король, и вы, о графы: в этом гнусном
Бою меча не обнажил я. Пусть
Разит, кто хочет. Вспугнутое стадо
Не мне преследовать!

Карл

И ни один
Тебя лицом к лицу не встретил?

Рутланд

Мчался

Один отряд навстречу мне, ведомый
Знатнейшими. Я устремился к ним —
Они, прося о мире, преклонили
Знамена, объявив себя друзьями...
Друзья! Была теснее наша дружба
У Кьюзы в стычках! Где король, спросили;
Я прочь поехал. Скоро их увидишь!
Нет, знать бы мне, каков противник будет,
Сидел бы дома я.

Карл

Отважный из отважных,
Не горячись! Завоевать страну
Прекрасно, как ее ни победи.
Здесь долго мы не будем, а саксонец
Не сломен: хватит славных дел тебе!

Входит граф, отосланный Карлом.

Граф

К нам Экхард продвигается сюда
Из лагеря, сражаясь. Лангобарды,
Стоявшие меж ним и нами, скопом
Бегут направо и налево. Скоро
Очистит он равнину.

Карл

Все идет,

Как должно.

Граф

Видел я отряд, который
Нам сдался и, свернув сюда, к тебе
Направился.

Другой граф

Он здесь.

Карл

Сварт, это те ли,

О ком ты говорил мне?

Сварт

Да. Друзья!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, Хильдегиз и другие герцоги, судьи, лангобардские латники.

Хильдегиз

Сварт! Государь!

(Преклоняет колени и влагает руки в руки Карла.)

Рукой победоносной

Прими, властитель франков, наш властитель,

Тебе покорных лангобардов руки

И клятву верности, давно тебе

Обещанную...

Карл

(Сварту)

Подойди, граф Сузы!

Сварт

Какая милость, государь!

Карл

Скажи мне,

Как имена тех, кто предался нам.

Сварт

Кремоны герцог Эрвих; Хильдегиз,

Владелец Тренто; Эрменгильд Миланский;

Пьяченцы герцог Вила; герцог Пизы

Индульф; а это воины и судьи.

Карл

Вы, герцоги, вы, судьи, встаньте. Каждый
Да сохраняет титул свой. Как только
Досуг мне будет, по заслугам вас
Вознагражу я. А сейчас — за дело!
О верные и доблестные! К братьям
Вернитесь вашим, объявите всем,
Что вождь полков германских не воюет
С германским племенем, но только род,
Враждебный небу, недостойный трона,
Пришел я свергнуть. В вашем королевстве
Лишь короля сменяю я. Поглядите
На солнце. Кто ко мне ли до заката,
К моим придет ли франкским Верным, к
вам ли,
Чтоб клятву дать, ладонь вложив в ладони,
Моим тот будет Верным в прежнем сане.
А кто мне бывших королей доставит,
Тому награда будет по делам.

Лангобарды уходят. Король обращается к Рутланду.

Назвал ли я их доблестными?

Рутланд

Да,

Увы.

Карл

Ошибкой с уст слетело слово,
Что франкам лишь храню в награду. Пусть
бы
Забыли все, как обронил его я!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же. Анфрид, раненный, на руках у двоих франков.

Рутланд

Есть все же враг! Неужто где-то бьются?

Один из франков

Из всех один он бился.

К а р л

Он один?

Ф р а н к

Все прочие сдались, оружие бросив,
Иль разбежались. Он лишь отступал
Неспешно; поняли мы сразу: этот
В бою на славные дела способен,
И, отделившись вчетвером от строя,
За ним пустились вскачь. Он от погони
Скакать быстрее не стал, а когда мы
Его настигли, он на крик «сдавайся!»
Вспять повернул и пикою ударил
Того, кто ближе был; из тела вырвав
Ее, свалил второго, но покуда
Он наносил удар, от наших копий
И сам упал. Тогда с мольбою руки
Он к нам простер, прося, чтобы его,
Не помня зла, мы вынесли на копьях
Туда, где он, далеко от смятенья
Всеобщего, умрет спокойно. Мы
За лучшее сочли исполнить просьбу.

К а р л

И сделали добро; а гнев храните
Для тех, кто вам противится.

(Сварту.)

Ты знаешь

Его?

С в а р т

Да, это Анффрид, Адельгиза
Оруженосец.

К а р л
(Анффриду)

Ты один сражался?

А н ф ф р и д

Чтоб умереть, соратники нужны ли?

Карл
(Рутланду)

Вот наконец и доблестный! О, Анффрид,
Зачем, достойный жить, ты отдал жизнь?
Моей она была бы! Иль не знал ты,
Что стал бы воином, не пленным Карла?

Анффрид

Жить воином твоим — вместо того
Чтоб Адельгиза воином погибнуть?
Любезен небу он, и в день позора
Оно спасет его для лучших дней,—
Так уповаю я. Но если... Помни:
Король иль нет, но Адельгиз таков,
Что всякий, оскорбляющий его,
Творца на небе оскорбит в чистейшем
Его подобье. На краю могилы
Я говорю: могуществом и счастьем
Ты верх над ним берешь — но не душой!

Карл
(графам)

Так Верные должны любить!

(Анффриду.)

С собою

Мое ты уважение унесешь.
Тебе король в знак дружбы и почтения
Жмет руку. В крае доблестных твое
Не смолкнет доблестное имя. Жены
франков,

От нас услышав, повторяют его
И, сострадая, вымолят у неба
Тебе покой. Воздай последний долг
Ему, Фульрад.

(Воинам.)

Как друга короля

Его почитите.

(Графам.)

Экхарду навстречу

Поедем: этой чести заслужил он.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

ПУСТЫННЫЙ ЛЕС.

Дезидерий, Вермунд, лангобардские беглецы, едущие
в беспорядке.

Вермунд

Сойди с седла, мой государь. Опасность
Минула. Телу старому дай отдых.
Приляг здесь на траву, переведи
Усталое дыханье. Мы далеко
От поля боя, от дорог; не слышен
Сюда враждебный гул, а вокруг тебя —
Лишь преданные слуги.

Дезидерий

Где мой сын?

Вермунд

Сейчас прибудет, я надеюсь. Верных
Я воинов послал его искать,
Чтоб от опасностей спасти коварных
Для лучших битв, и к нам сюда доставить.

Дезидерий

Вермунд, Вермунд, устал король твой
старый,
Устал бежать!

Вермунд

О, низкая измена!

Дезидерий

Седины короля проволокли
Предатели по грязи! Словно труса,
Бежать заставили его! Бежать!
Сейчас я встану — лишь затем, чтоб снова
Бежать? Но для чего? Куда? К могиле
Бесславной? И пристало ль мне спастись
От них? Пусть тот, кто отнял королевство,
И жизнь отнимет! А сойду под землю, —
Что сделает мне Карл?

Вермунд

Король, мужайся!
Ты был и будешь королем. Довольно
Осталось верных: их удар внезапный
Рассеял,— но к тебе вернет их честь.
Есть крепости еще, и жив, я верю,
Твой сын.

Дезидерий

Будь проклят день, когда на гору
Поднялся Альбоин и, землю взглядом
Окинув, произнес: «Она моя!»
Преемникам его судьба сулила
Быть поглощенными землей коварной,
Разверзшейся под их ногами. Проклят
Тот день, когда он ввел в нее народ свой
И основал державу, чтоб она
Погибла в час позорный!

Вермунд

Адельгиз!

Дезидерий

Мой сын, тебя ли вижу я?

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, Адельгиз.

Адельгиз

Отец мой!

(Обнимаются.)

Дезидерий

Когда б твоих я слушался советов!

Адельгиз

Что вспоминать? Ты жив — и смысл
высокий
Вновь обретают дни мои: отдать
Могу их за тебя. Но телом ты
Не сломлен ли?

Дезидерий

Да, груз трудов и лет
Впервые придавил меня... И прежде
Их гнет превозмогал я, но не с тем,
Чтоб от врагов бежать...

Адельгиз
(латникам)

Вот, лангобарды,
Ваш государь.

Один из латников
Умрем за короля!

Многие
Все, как один, умрем!

Адельгиз
Коль так, быть может,
Спасем ему не только жизнь. Так в деле
Сейчас — неверном, но всегда — святом,
Проигранном, но все ж не безнадежном,
Мне будет ли залогом ваша клятва?

Один из латников
У воинов своих не требуй клятв;
Они, король, звучат сегодня ложью
В устах у лангобардов. Требуй дела:
Оно одно докажет нашу верность.

Адельгиз
Так есть еще на свете лангобарды!
Ну что ж, бежим и жизнь спасем, чтоб
даром
Не отдавать изменникам ее,
А дорого продать. Наш путь лежит
На Павию; дорогой, сколько сможем,
Мы соберем бредущих в одиночку
И станем войском снова. Ты найдешь,
Отец мой, в Павии покой и отдых,
Да и защиту: стены целы там,

Оружья вдоль. Дважды был в ней заперт
Беглец Айстульф — и дважды выходил
Оттуда королем. А я в Верону
Отправляюсь. Государь, назначь, кому
Быть при тебе.

Дезидерий

Пусть Ивреи владетель
Со мной поедет.

Адельгиз
(приблизившемуся Гунтингу)

Гунтинг, я тебе
Отца вверяю. Где Веронский герцог?

Гизельберт

Средь тех, кто верен.

Адельгиз

Ты со мной поедешь.
Возьмем с собой Гербергу: жалок тот,
Кто средь своих несчастий забывает
Несчастных. Баудо, в Брешии запрись,
Обороняй и герцогство свое,
И Эрменгарду. Алагиз, Ансульд,
Кунберт, Анспранд,
(выбирает их из толпы лангобардов)

вернитесь в стан: сегодня
Без подозрений франки примут лангобардов.
Всех испытайте: герцогов, и графов,
И воинов; старайтесь отличить,
Кто был врасплох застигнут, кто изменник,
И тем, что со стыдом, с тоской очнулись
От наважденья трусости, скажите,
Что время есть, что живы короли,
Война идет, и не бесславной смертью
Еще погибнуть можно. Их ведите
По крепостям. Непобедимо войско,
Чья сталь раскаяньем закалена!
Срок, ваше мужество, оплошность франка
Подскажут вам неожиданные решения,

Ход времени спасенье принесет.
Пускай в смятенье наше королевство,
Но не разрушено оно.

Дезидерий

Мой сын,
Ты силы мне вернул. Скорей в дорогу!

Адельгиз

Я этим доблестным тебя вверяю
И скоро догоню вас.

Дезидерий

Но кого
Ты ждешь?

Адельгиз

Мой Анфрид в битве от меня
Отстал, чтоб на себя принять опасность
И охранять меня. Такую верность
И волю непреклонную сломить
Не мог я, как не мог и ждать, не зная,
Спасен ли ты. Но ты спасен, и я
Не двинусь без него.

Дезидерий

Я жду с тобою.

Адельгиз

Отец...
(Недавно подошедшему латнику.)

Ты видел Анфрида?

Латник

О нем
Не спрашивай меня, король.

Адельгиз

О небо!
Скажи мне все.

Латник

Я видел, как погиб он.

Адельгиз

День гнева, день позора! Завершился
Достойно ты! О брат мой, брат, погибший
В сраженье за меня! А я... Зачем
Ты без меня хотел опасность встретить?
Не с этим был союз наш заключен!
Господь, ты жизнь сберег мне, ты мне дал
Великий долг. Дай сил его исполнить!

Хор

На форумах ветхих, в чертогах замшелых,
В грохочущих кузнях, в полях запустелых,
Где рабский стекает на пахоту пот,
Склоненные головы робко подымлет,
Растущему гулу далекому внесмлет
В рассеянье жалком живущий народ.

На лицах угрюмых, во взорах несчастных,
Как луч, среди туч промелькнувший ненастных,
Отцовская вспыхнула доблесть на миг.
На лицах, во взорах приходит в боренье
Привычка терпеть и тупое смирение
С униженной городостью прежних владык.

Собираются вместе, расходятся снова.
Бредут по тропам среди мрака лесного,—
Влечет нетерпенье, препятствует страх.—
И смотрят, как их угнетатель надменный
От вражеских копий толпою смятенной
Спасается бегством, разгромленный в прах.

Бегут, задыхаясь,— так хищник спесивый
Со вздыбленной ужасом рыжею гривой
К пещере знакомой спешит со всех ног.
Встречают в домах беглецов пристыженных
Суровые матери, скорбные жены,
И горек очей их безмолвный упрек.

А следом, с не сытыми кровью клинками,
Как свора, готовая в зверя клыками
Вцепиться, летит победитель-пришлец...

И радостно смотрят рабы из укрытий,
Надеждой псход упреждая событий,
Предвидя постылого рабства конец.

Но знайте: кто ваших властителей с бою
Сломил, кто погнал их смятенной толпою,
Сюда из-за гор ворвались без дорог,
Прервали забавы обильного пира,
Презрели улады покоя и мира,
Чуть только призвал их воинственный рог.

Покинули жен под отеческим кровом
Хоть жены, простившись, прощанием новым
Разлуку старались отсрочить на миг,
Но мужи помятые племя надели,
По гулким мостам на конях пролетели,
На воинский сбор понеслись напрямик.

С воинственной песней промчались отрядом
Сквозь многие страны, по селам и градам,
Но милые замки хранили в сердцах.
В горах и ущельях, под бурей снежной
В мечтах наслаждались беседою нежной,
С оружием стоя всю ночь на часах.

Опасностью тайной чреваты ночлеги,
По кручам нехоженным трудны набег,
Суровы приказы и пища скудна,
Щетинятся копыя, как нива густая,
Над шлемами стрелы свистят, пролетая,
И многих отважнейших косит война.

Напрасно надеетесь! Есть ли им дело
До рабства чужого, до злого удела?
Цепей не разрубит их гордый булат!
Вернитесь же в кузницы, к мирным работам,
На пажити, рабским политые потом,
К замшелым развалинам гордых палат.

То племя, что нынче приходит войною,
Сольется с врагом, и под властью двойною
Служить вам у старых и новых господ.

Стада и рабов поделив меж двоими,
Гнести они будут утративший имя,
В рассеянье жалком живущий народ.

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

САД МОНАСТЫРЯ СПАСИТЕЛЯ В БРЕШИИ.

Эрменгарда, поддерживаемая двумя дамами, Ансель-
берга.

Эрменгарда

Сюда, сюда, под липу!
(Садится на скамью.)

Как отраден
Апрельский этот свет на листьях юных!
Понятно мне, зачем так ищут солнца,
Почувствовав, что жизнь уходит, старцы,
Согбенные годами.
(Дамам.)

Вам спасибо:
Вы, поддержав бессильную, мне дали
Желанье утолить, которым я
С утра томлюсь! Испить еще раз воздух,
Который здесь, над Меллой, с первым
вздохом

Впила я, видеть вновь родное небо
И все вокруг, насколько глаз хватает...
Ты, Ансельберга, милая сестра,
Ты, богу посвященная...

Протягивает руку. Дамы удаляются. Ансельберга садится
рядом.

Уж скоро
Конец твоим заботам и моим
Мучениям. Бог их посылает в меру:

Усталость предмогильная покоем
Меня объемлет; юность, укротившись,
Не борется со смертью; и душа,
В страданиях постарев, от пут телесных
Освобождается легко, как я
И не надеялась... Тебя прошу я
О милости последней: внять предсмертным
Моим словам торжественным, сберечь их
В душе для тех, кого я покидаю.
Родная, не пугайся! Не гляди
С такой тревогой. Это милость божья!
Ты хочешь, чтоб господь мне дал увидеть
День, когда враг пойдет на приступ?
Вспомни,
Кто этот враг! Ты хочешь, чтоб господь
Меня сберег для муки несказанной?

Ансельберга

Страдалица любимая, не бойся:
Война еще далеко. На Верону
И Павию, на королей и Верных
Все силы нечестивец устремил —
И, даст нам бог, не хватит их. Здесь Баудо,
Наш родич благородный, и Ансвальд,
Святой епископ, множество собрали
Бойцов вооруженных — из долин,
С Венакских берегов, — и насмерть все
Стоять готовы. Коль падет Верона
И Павия — не допусти господы! —
Борьба здесь долгой будет.

Эрменгарда

Мне не видеть
Ее: от страха, от земной любви
И от надежд свободна, я уйду
Далеко... За отца, за Адельгиза
Молиться буду, за тебя, за всех
Страдальцев и виновников страдания.
Прими последний мой наказ, сестра:
Отцу и брату, если их увидишь, —
Бог да пошлет вам эту радость, — скажешь,

Что у предела жизни, в миг, когда
Все забывается, была отрадна
Мне память о решимости учтивой
И сострадании, с какими оба,
Не устыдясь отвергнутой, объятья
Открыли мне, в смущенье трепетавшей;
Что у престола господя я буду
Молить об их победе непрестанно,
А не вонмет он, значит, высший промысл
Иначе явит милосердьё, я же
Благословляю перед смертью их.
Да, и еще... Не откажи мне в этом:
Пусть кто-нибудь из Верных — где угодно,
Когда угодно — злобного врага
Отыщет...

Ансельберга

Карла?

Эрменгарда

Ты сказала. Пусть
Он передаст, что, не питая злобы
Ни к одному из смертных, Эрменгарда
Преставилась — и молит бога, чтобы
Он за ее страданья ни с кого
Не взыскивал: ведь ею припят этот
Удел из рук его... А если слуха
Надменного не тронуть словом горьким,—
Пусть скажет, что его простила я.
Ты сделаешь?

Ансельберга

Пусть так вонмет всевышний
Моим мольбам последним, как вяла я
Твоим.

Эрменгарда

Любимая! Еще есть просьба:
Пока дыханье плоть мою живило,
Ты на заботы не скупилась; так последний
Принять не погнушайся вздох и с миром
Меня земле предать. И пусть положат
Со мной кольцо, что я ношу на левой

Руке: оно пред богом было мне
У алтаря дано. Пусть будет скромной
Моя гробница. Все мы — прах, так чем же
Хвалиться нам? Но королевский герб
На ней пусть будет: стала королевой
Через святыя узы я, а божий
Дар неотъемлем, и о нем должна
И смерть, как жизнь, свидетельствовать.

Ансельберга

Полно!

Тяжелые отбрось воспоминанья!
Послушай, в том убежище, куда
Тебя привел паломницей господь,
Гражданкой стань; твоим пусть будет
Пристанище твое; плоть освяти —
И освятится дух, и все земное
Забудешь.

Эрменгарда

Что ты предлагаешь мне?
Солгать пред богом? Вспомни: я предстану
Женой пред ним, пусть непорочной, но
Обвенчанной со смертным. Счастье вам:
Царю царей вы сердце подарили
Воспоминаньями не отягченным,
Святым прикрыли покрывалом очи,
В лицо мужчины не взглянув. Но я
Принадлежу другому.

Ансельберга

Лучше было б

Тебе его не знать!

Эрменгарда

Да, лучше... Но
Любим путем, куда направит небо,
Идти должны мы до конца. Что, если
Весть о моей кончине к благочестию,
К раскаянью его направит сердце
И он во искупление вины,—
Хоть позднее, но сладостное,— прах мой

Для склепа королевского испросит?
Ведь умерший порой сильнее живого.

Ансельберга

Он этого не сделает!

Эрменгарда

Безбожно

Предел кладешь ты доброте того,
Кто трогает сердца, кто веселится,
Заставив злого зло исправить.

Ансельберга

Нет.

Он этого не делает. Не может.

Эрменгарда

Как? Почему не может?

Ансельберга

О, родная,

Не спрашивай, забудь о нем.

Эрменгарда

Скажи,

Не дай в могилу унести сомненья!

Ансельберга

Он увенчал свое злодейство...

Эрменгарда

Чем?

Ансельберга

Из сердца изгони его! Бесстыдный
Виновен в том, что в новый брак вступил,
Чем перед богом и людьми кичится,
Коль скоро даже в воинский свой стан
Взял Хильдегарду...

Эрменгарда поникает без чувств.

Как ты побледнела!

Ты слышишь, Эрменгарда? Боже! Сестры,
Скорей! Что я наделала!

Входят две дамы, за ними монахини.

Кто, кто
Поможет ей? Ее ублю горе!

Первая монахиня
Нет, дышит, успокойся.

Вторая монахиня
О злосчастье!
Так молода, так родом высока —
И столько горя!

Одна из дам
Госпожа!

Первая монахиня
Открыла
Глаза.

Ансельберга
О небо, что за взгляд!

Эрменгарда
(бредит)

Гоните
Прочь, прочь ее! Эй, стража! Как посмела
Она пройти вперед и короля
Взять за руку?

Ансельберга
Очнись! О боже правый!
Приди в себя! Не говори так! Имя
Святое призови — рассеять морок!

Эрменгарда
(бредит)

Карл! Как ты терпишь? На нее взгляни
Суровым взглядом — и она немедля
Бежит! Ведь я, твоя жена, и в мыслях
Не погрешившая, не в силах видеть

Любила. Сколько провели мы дней
Ликующих! Ты помнишь? Через горы,
Леса и реки мы перебирались,
И с каждою зарею просыпаться
Все радостней мне было! Умоляю,
Не вспоминай. И думать не могла я,
Что сердце смертное такую радость,
Такую муку вынесет. Ты плачешь
Со мною? Ты меня утешить хочешь?
Так назови же дочерью — и сердце
При этом имени наполнит боль
До края — и отнимет память.

Ансельберга

Боже,

Дай умереть ей с миром!

Эрменгарда
(бредит)

Пусть бы это
Был сон! Пускай туман разгонит солнце,
И я проснусь в тревоге, обессилив
От слез, и спросит Карл, что за причина,
И в маловерье упрекнет с улыбкой!
(Вновь погружается в забытье.)

Ансельберга

Небес царица, помоги несчастной!

Первая монахиня

Взгляни: лицо опять спокойно стало
И под рукою не трепещет сердце...

Ансельберга

Сестра, что с нею? Эрменгарда!

Эрменгарда
(приходя в себя)

Кто

Зовет меня?

Ансельберга

Я, Ансельберга! Видишь,
Твои здесь дамы рядом, сестры молят
О том, чтоб ты покой нашла.

Эрменгарда

Пусть небо
Благословит вас! Мир и дружелюбие
На лицах вижу я — и просыпаюсь
От тягостного сна.

Ансельберга

Да, больше муки,
Чем новых сил принес тебе тревожный
Покой.

Эрменгарда

И правда, жизнь совсем угасла.
Так поддержи меня, а вы до ложа
Привычного дойти мне помогите.
Последняя услуга — но на небе
Все, все зачтется вам. Умрем же с миром!
Бог близок: говорите мне о нем.

Хор

Косы на грудь упали ей,
Полную смертной муки,
Влажно чело холодное,
Лежат бессильно руки,
Взор устремлен блуждающий
Ввысь за предел земной.

Стоны сменились общие
Молитвою согласной.
Легкая длань коснулась
Бледного лба несчастной,
Очи прикрыла синие
Последней пеленой.

Тихо умри, мятежную
В сердце уйми тревогу,
Мысль вознеси последнюю,
Как приношение богу.
Не в этой жизни ждет тебя
Крестного цель пути.

Было судьбой начертано
Тебе в земной юдоли
Не обрести забвения

Долгой и тяжелой боли,—
Чтоб, освятившись муками,
К богу святых взойти.

Часто в бессонном сумраке,
В келье уединенной
Под пенье дев, молившихся
Коленопреклоненно,
Мысль возвращалась к образам
Невозвратимых дней,—

Когда она, любимая,
Будущего не зная,
Воздух пила живительный
Салического края
И жены фрапков юные
Завидовали ей;

Когда в венце искрящемся
С холма она глядела
Вниз, где охота жаркая
Вскачь по полям летела,
Чтоб окружить облавою
Встревоженную дебрь;

И сам король, к опущенным
Склонившийся поводьям,
Мчался за сворой гончею
К ближним лесным угодьям,
Где скакунов дымящихся
Ждал, ошестинясь, вепрь.

Пики удар, направленный
Царственной мощной дланью;
Сухой песок истоптанный
Впивает кровь кабанью;
Она стоит, испугана,
Мужа трепетно ждет...

Моза, ключи горячие,
Ахенских бань утех!

Туда, совлеки легкие
Кольчатые доспехи,
Шел властелин воинственный
Смыть благородный пот.

Когда, жарой сожженные,
Травы росы напьются,—
Сухие и поникшие,
Соком живым нальются,
Стебли в утренней свежести
Тянутся к небу вновь;

Так же и душу, в тяготах
Любви, недуга злого,
Поит росой живительной
Приветливое слово,—
И снова кроткой радостью
Мнится душе любовь.

Но вновь над раскаленным
Солнце встает холмам,
Воздух палит безветренный
Негаснущее пламя,
Стебли, едва окрепшие,
К земле лучами гнет.

Так же любовь бессмертная,
Заснув лишь на мгновенье,
Душу внезапным натиском
Выводит из забвенья,
И гасит грезы светлые
Боли привычной гнет.

Тихо умри, мятежную
В сердце уйми тревогу,
Мысль вознеси последнюю,
Как приношение богу.
В той же земле, где горестной
Плоти лежать твоей,

Горем лежат убитые
Воинов павших вдовы,
Невесты, зря надевшие

Свадебные покровы,
Матери, пережившие
Гибель всех сыновей.

Ты, чьи отцы бесчинною
Вторглись сюда ордою,
Число считая доблестью,
Насилье — правотою,
Кровопролитие — славою
И правом — произвол,

Ты к страждущим причислена
Злосчастьем прозорливым;
Никто не оскорбит тебя
Словом несправедливым;
Спи среди них, не тревожима
Памятью прежних зол.

Умри — и пусть лицо твое
Вновь безмятежно станет,
Как в дни, когда, не ведая,
Что жизнь тебя обманет,
Легким мечтам девическим
Ты предавалась. Так

В разрывы туч на западе
Падает свет пурпурный,
И солнце заходящее
Сулит восход безбурный,
После ненастья долгого
Добрый являя знак.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

НОЧЬ. КОМНАТА В БАШНЕ НА СТЕНАХ ПАВШИ.
ПОСРЕДИНЕ СЛОЖЕНО ОРУЖИЕ.

Г у н т н и н г, А м р и с.

Г у н т н и н г

Ты помнишь ли Сполето, Амрис?

А м р и с

Можно ль

Забывать об этом, господин мой?

Г у н т и н г

Помнишь,
Твой господин погиб, ты среди наших
Один остался, без защиты. Поднял
Взбешенный враг секиру над тобою,—
Я не дал опуститься ей. Ты пал
Мне в ноги с криком, что моим ты будешь.
В чем ты поклялся мне?

А м р и с

В повпновенье
И верности до смерти. Но хоть раз
Нарушил ли я клятву?

Г у н т и н г

Нет; но время
Пришло на деле подтвердить ее.

А м р и с

Приказывай.

Г у н т и н г

На этом освященном
Оружье поклянись мое веленье
Исполнить; поклянись, что ни из страха,
Ни уступив соблазну, ты о нем
Ни словом не обмолвишься.

А м р и с

(возлагает руки на оружие)

Клянусь!

А коль солгу, пусть мне скитаться нищим,
Пусть не носить щита, пусть мне рабом
У римлянина стать!

Г у н т и н г

Ну что же, слушай.
Мне вверена охрана стен, ты знаешь;
Я здесь начальник, и повиновеньем
Обязан только королю. Я ставлю
Тут, над откосом, часовым тебя.
Подчаска удалил я. За луною
Следи; чуть ночь дойдет до половины,
Увидишь ты: к твоей стене украдкой

Приблизится вооруженный воин.
То будет Сварт... Ты почему глядишь
С таким испугом? Сварт, который был
Ничтожнее тебя средь нас, а ныне
Возвысился меж франков, ибо ловко
Умел служить и тайно. Знай одно:
Как друг он к твоему приходит господину.
Сварт знак подаст, ударив рукоятью
Меча о щит; ему ответишь трижды
Ты тем же знаком. Лестницу тогда
К стене приставит он, а ты все тот же
Знак повторишь и, как взберется, в башню
Его проводишь. Сам на стражу встань
У двери. Хоть шаги, хоть вздох

услышишь —

Войди и доложи.

А м р и с

Исполню все.

Г у н т и н г

Великому ты замыслу послужишь,
Великой будет и награда.

Амрис уходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г у н т и н г

Верность!

Пусть павшего сеньора друг, который
По пережительности, иль в надежде
Упорствуя, с ним до конца был рядом
И вместе пал, о верности кричит,
Чтобы себя утешить. В то, что утешает,
Без колебаний нужно верить. Если ж
Все можно потерять, — то можно также
И все спасти, когда король-счастливец,
Помазанник, сопровождаемый богом,
Карл шлет ко мне гонца, Карл ищет
Моей, зовет не гибнуть, отделяет дружбы

Меня от тех, что делу обреченных
Верны... Опять вернулось это слово
Докучным гостем, прогнанным сто раз,
И, в гущу мыслей замешавшись, здравый
Сбивает мой расчет! О верность! С нею
Любой удел прекрасен, вплоть до смерти!
Кто так сказал? Да те, ради кого
И умирают верные. Но мир
Единогласно с ними повторяет,
Что верный, будь он нищ и всеми брошен,
Достоин большей чести, чем изменник
В богатстве, среди толпы друзей. Неужто?
Но почему же нищ и всеми брошен
Достойный чести? Что ж вы все дивитесь
Ему, но не спешите честь воздать,
Утешить, все верпуть, что отнял жребий
Несправедливый? Будьте там, где честь,
Покиньте презираемого вами
Счастливец — и тогда я вам поверю!
Спроси у вас совета я, уж точно
Услышал бы: от низких откажись
Посулов, раздели любую участь
С твоими королями! Почему же
Вас так заботит это? Потому что,
Когда бы пал я, вы б меня жалели;
А устою один среди крушенья
И покажусь вам на коне бок о бок
С монархом-победителем, и он
Мне улыбнется — зависть вас возьмет,
А жалость вам приятнее, чем зависть.
Нет, ваш совет нечист! Но втайне Карл
Сам будет презирать тебя! А разве
Он презирает Сварта, коль возвел
В высокий титул латника простого?
Меня с приветливым лицом почитит он,
А тайную кто мысль его узнает?
И важна ли она? Нет, вы хотите
Мне желчью чашу отравить, которой
Не выпить вам. Для вас отрадно видеть
Великие крушенья, блеск угасший,
И толковать о них, и утешаться
В неизвестности своей. Вот ваша цель!

А мне другая, радостнее, блещет,
Ваш крик напрасный мне не помешает
Ее достичь. А коль рукоплесканья
Стяжать от вас возможно стойкой битвой
С опасностью,— что ж! Я иду навстречу
Опасности грознейшей, и однажды
Поймете вы, что в этом деле больше
Отваги нужно, чем в бою открытом.
Ведь если, как он делает порой,
Король пройдет по стенам и застигнет
Меня со Свартом,— да, с одним из тех,
Кого изменниками он зовет,
А Карл своими Верными... Но полно!
Нет времени оглядываться вспять.
Судьба велит, старик, чтобы один
Из нас погиб. И так я должен сделать,
Чтобы не мне погибнуть.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гунтинг, Сварт, Амрис.

Сварт

Гунтинг!

Гунтинг

Сварт!

(Амрису.)

Ты никого не встретил?

Амрис

Никого.

Гунтинг

Ступай на стражу!

Амрис выходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г у н т и н г. С в а р т.

С в а р т

Гунтинг, жизнь моя
В твоих руках.

Г у н т и н г

Но и моя залогом
В твоих. Одна опасность...

С в а р т

Из нее
Ты волен сам извлечь награду. Хочешь
Судьбу упрочить некого народа
И с ней свою?

Г у н т и н г

Когда о тайной встрече
Меня просивший пленник мне сказал,
Что Карлом послан он, что обещает
Король свой гнев переложить на милость
И возлагает на меня надежды,
И весь ущерб мне возместить сулит,
И что вести со мной переговоры
Придешь ты,— я согласие дал. Когда же
Он попросил залог — я тайно сына
Отправил к франкам — как посла и как
Заложника. А ты все не уверен
В намереньях моих? Когда бы так же
Был тверд король в своих!

С в а р т

Не сомневайся.

Г у н т и н г

Я знать хочу, чего желает Карл
И что сулит. Мое владенье отдал
Другому он, и сам пустой ношу я.

С в а р т

Есть в этом польза: все сочтут, что ты
Смертельный враг захватчику владений.

А ты лишился сана лишь затем,
Чтобы возвыситься. Как ты, знатнейшим,
Карл не сулит, а дарит. Вот, возьми,
(*протягивает грамоту*)
Граф Падуанский.

Г у н т и н г

С этого мгновенья
Ему служу я,— только бы мой труд
Заметил повелитель мой. Скажи мне,
Что приказал он.

С в а р т

Павию сдать ему
И пленным выдать короля. Тогда уж
Конец походу. Держится в осаде
С трудом Верона; там почти что каждый
Мечтает едаться. Только Адельгиз
Удерживает их. Но если к стенам
Карл, покоритель Павии, придет,
Кто слово скажет о сопротивленьи?
Другие города, что, на отсрочку
Надеясь, держатся,— падут немедля,
Подобно обезглавленному телу.
Нет королей — так некого стыдиться;
Зачем упорствовать в повиновенье,
Коль нет приказывающих? И сразу
Войне конец.

Г у н т и н г

Да, этот город нужен
Ему — и он его получит... завтра!
Не позже! К западным пускай воротам
Отряд он поведет как бы на приступ.
Здесь, у других ворот, я только верных
Бойцов оставлю. Там начнется схватка —
Пусть мчит сюда он. Здесь ворота будут
Открыты. Но пускай не просит Карл,
Чтоб короля я захватил и выдал
Врагу. Я Дезидерия вассалом
Был в дни счастливые — и бесполезно
Пятна не буду имя. Ведь несчастный
И так в кольце — и не уйти ему.

С в а р т

Счастливец я, коль весть такую Карлу
Несу. Счастливей ты, кто можешь сделать
Так много для него. Скажи еще мне:
Как мыслят в Павии? И много есть ли
Таких, что подпирают престол в крушение
Решились — либо вместе с ним упасть?
Иль наконец и взоры, и молитвы
К звезде победной Карла обратили?
И будет ли последняя победа
Всем по душе, как первая?

Г у н т и н г

Да, много
Усталых здесь: они стоят без веры
Под знаменем, но лишь блюдя обычай.
Все мысли им советуют покинуть
Покинутого богом, но за каждой
Мыслью встает пугающее слово:
Измена. Я им подскажу другое,
Разумнее: спасенье королевства,—
И будут наши. Непоколебимы
Другие: не надеясь ни на что
От Карла...

С в а р т

Обещай им: он умеет
Привлечь любого.

Г у н т и н г

Это риск напрасный.
Пусть погибает, кто погибнуть хочет.
Все и без них свершится.

С в а р т

Гунтинг, слушай.
С тобой как Верный Карла с Верным Карла
Я говорю, — но мы ведь лангобарды!
Властитель франков, полагаю, сдержит
Условия, но не лучше ль, чтоб вокруг
Была толпа друзей, спасенных нами?

Г у н т п и г

Доверье за доверье, Сварт. Тот день,
Когда над нами будет править Карл
Без подозрений, зная, что привержен
Здесь каждый меч ему,— тот день опасен
Для нас! Но если хоть один противник
Спасется, будет жить и новой власти
Грозить, тогда он пренебречь не сможет
Никем из тех, кто власть ему добыл.

С в а р т

Ты говоришь умно и откровенно.
Была к спасенью нам одна дорога,—
И мы по ней пошли. Но есть препоны,
Засады по пути,— ты сам увидишь.
Беда тому, кто побредет один!
В торжественный сей миг, когда связала
Судьба единым делом нас и общей
Опасностью, в сей миг, который оба
Мы не забудем,— заключим союз!
И для тебя, и для меня он будет
Союзом жизни. Мой обет — твоей
Удаче помогать, твоих врагов
Считать моим.

Г у н т п и г

От меня такой же
В обмен прими обет.

С в а р т

На жизнь и на смерть!

Г у н т п и г

В залог — моя рука.
(Протягивает руку, Сварт пожимает ее.)
Скажи монарху,
Что перед ним склоняюсь я.

С в а р т

До завтра.

Г у н т н г

До завтра. Амрис!

Входит Амрис.

На стене спокойно?

А м р и с

Все тихо.

Г у н т н г

(указывая на Сварта)

Проводи его.

С в а р т

Прощай.

Конец четвертого действия

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В ВЕРОНЕ.

Адельгиз, Гизельберт, герцог Веронский.

Г и з е л ь б е р т

О государь! Лишь войском принужденный,
Пришел я волю передать его.
Вожди и латники — все просят сдаться.
Скрывать напрасно, что врагу открыла
Ворота Павия, что победитель
Спешит к Вероне, что в плену король.
Об этом знают все. Навстречу Карлу
Герберга вышла с сыновьями, больше
Надеясь на прощенье, чем на дружбу
Бессильную. Верона, истощившись
В осаде долгой, бедная войсками
И продовольствием, отбить не в силах
И тех врагов, что под стеной; так где ей

Под натиском идущих устоять?
Все войско, за изъятием немногих,
Не хочет жертвовать собой в неравном
Бою, когда пойдут на приступ франки.
Покуда можно было уповать
На труд и на терпенье, все трудились,
Терпели все — и отдали сполна,
Что требовали долг и честь. Но бедам
Бесцельным просят положить конец.

Адельгиз

Ступай, я скоро дам ответ.

Гизельберт уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Адельгиз

Ступай,

Живи, состарься с миром: ты среди первых
Останешься в своем народе, будешь
Вассалом... Не страшись! Настало время
Таких, как ты. Но слушать, как трусливый
Приказывает мне, признать законом
Дрожащих тварей волю — это слишком!
Они решили! Трусость все решила,
А страх их сделал дерзкими. Любого,
Кто среди них остался человеком,
Сметет с пути трусливая их ярость.
О небо! Мой отец — в когтях у Карла!
Остаток дней он проживет в неволе,
Послушный манию руки, которой
Как друг пожать не пожелал; он будет
Есть хлеб обидчика! И нет пути
Извлечь его из ямы, где рычит он,
Покинутый и преданный, и кличет
Того, кто сам бессильен... Нет пути!
Сдал Брешню врагу мой храбрый Баудо:
Заставили его открыть ворота
Те, кто не хочет гибнуть... Эрменгарда,
Ты всех счастливей! Жалкий дом, в котором
Лишь тот достоин зависти, кто умер

От мук! Извне надменный враг подходит
И будет требовать, чтобы его
Я завершил триумф, и вторит трусость
Здесь, в городе, ему и, осмелев,
Меня торопит. Слишком много сразу!
Я по сегодня мог, хоть без надежды,
Но действовать и ждать, что новый день
За нынешним придет; я всякий миг
Знал, что мне делать. А теперь? Теперь,
Пусть я не мог из трусов сделать храбрых,
Но трусы также помешать не смогут
Погибнуть храбро храбрецу. К тому же
Не все трусливы: кто-нибудь меня
Услышит, и соратников найду я,
Коль крикну: «Встретим Карла и докажем,
Что не всему на свете лангобарды
Предпочитают жизнь,— и не победу,
Так смерть найдем!» О чем ты? Увлекать
С собою доблестных в паденье? Если
Ты сделал в этом мире все, что мог,—
Умри один! Умри... Покоем душу
Мне полнит эта мысль; она приходит
С улыбкою, как друг, на чьем лице
Мы добрые читаем вести. Выйти
Из гнусной свалки, где меня теснят,
Не слышать смех врага и сбросить разом
Весь груз сомненья, жалости и гнева!
Ты, меч, который столько раз чужую
Судьбу решал, и ты, рука, мечом
Уверенно владеющая!.. Сразу
Все кончить!.. Все? Несчастный! Для чего
Себе ты лжешь? Червей презренных шепот
Тебя ума лишает. Мысль о том,
Как ты пред победителем предстанешь,
Твою сломила доблесть, и кричишь ты,
Страшась минуты этой: «Слишком,

слишком!»

А как предстать пред богом? Скажешь:

«Вот я

Пришел, не дожидаясь зова, бросил
Тот слишком трудный пост, куда тобою
Поставлен был?» Бежать? О, нечестивый!
И завещать отчаянный, последний

Свой вздох отцу, чтоб до могилы память
Его преследовала? Нет, долой
Мысль нечестивую! Опомнись, Адельгиз!
Ты — человек, и ты не вправе сбросить
В такую пору с плеч ярмо трудов.
Убежище у греков император
Сулит тебе. Господь его устами
Глаголет! С благодарностью прими:
Достойного и мудрого решенья
Другого нет. Оставь отцу надежду:
Пусть он тебя в мечтах хотя бы видит
Вернувшимся с победой, от цепей
Избавившим его, а не в крови,
Проливой в миг отчаянья. Быть может,
И не мечтой то будет: выбирались
Из бездны глубже люди, а фортуна
Навек ни с кем союз не заключает.
Все отнимает, все дает нам время:
Друзей, преемников. Эй, Теуд!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Адельгиз, Теуд.

Теуд

Я здесь,

Мой государь.

Адельгиз

Остались ли друзья
У короля без власти?

Теуд

Да, все те,
Кто Адельгизу другом был.

Адельгиз

И что же

Они решили?

Теуд

Ждут твоих решений.

Адельгиз

Где?

Теуд

Во дворце, вдали от тех, кому
Не терпится быть побежденным.

Адельгиз

Горе

Отваге среди трусости всеобщей!
Всех этих доблестных с собою в бегство
Возьму я: ничего другого сделать
Для них я не могу, и для меня
Одно им сделать можно: в Византию
Со мной бежать. А если благородней
Есть у кого совет, пусть мне его
Подаст, молю. Тебе же я доверю
Другую службу, Теуд: она важнее
Для сердца моего. Останься здесь,
Дай знать отцу, что я бежал, но только
Ради него; остался жить затем,
Чтоб вызволить его; и пусть надежды
Он не теряет. Обними меня!

Прощай до лучших дней! А герцогу
Вероны

Скажи, чтоб от меня не ждал приказов.
На верность полагаюсь, Теуд, твою.

Теуд

У господы проси, чтоб он помог ей
Выходят в разные стороны.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ШАТЕР В СТАНЕ КАРЛА ПОД ВЕРОНОЙ.

Карл, герольд, Арвин, графы.

Карл

Ступай в Верону, герцогу и войску
Такие передай слова, герольд:
Карл прибыл; пусть ворота отворят —

И с милостью войдет он; а иначе
Войдет он все равно, хотя и позже,
И в гневе вам назначит сам условия.

Герольд уходит.

Арвин

Тебя желает видеть побежденный
Король.

Карл

Зачем?

Арвин

Он не сказал, но просьбу
Почтительную передал.

Карл

Зови.

Арвин уходит.

Посмотрим на того, кто мой венец
Предназначал другому.

(Графам.)

Отправляйтесь

К стенам, у выходов удвойте стражу,—
Чтоб ни один не ускользнул от нас.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Карл, Дезидерий.

Карл

Зачем ты здесь, несчастный? Между нами
Какая может быть беседа? Небо
Наш спор решило; препираться больше
Нам не о чем. А плакать и стенать
Пред победителем не подобает
Хоть бывшему, но все же королю,
Как мне негоже пред тобой излить
Вражду в словах язвительных, иль радость

И гордость, наполняющие сердце,
Лицом тебе явить, — чтобы господь
На полпути к победе не оставил
Меня, раскаявшись. А ободрений,
Уж верно, ждать не стоит от меня,
О чем скажу я? Что тебя печалит,
То мне на радость. Не могу оплакать
Судьбу, которой не хочу менять.
Таков земной удел: схватились двое —
Так поневоле одному придется
В слезах покинуть поле. Кроме жизни,
Нет для тебя других даров у Карла.

Дезидерий

Моей страны король, моей семьи
Гонитель! Жизнь для павших государей —
Не дар! Ужель ты мнишь, что я,
простертый
В пыли пред победителем, не мог бы
Упиться радостью и отравить
Триумф твой ядом, что мне сердце
душит, —
Чтоб ты мою запомнил речь, чтоб умер
Я отомщенным хоть отчасти? Нет,
Я кару божью чту в тебе, склоняюсь
Пред тем, пред кем меня склонило небо.
Тебя молить пришел я, — а мольбам
Несчастливого не внявший сам выносит
Себе смертельный приговор.

Карл

Чего ты хочешь?

Дезидерий

Ты поднял меч в защиту Адриана?

Карл

Что спрашивать? Ты знаешь сам!

Дезидерий

Так слушай!

Мне бог свидетель, страждущих опора:
Я был один ему врагом. Мой сын
Старался то советом, то мольбою,

То резким — сколь почтительному сыну
Позволено — упрёком обуздать
Мое безумье часто — но напрасно.

Карл

Так что ж?

Дезидерий

Ты сделал дело. Нет врагов
У римлянина твоего; досыта
Вкушает сердце слабое и злое
И месть и безопасность. Ты сказал,
Что лишь за этим и пришел, и сам
Вражде предел поставил. Объявил ты
Поход свой делом божьим. Сверх победы
С тебя господь не просит ничего!

Карл

Ты ставишь победителю законы?

Дезидерий

Законы? Не ищи в моих словах
Гордыни, чтобы ею возмущаться!
Бог много дал тебе: враг на коленях
Тебя смиренно молит, льстит тебе,
Ты правишь краем, где с тобой он бился.
Не требуй большего: ведь небо отвращают
Чрезмерные желанья!

Карл

Замолчи!

Дезидерий

Нет, выслушай! Когда-нибудь и ты
Узнаешь неудачу и захочешь
Ободрить душу благотворной мыслью:
В тот день тебе отрадно будет вспомнить
Сегодняшнее милосердье. Карл!
Когда-нибудь, представ перед престолом
Творца, ты в страхе будешь ждать ответа
Сурового иль кроткого, как я

Ответа жду из уст твоих... Быть может,
Мой сын тебе уж продан. Неужели
Высокий дух, неукротимый, пылкий,
В цепях зачахнет? Нет! Перед тобою
Невинен Адельгиз: он защищал лишь
Отца — а ныне даже этого лишился.
Чего тебе бояться? Нет у нас
Мечей: мои вассалы, став твоими,
Тебя не предадут, — ведь сильным служат
На совесть. С миром правь моей страной,
Довольствуйся, что у тебя в плену
Один король, дозволю, чтоб на чужбину
Мой сын...

Карл

Молчи! Ты просишь у меня
Того, в чем я и Берте отказал бы!

Дезидерий

И я тебя молил! Молил, хоть прежде
Успел узнать! Что ж, откажи, копи
Над головой своею мечь! Обманом
Ты победил, но, победивши, стал
Надменным и безжалостным. Топчи же
Поверженных — и ты заставишь бога
Раскаяться!

Карл

Молчи, ты, побежденный!
Вчера о смерти ты мечтал моей,
А нынче просишь милости, как будто
Я гость твой и сейчас из-за стола
Встал, ублаженный. А когда на просьбу
Недружески ответил я отказом,
Ты шумно стал бранить меня, как нищий,
Что от дверей уходит без подачки.
Но ты не хочешь говорить о том,
Что мне готовил — с Адельгизом вместе!
Так я скажу. Герберга от меня
Бежала, сыновей забрав — детей
Родного брата моего! — бежала,

Крича как птица, что птенцов уносит
От ястреба... Был страх ее притворным:
Утрата власти — вот о чем она
Неложно сокрушалась; но молвою
Позорною я был провозглашен
Чудовищем, глотающим младенцев.
Я молча боль терпел. Принять Гербергу
Вы поспешили, крикам безрассудной,
Как эхо, вторили! У вас под кровом —
Племянники мои! Вы — крови Карла
Защитники от Карла! Но Герберга,
Которой было убегать не след,
Сама вернулась и детей вернула
Опекуну столь страшному, и жизнь их
Мне вверила. А вы не жизнь спасали
Племянникам моим — вы большой дар
Предназначали им. Отца святого
Просили вы — была небезоружной
Та просьба — чтобы он, нарушив клятву,
На кудри, шлемом не примятые ни разу,
Возлил елей господень. Вы кинжал
Нашли, и отточили, и вручили
Любимейшему другу моему,
Чтоб сердце он пронзил мне. Вы мечтали,
Покуда я меж Везером неверным
И дикой Эльбой нес мой труд, сражаясь
С врагами бога, — мчаться в землю франков,
Помазанников выставить знамена
Против знамен помазанника, ложе
Тернистое мне уготовить, — да,
Об этом вы мечтали! Но иначе
Решило небо. Для меня смешали
Вы горькое питье — но вам досталось
Его испить. Ты говорил о боге.
Не бойся бога я, неужто стал бы
Я в плен вести столь дерзкого злодея?
Молчи — и рви цветок, тобой возвращенный.
Без устали болтает неудача,
Но победитель оскорбленный слушать
Без устали не может.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Карл, Дезидерий, Арвин.

Арвин

Слава Карлу!

Едва ты подал знак, со стен склонились
Знамена; вражеских ворот запоры
Со стуком пали, створы распахнулись —
И присягать тебе валит толпа.

Дезидерий

О горе! Что я слышу! Что еще мне
Услышать предстоит!

Карл

Никто не скрылся?

Арвин

Никто, король. Немногие пытались,
Но тщетно: их настигли, окружили,
Они сражались — ни один не сдался —
И все остались в поле, кто убитый,
Кто раненный смертельно.

Карл

Кто там был?

Арвин

Но как сказать? Здесь есть один, чье будет
Чрезмерно горе...

Дезидерий

Ты сказал, зловестник!

Карл

Так Адельгиз погиб?

Дезидерий

Отцу ответь.

Отцу!

Арвин

Он жив, но жить недолго будет:
Неизлечима рана. Он хотел бы
Отца увидеть и тебя.

Дезидерий

И в этом ты откажешь?
Неужто

Карл

Нет, несчастный.

(Арвину.)

Пусть принесут его в шатер. Скажи,
что больше
Нет у него врагов.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Карл, Дезидерий.

Дезидерий

Десница божья,
Как на седую голову мою
Ты опустилась тяжко! Сына мне
Вернула ты — но как! Тебя, желанный,
Тебя, моя единственная слава,
Мне страшно увидеть. Мне ли на рану
Твою смотреть, мой сын, когда бы должно
Тебе меня оплакать? Но я сам
Винювен: я в слепой любви отцовской
Возвысить твой престол хотел — и вырыл
Тебе могилу. Пусть бы умер ты
Под песни войска, пав в бою победном,
Или тебе на королевском ложе
Среди рыдающих родных, средь Верных
Скорбящих я закрыл глаза! И это
Великим горем было бы... Но ты
Умрешь в плену врага, лишен престола,
Одним отцом оплакан — на глазах
Того, кому мои на радость вопли.

Карл

Нет, обманула скорбь тебя, старик.
Без радости, в задумчивости я
Рок храбреца, рок венценосца созерцаю.
Врагами были мы,— а он таков,
Что, будь он жив и волен, мне на новом
Престоле бы спокойно не сидеть.
Но бог призвал его — и тут конец
Вражде благочестивого.

Дезидерий

Печальный

Дар — милосердье, что дается поздно,—
Лишь тем, кто пал, кто всех надежд
лишился,—
И лишь тогда твою удержит руку,
Когда уж места нет для новых ран.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Карл, Дезидерий, раненый Адельгиз, которого вносят в шатер.

Дезидерий

Мой сын!

Адельгиз

Отец! Опять тебя я вижу!
Коснись моей руки.

Дезидерий

Мне страшно видеть
Тебя, простертого...

Адельгиз

Но многих в поле
Моя рука простерла так же!

Дезидерий

Неужто же неизлечима? Рана

Адельгиз

Да,

Неизлечима.

Дезидерий

О, войны жестокость!
Я твой убийца, я, войны желавший!

Адельгиз

Не ты убил, не он: сгубил господь.

Дезидерий

О, свет очей желанный! Как страдал я,
С тобою разлученный! Мне опорой
Была одна лишь мысль, одна надежда:
О горестях поведать в час покоя
Тебе.

Адельгиз

Отец, час моего покоя
Приблизился. О, если б только ты
Не оставался здесь, убитый горем...

Дезидерий

О, гордое чело! О, мощь руки!
О, взгляд, вселявший ужас...

Адельгиз

Ради бога,

Молчи, отец! Не самое ли время
Мне умереть? А ты, привыкший жить
В палатах, будешь жить в плену... Так
слушай:

Жизнь — тайна, и постичь ее возможно
Лишь в смертный час. Верь, об утрате
власти

Не стоит плакать: когда будет близок
И твой последний час,— чредой отрадной
Пред взором памяти пройдут те годы,
Когда ты не был королем и небо
Не зрело слез, из-за тебя пролитых,
И не внимало воплям угнетенных,

Твое с проклятьем поминавших имя.
Порадуйся, что ты уж не король,
Что путь закрыт к деяньям: для деяний
Высоких иль невинных места нет,
И можно либо наносить обиды,
Либо терпеть. Владеет миром сила
Жестокая и хочет зваться правом.
Несправедливость сеяли кровавой
Рукою деда; кровью поливали
Посев отцы — и всходов не дает
Других земля. Ты видел: горько править
Бесчестными. Но будь иначе, разве
Был бы другим исход? И он, счастливец,
Чей трон моею смертью укрепитя,
Кому все служит, все с улыбкой
рукоплещет,—
Он тоже смертен.

Дезидерий

Но тебя утратить!
Как я утешусь?

Адельгиз

Утешает бог
Любое горе — и твое утешит.
(Карлу.)
А ты, надменный враг мой...

Карл

Не зови
Меня врагом. Я был им,— но бесчестно
И низко враждовать с могилой. Верь мне,
На это неспособен Карл.

Адельгиз

И я

Речь поведу как друг и как проситель
И не коснусь воспоминаний, горьких
Для нас и для того, о ком прошу,
Влагая умирающую руку
Тебе в ладони. Чтобы ты столь славной
Добыче вдруг вернул свободу... Нет,
Я не прошу об этом... Тут напрасна

Мольба моя, мольба любого... Знаком
Смирения не тронешь разум твой,
Прощенья ты не дашь. О том молю я,
В чем только тот откажет, кто жесток:
Пусть не узнает старец надругательств,
Пусть плен его сколь можно легким будет,
Таким, какого стал бы ты просить
Для своего отца, когда бы небо
Тебя оставить обрекло отца
В руках врагов. Не дай, чтоб оскорбляли
Его,— ведь против падших всяк храбрец,—
Иль чтоб терпел он вид своих вассалов-
Предателей.

Карл

В могилу, Адельгиз,
Сойди спокойно: небо мне свидетель,
Что слово Карла каждую из просьб
Твоих скрепило.

Адельгиз

Будет за тебя
Твой враг молиться, умирая.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Арвин, Карл, Дезидерий, Адельгиз.

Арвин
(Карлу)

Просят

Нетерпеливо герцоги и войско,
Чтоб ты их принял.

Адельгиз

Карл!

Карл

Сюда, к шатру,

Никто да не посмеет приближаться!
Здесь Адельгиз хозяин. Лишь посредник
Прощения господня и отец
К нему имеют доступ.
(Уходит с Арвином.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Дезидерий, Адельгиз.

Дезидерий

Сын! Любимый!

Адельгиз

Отец! В глазах темнеет...

Дезидерий

Адельгиз!

Не оставляй меня!

Адельгиз

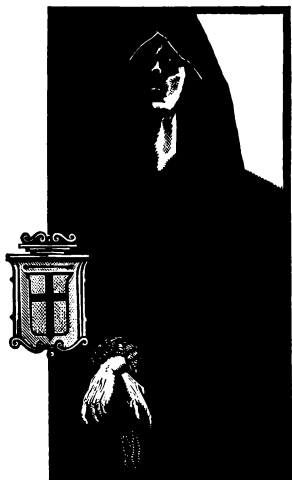
О, царь царей,
Ты, преданный одним из Верных, всеми
Покинутый, к тебе иду я с миром!
Прими мой дух усталый!

Дезидерий

Он услышал

Тебя. О небо! ты ушел... А я...
Остался — по тебе лить слезы в рабстве.

Конец трагедии



История позорного столба

Перевод Г. Смирнова



ВВЕДЕНИЕ

Когда в 1630 году миланские судьи осудили на жесточайшую казнь нескольких человек, обвиненных в распространении чумы с помощью ужасных, хотя и весьма нелепых снадобий, им казалось, будто они преподали столь назидательный урок, что в самом приговоре они постановили не только казнить виновных, но и, разрушив дом одного из этих несчастных, воздвигнуть на его месте столб, именуемый позорным, дабы донести до потомков весть о совершенном преступлении и наказании злодеев. И в этом они не ошиблись: судебный процесс надолго остался в памяти поколений.

В одной из глав предыдущей книги автор обмолвился о своем намерении написать историю этого судилища; теперь же, хоть и не без смущения, он представляет читателям свой труд, зная, что кое-кто ожидал увидеть перед собой глубокомысленный трактат солидного объема. Но раз уж автору не избежать насмешек разочарованной публики, то пусть ему, по крайней мере, позволят возразить, что не он повинен в этом заблуждении и что если уж суждено родиться мыши, то он отнюдь не возвещал, что горы мучаются родами. Он заявил лишь, что как вставной эпизод эта история слишком длинна и что, хотя о ней и писал уже поистине знаменитый писатель (Пьетро Верри, «Рассуждение о пытках»), автору все же казалось, что ее можно изложить иначе, осмыслить по-другому. Достаточно поэтому кратко показать разницу в подходе к теме, чтобы уяснить смысл, хотелось бы сказать, пользу новой книги, но последнее, к сожалению, гораздо больше зависит от исполнения, чем от замысла.

Пьетро Верри задался целью, как свидетельствует само название его трактата, обратить указанный факт против пыток, доказав, что с их помощью можно вырвать у людей признание в преступлении, совершить которое нет никакой физической и нравственной возможности. Вопрос этот был столь же злободневен, сколь благородна и гуманна задача, взятая на себя автором.

Но как бы кратко ни излагать историю этого запутанного события и того огромного зла, которое человек безрассудно причинил человеку, из нее непременно следует извлечь более общие соображения, польза которых хотя и не обнаружится сразу, но все же будет не менее существенной. Ибо если ограничиться лишь рассуждениями, служившими, главным образом, достижению той особой цели, которую поставил перед собой Верри, то это таит в себе опасность составить не только неполное, но и неправильное представление о самом событии, объяснив его невежеством эпохи и варварством тогдашнего правосудия и посчитав его фатальным и неизбежным. А это, в свою очередь, означало бы непростительно ошибиться в том, из чего можно было бы извлечь полезный урок. Невежество в физике может привести к заблуждению, но отнюдь не к злодейству, а любое, даже самое скверное установление действует не само по себе. Из того, что в те времена бытовало поверье, будто некоторыми снадобьями можно вызвать чуму, вовсе не следовало, что Гульельмо Пьяцца и Джанджакомо Мора занимались их изготовлением, равно как из допущения законом пыток — их распространение на всех обвиняемых или признание виновными всех, кто им подвергался. По причине полной очевидности истина эта может показаться не слишком мудреной, но ведь чаще всего забываются наиболее очевидные и само собой разумеющиеся вещи, а от того, забудем ли мы или не забудем об этой истине, и будет зависеть правильная оценка ужасного судилища. Напоминая об этой истине, мы старались показать, что судьи осудили невиновных, которых они, при всей своей убежденности в зловредном действии указанных снадобий и уважении к законам, допускаям

пытки, могли признать невиновными, и что, напротив, для установления их виновности, для сокрытия правды, заявлявшей о себе ежеминутно, проникавшей отовсюду, из тысячи щелей, и столь же очевидной тогда, как и теперь, они должны были непрерывно ломать себе голову и прибегать к уловкам, незаконности которых они не могли не понимать. Мы не собираемся, конечно (и это было бы неблагодарной задачей), отрицать, что невежество и пытки сыграли свою роль в этом злосчастном деле: первое — тем, что дало повод, достойный сожаления, вторые — тем, что явились жестоким и действенным, хотя не главным и не единственным орудием дознания. Но нам представляется важным установить, что подлинной причиной происшедшего были несправедливые деяния, порожденные... чем же, если не дурными страстями?

Одному богу известно, какая из этих страстей возобладала в душе у судей и направляла их поступки: бессильная ли ярость перед лицом неведомой опасности, лихорадочно искавшая себе жертву и обратившаяся против первого встречного, ярость, радующаяся долгожданной вести, но не желающая признать ее лживость, как тот, кто восклицает: «Наконец-то», вместо того, чтобы сказать: «Начнем сначала», — ярость, от перенесенного ужаса превратившаяся в неутолимую ненависть к несчастным, пытавшимся уйти от наказания; или это была боязнь обмануть ожидания самонадеянной и переменчивой толпы, прослав неловкими в раскрытии несуществующего преступления, трусость перед чернью, готовой ополчиться на тех, кто ее не слушает, или, быть может, страх перед серьезными общественными осложнениями, которые могли возникнуть на этой почве. Этот последний страх, лишь с виду менее постыдный, на самом деле был столь же извращенным и подлым, ибо оттеснял на задний план единственно благородный и поистине мудрый страх — страх перед беззаконием. Одному богу ведомо, были ли судьи, отыскившие виновных там, где не было никакого преступления, но требовались преступники, были ли судьи пособниками или исполнителями воли толпы, которая в ослеплении не невежества,

а ярости и ожесточения шумно сокрушала священные заветы божественного закона, последовательницей которого она себя провозглашала. Но в делах людских люди сами могут распознать, жет ли кто, вершит ли самоуправство, нарушает ли установленные и всем известные нормы и законы, применяет ли вместо одной меры другую, а распознав, не могут не приписать эти вещи ничему иному, как страстям, искажающим волю людскую. Задумавшись же над причинами вещественно доказуемой несправедливости этого суда, вряд ли кто смог бы объяснить ее влиянием страстей более естественных и менее жалких, чем ярость и страх, охватившие судей.

К несчастью, причины эти не были порождением какой-то одной эпохи: ведь не из-за ошибок же в физике и не из-за одних же пыток страсти эти, как, впрочем, и другие, заставляли людей, отнюдь не прирожденных злодеев, творить преступления как в шумных общественных делах, так и в самых сокровенных частных предприятиях. «Если благодаря ужасным вещам, выставленным мной напоказ,— пишет хвалимый выше автор,— число пыток уменьшится хоть на одну, то и это сделает не напрасными испытываемые мной горестные чувства, а надежда добиться желанного результата меня за все вознаграждает». Приглашая терпеливого читателя снова обратить свой взор на уже известные ужасы, мы надеемся, что наш труд не пропадет втуне и послужит благородным целям, если гнев и отвращение, испытываемые всякий раз при упоминании о пытках, обратятся не только против них, но главным образом против страстей, которые нельзя запретить подобно ложным учениям или отменить подобно скверным установлениям, но можно сделать не столь всемогущими и пагубными, указав, к чему они ведут, и заставив людей их ненавидеть.

Не побоямся также сказать несколько слов, которые могут послужить утешением даже в самых горестных размышлениях. Ведь если великое множество жестоких дел, творимых человеком против себе подобных, относить за счет одного влияния времен и обстоятельств, то, кроме ужаса и сострадания, мы испытаем лишь замешательство и почти от-

чаяние. Нам покажется, что человеческую натуру неодолимо влекут ко злу побуждения, не сдерживаемые ее волей, что ее действия скованы каким-то жутким мучительным сном, от которого человек не в силах пробудиться и которого он просто не в силах ощутить. И тогда стихийное негодование, представлявшееся нам священным и благородным, покажется вдруг неразумным: мы будем чувствовать все тот же ужас, но перестанем замечать виновных, на которых можно было бы справедливо обрушить наш гнев, и в поисках их вынуждены будем в смятении остановиться перед вдвойне безумным выбором: или отрицать вмешательство провидения, или обвинять его во всем случившемся. Но приглядевшись внимательнее к этим делам, мы заметим несправедливость, которую могли разглядеть и творившие ее люди, увидим, что они нарушали правила, принятые ими самими, поймем, что их действия не вязались со здравым смыслом, не только распространенным в их времена, но и проявляемым ими самими в похожих обстоятельствах. И тогда душе станет легче при мысли, что если они и не ведали, что творили, то только потому, что не хотели этого знать, их незнание было притворным и от него вполне можно было отрешиться и что это их не оправдывает, а наоборот, обвиняет, ибо хотя и можно поневоле стать жертвой подобных дел, но невозможно вершить их по неведению.

Всем этим я не хотел, конечно, сказать, что прославленный писатель, мнение которого мы приводили выше, вовсе не замечал, что во многих ужасах судебной расправы были лично повинны судьи, умышленно вершившие неправый суд. Я хотел лишь сказать, что в его намерения не входило разбираться, в чем и в какой мере были они виновны, а тем более доискиваться, в чем состояла главная, а вернее — единственная причина случившегося. Добавлю лишь, что вряд ли он смог бы это сделать без ущерба для своего замысла. Сторонники пыток (ибо защитники найдутся и у самых нелепых порядков, пока те не отжили свой век, а зачастую и после, под предлогом того, что могли ведь такие порядки когда-то существовать) нашли бы в том для них оправдание. Видите? — сказали бы они, — все дело

в злоупотреблениях, а не в самих пытках. Поистине это было бы странным способом оправдывать какие-либо вещи: вместо того, чтобы показать их абсурдность при любых обстоятельствах,— утверждать, что лишь в некоторых, особых случаях они могли оказаться орудием страстей и привести к нелепым и ужаснейшим последствиям. Но предвзятое мнение представляет себе дело именно так. С другой стороны, люди, желавшие, подобно Верри, отмены пыток, вряд ли бы остались довольны, если б увидели, что причина всех зол заслоняется оговорками и что с поиском других причин лишь уменьшается отвращение к пыткам. Впрочем, в жизни обычно так и бывает: тот, кто хочет пролить свет на оспариваемую истину, встречает как в лице защитников, так и в лице врагов ее препятствие, мешающее выразить эту истину в наиболее естественном виде. Правда, ему остается еще огромная масса людей бесстрастных, ко всему равнодушных, не желающих знать правду ни в каком виде.

Что касается материалов, послуживших нам для составления этой краткой истории, то прежде всего надо сказать, что предпринятые нами усилия по разысканию оригинала судебного дела хотя и облегчались самым любезным и благожелательным к ним отношением, а зачастую и прямой помощью, все же не привели ни к чему иному, как к растущему убеждению, что он безвозвратно утерян. С его значительной части была, однако, сделана копия, и вот при каких обстоятельствах. Среди убогих людишек, привлеченных к суду, оказался и, к сожалению по вине одного из них, некий важный человек,— Джованни Гаэтано де Падиля, сын коменданта Миланского замка, кавалер ордена Сантьяго и капитан от кавалерии, который смог опубликовать материалы в свою защиту и снабдить их выдержками из следственного дела, сообщенного ему как признанному виновным. Судьям, разумеется, было невдомек, что они позволили типографу изготовить более внушительный и прочный памятник, чем тот, который они заказали архитектору.

Эти же самые извлечения из дела существуют еще в одном, рукописном, экземпляре, местами бо-

лее кратком, местами более подробном, который принадлежал графу Пьетро Верри и был с большой любезностью и вниманием представлен в наше распоряжение его достойнейшим сыном г-ном графом Габриэле Верри. Этот список служил прославленному писателю для работы над упомянутым выше трактатом и весь усеян заметками, отражающими беглые размышления или внезапные порывы горестного сострадания и священного гнева. Он озаглавлен: «*Summarium offensivi contra Don Johannem Cajetanum de Padilla*»¹. В нем подробно говорится о многих вещах, лишь сокращенно изложенных в печатном экземпляре, на полях отмечены страницы оригинала следственного дела, откуда взяты различные выдержки, а также встречается множество очень кратких латинских помет того же свойства, что и сам текст: *Detentio Morae*; *Descriptio Domini Johannis*; *Adversatur Commissario*; *Inverisimile*; *Subgestio*² и другие, являющиеся, очевидно, заметками, которые делал адвокат Падилья для его защиты. Все это явно свидетельствует о том, что речь идет о точной копии с подлинных выписок из дела, сообщенных защитнику, который при их публикации кое-что опустил за ненужностью, а кое-что кратко пересказал. Непонятно лишь одно, каким образом в печатном экземпляре оказались некоторые выдержки, отсутствующие в рукописи? Возможно, защитнику удалось снова просмотреть судебное дело и выписать из него ряд новых мест, показавшихся ему полезными для защиты своего клиента.

Из этих двух материалов мы выжали, разумеется, все, что можно; а поскольку первый из них, в прошлом величайшая библиографическая редкость, недавно перепечатан, то читатель, если ему захочется, может сравнить с ним места, извлеченные нами из рукописи.

Материалы защиты, о которых мы упоминали выше, также послужили источником различных

¹ Обвинительное заключение против допа Джованни Гаэтапо де Падилья (лат.).

² Дело Мора; о допе Джованни; против инспектора, вероятно; очевидно (лат.).

сведений и навелч нас на некоторые размышления. Поскольку они никогда не перепечатывались и известны в немногих экземплярах, то мы не преминем давать из них выдержки всякий раз, когда к ним придется обращаться.

Кое-какие мелкие подробности нам удалось наконец почерпнуть из немногих и разрозненных подлинников, оставшихся от этой беспорядочной и расточительной эпохи и хранящихся в архиве, неоднократно упоминавшемся в предыдущей книге.

Кратко изложив историю процесса, мы сочли также, что не будет неуместным в еще более краткой форме сообщить историю общественных взглядов в этой области, господствовавших вплоть до Верри, то есть почти полтора века. Речь идет о взглядах, изложенных в книгах и потому являющихся в значительной мере единственно доступными для потомков. В любом случае они имеют свою особую ценность.

В нашем же случае поистине курьезным было видеть, как авторы, подобно дантовым овечкам, слепо следуют друг за другом, не давая себе труда выяснить факты, о которых они считали нужным говорить. Не скажу, что это было приятным делом: после того, как перед глазами прошла вся эта жестокая битва и заблуждение одержало злосчастную победу над истиной, а всемогущая ярость — над безоружной невинностью, нельзя испытать ничего, кроме неприязни и почти бешенства, когда слышишь слова, кому бы они ни принадлежали, в поддержку и во славу ослепления, когда видишь, как люди смело утверждают то, что им внушило легкоеверие, как они порочат жертв и выражают возмущение не тем, чем надо. Но это чувство неприязни не проходит даром, ибо оно увеличивает отвращение и недоверие к старинной привычке, никогда не подвергавшейся достаточному осмеянию, повторять, не думая, или, если нам позволят так выразиться, угощать людей их собственным вином, уже не раз туманившим им голову.

С этой целью вначале мы подумывали, не представить ли читателю обзор различных суждений по этому вопросу, которые удалось бы разыскать во

всех книгах. Но боясь слишком наскучить терпеливому читателю, мы решили затем ограничиться немногими далеко не второстепенными, а зачастую и просто знаменитыми писателями, ошибки которых поучительны, особенно теперь, когда они уже не опасны.

ГЛАВА I

Утром 21 июня 1630 года, приблизительно в половине пятого, молодая женщина по имени Катерина Роза, оказавшись на беду возле окна галереи, пересекавшей тогда улицу Ветра де Читтадини у самого выхода на бульвар Порта Тичинезе (почти напротив колоннады церкви св. Лаврентия), заметила неизвестного ей человека, одетого в черную мантию с капюшоном, опущенным до бровей. В руках у него была бумага, «по которой», как говорится в ее показаниях, «он водил пальцами, словно писал». Ей бросилось в глаза, что, едва выйдя на улицу, «незнакомец приблизился к стене дома сразу за углом и мимоходом отер о нее руки». «Тогда,— добавляет свидетельница,— мне пришло в голову, не из тех ли он, кто в последние дни бродит по городу и мажет стены заразными мазями». Охваченная недобрым подозрением, Катерина Роза перешла в другую комнату, из которой видна была вся улица, чтобы не потерять из виду шедшего по ней незнакомца, и увидела, как она говорит, «что он прикоснулся к указанной стене рукою».

В окне соседнего дома на той же улице находилась еще одна праздная наблюдательница по имени Оттавия Боно. Трудно сказать, сама ли она пришла к той же безумной мысли или только подхватила ее, когда другая подняла переполох. На допросе она показала, что увидела незнакомца при первом его появлении на улице, но словом не обмолвилась о том, прикоснулся ли он к стенам. «Я видела,— говорит она,— что прохожий остановился в конце ограды, окружающей сад дома Кривелли... и что у него была бумага, которую он прикрывал правой рукой, словно собираясь писать. Позже я заметила, что, отведя руку в сторону, он провел ею по ограде означенного сада, слегка побеленной известкой». Скорей

всего ему понадобилось вытереть пальцы, запачканные чернилами, ибо представляется вероятным, что он и в самом деле писал. Действительно, на допросе, учиненном на следующий день, на вопрос, не были ли связаны совершенные им в то утро поступки с писанием, он ответил: «Да, синьор». Что же касается странной манеры пробираться боком вдоль стены, то, нуждаясь этот факт в объяснении, сама Катерина могла бы его объяснить. В самом деле, она упоминает в своих показаниях, что на улице шел дождь. Однако из этого был сделан следующий вывод: «Весьма подозрительно, что в момент, когда были измазаны стены, шел дождь; надо полагать, что дождливая погода была выбрана не случайно, ибо в поисках укрытия гораздо больше народа могло запачкать себе одежду, пробираясь между колоннами портюка».

Спустя некоторое время незнакомец вновь вернулся на ту же улицу. Пройдя по ней в обратном направлении, он уже собирался свернуть за угол, как был на беду остановлен каким-то прохожим, обратившимся к нему с приветом. Желая как можно больше разузнать о злоумышленнике, знакомая нам Катерина вернулась на прежнее место и спросила прохожего из окна, с кем он поздоровался. Тот, как явствует из его показаний, едва был знаком с повстречавшимся ему человеком и не знал, как его зовут. Он сказал лишь то немногое, что знал, а именно: что это был инспектор Санитарного ведомства. «Я сказала прохожему,— продолжает Катерина,— что видела, как его знакомый совершил поступки, которые мне отнюдь не понравились. Это дело тотчас же получило огласку...» — верней Катерина, по крайней мере вначале, сама предала его огласке,— люди повалили на улицу и увидели, что стены домов испачканы какой-то слизью желтоватого цвета, похожей на жир. Особенно возмущалось семейство Традате, утверждая, что стены у входа в их дом были сплошь вымазаны жиром. Другая женщина рассказала то же самое. На вопрос, не знает ли она, зачем прохожий вытирал руку о стену, она ответила: «Позже мы заметили, что стены, особенно у входа в дом Традате, чем-то испачканы».

Попадись подобные вещи в романе, их объявили бы вымыслом. Но объясняются они, к сожалению, ослеплением страстью. Ни одну, и в особенности первую из женщин, столь подробно описавших, как прохожий прошел по улице, не смутила мысль, отчего никто из свидетелей не мог утверждать, что незнакомец прятался под сводами. Они не усмотрели «ничего особенного» в том, что ему для подобного предприятия понадобилось дожидаться рассвета, что он не соблюдал предосторожностей, ни разу не взглянул на окна, спокойно пошел обратно той же дорогой, словно его — злоумышленника — так и тянуло подольше задержаться на месте преступления, что он безнаказанно прикасался к мази, которая должна была быть смертельной для запачкавших в ней одежду, и что в этом деле была масса других столь же несуразных обстоятельств. Но еще страшней и невероятней было то, что все эти обстоятельства не показались следователю абсурдными и он не потребовал их разъяснения. А если и потребовал, то не занес его в протокол, что было еще хуже.

Соседи, обнаружившие со страху невесть сколько пятен, мимо которых они, вероятно, спокойно проходили с незапамятных времен, без дальних слов принялись поспешно выжигать их запаленной соломой. Стоявшему на углу брадобрею Джанджакомо Мора показалось, как и другим, что стены его дома также выпачканы. Несчастный не знал, какая страшная беда на него надвигалась по вине все того же не менее несчастного инспектора.

Рассказ женщин немедленно пополнился новыми подробностями; а может быть, история, передававшаяся из уст в уста, не совсем походила на ту, которую позднее донесли капитану справедливости. Сын вышеназванного несчастного Мора, будучи позднее спрошен, не знает ли он, а может, слышал от других, каким образом означенный инспектор измазал упомянутые дома и стены, ответил, что-де «слышал, как одна из женщин, живущих над портиком, пересекающим улицу Ветра, имени которой он не знает, рассказывала, как означенный инспектор чиркал по стене пером, обмакивая его в баночку, которую держал в руке». Вполне вероятно, что

знакомая нам Катерина имела в виду перо, наверняка увиденное ею в руках у незнакомца, но каждый без труда поймет, какую вещь могла она окрестить баночкой, ибо в глазах, которым всюду мерещилась зараза, перо, конечно, имело более прямое и непосредственное отношение к баночке, чем к чернильнице.

Но к сожалению, все эти пересуды не заслонили одного истинного обстоятельства, а именно, что незнакомец был инспектором Санитарного ведомства, и по этому признаку тотчас же догадались, что речь шла о некоем Гульельмо Пьяцце, «зятке кумы Паолы», видно, весьма известной в округе акушерки. Слух об этом постепенно перешел в другие кварталы, кто-то из случайных свидетелей занес его туда, возвращаясь с места происшествия. Об этих разговорах и донесли в сенат, который приказал капитану справедливости немедленно разузнать о случившемся и принять необходимые меры.

«Сенату стало известно, что вчера утром стены и двери домов по улице Ветра де Читтадини кто-то испачкал смертоносными мазями», — сообщил капитан справедливости чиновнику по уголовным делам, которого он взял с собой для расследования дела. Этими словами, уже полными прискорбной уверенности и перешедшими без изменения из уст народной молвы в уста правосудия, и началось расследование дела.

Читая об этой твердой уверенности, об этом безумном страхе перед воображаемым преступлением, нельзя не вспомнить о похожих случаях, не так давно, во времена холеры, имевших место кое-где в Европе. Однако там все мало-мальски образованные люди, за редким исключением, не верили в этот глупый предрассудок, напротив, большинство из них делало все возможное, чтобы покончить с ним, и вряд ли где нашелся бы такой суд, который взялся бы вести процесс по обвинению в подобных делах, если бы речь не шла о том, чтобы спасти несчастных от ярости толпы. Это, конечно, большое благо, но будь оно еще большим, будь мы уверены, что в подобных обстоятельствах никому впредь не взбредет в голову подозревать людей в столь невероятных

преступлениях, все равно мы не могли бы считать миновавшей опасность повторения ошибок, похожих на вышеописанную, если не по форме, то по существу. К несчастью, человеку свойственно заблуждаться, и заблуждаться ужасно даже в более обычных обстоятельствах. Подозрение и ярость могут, конечно, порождаться и в действительности, иногда порождаются происками злоумышленников, но подозрение и ярость обладают гнусной способностью заставлять людей возводить напраслину на несчастных по самому вздорному подозрению или на основе опрометчивых суждений. Приведем один пример. Незадолго до эпидемии холеры, когда пожары стали часто опустошать Нормандию, много ли надо было толпе, чтобы обвинить в поджоге ни в чем не повинного человека? Достаточно было прибежать ему первым к пожарищу или оказаться вблизи от него, быть чужаком или не суметь ничего рассказать о себе, что вполне может случиться с тем, кто испуган или подавлен яростью вопрошающих, быть схваченным по навету какой-нибудь бабы (вроде той же Катерины Розы) или сопляка, в свою очередь подозреваемого в том, не явился ли он орудием чужой мести, и назвавшего в ответ на настойчивые расспросы об истинных поджигателях первое попавшееся ему имя. Счастливы присяжные, которым приходилось иметь дело с такими подсудимыми (ибо чаще всего толпа расправлялась с ними по-своему), счастливы эти присяжные, если они входили в зал суда, еще не зная, виновны обвиняемые или нет, счастливы они, если в ушах их не стоял ропот гудевшей снаружи толпы, если они считали себя не защитниками сельской чести, как часто иносказательно говорят о тех, кто оставляет без внимания существо дела, опираясь на вздорные суждения местных жителей, а исключительно людьми, наделенными святейшим, нужнейшим, ужасным правом решать, виновны или невиновны подсудимые.

Человек, к которому капитану справедливости посоветовали обратиться за сведениями, только и мог сказать, что накануне, проходя по улице Ветра, он видел, как обжигали стены, и слышал, будто их

пзмазал в то утро «зять акушерки Паолы». Капитан справедливости с чиновником прошел на указанную улицу, где действительно увидел закопченные стены и свежепобеленный дом брадобрея Мора. Здесь им также «многие, из повстречавшихся на месте», объяснили, что стены пришлось приводить в порядок, так как они оказались замараны. «Синьор капитан и я, — пишет чиновник по уголовным делам, — могли сами убедиться, что в обожженных местах видны следы маслянистого вещества желтоватого цвета, словно размазанного по стене пальцами». Вот так опознание состава преступления!

Допросили еще одну женщину из дома семьи Традате, которая сказала, будто слуги обнаружили, что «стены у входа сплошь облиты какой-то желтоватой жидкостью». Допросили обеих женщин, показания которых мы уже приводили, еще несколько человек, не прибавивших ничего нового в отношении случившегося, и среди них мужчину, который поздоровался с инспектором. В ответ на вопрос, не видел ли он запачканных стен, проходя по улице Ветра де Читтадини, он ответил: «Кто бы мог об этом подумать, если об этом не было еще и речи».

Тем временем был отдан приказ об аресте Пьяццы, и он был незамедлительно исполнен. В тот же день, 22 числа, «солдат отряда Баричелло ди Кампанья доложил вышеназванному синьору капитану, ехавшему в карете по направлению к своему дому, что по выходе из дома советника Монти, возглавлявшего Санитарное ведомство, он обнаружил у его дверей означенного Гульельмо-инспектора и, имея на руках приказ об аресте, препроводил его в острог».

Дабы пояснить, почему спокойствие несчастного ничуть не поколебало подозрительности судей, мало, конечно, напомнить о невежестве, царившем в те времена. Судьи твердо помнили, что исчезновение обвиняемого было одним из доказательств его вины, но им и в голову не приходило, что отсутствие побуждений к бегству и даже присутствие подозреваемого на месте преступления могло свидетельствовать о противном! Было бы смешно, однако, доказывать, что люди не могли не видеть того, что было

очевидно: некоторых вещей судьи просто не хотели замечать.

Тотчас же обыскали дом инспектора, перерыли все его вещи, *in omnibus arcis, capsis, scriniis, cancellis, sublectis*¹. Искали банки с мазями или деньги, но не нашли ничего: *nihil penitus compertum fuit*². Но это нисколько не облегчило его участи, что, к сожалению, явствует из первого допроса, учиненного в тот же день капитаном справедливости с помощью аудитора, по всей видимости, из трибунала Санитарного ведомства.

Его расспрашивали о его профессии, о привычных занятиях, о том, где он был накануне, в чем был одет и, наконец, спросили, известно ли ему, что на днях в городе на стенах домов, особенно возле Порта Тичинезе, обнаружены подозрительные пятна. Обвиняемый ответил: «Я ничего об этом не знаю, ибо никогда не задерживаюсь в тех местах». Ему возразили, что это «неправдоподобно», и постарались доказать противное. На четырежды повторенный вопрос он четырежды ответил одно и то же, хотя и разными словами. Разговор перевели на другую тему, но отнюдь не с другой целью: позже мы увидим, с какой жестокой хитростью судьи заявляли о мнимой неправдоподобности этих показаний арестованного, пытаясь выжать из него другие, не менее неправдоподобные.

Среди дел, которыми Пьяцца занимался накануне, была упомянута встреча с депутатами одного прихода (речь шла о людях высокого сословия, избираемых в каждом приходе трибуналом Санитарного ведомства для обхода города и наблюдения за исполнением распоряжений). У инспектора спросили, с кем он встречался. Пьяцца ответил, что он знает их «лишь по виду, но не по имени». И ему вновь повторили: «Это неправдоподобно». Ужасные слова, тяжесть которых не понять без некоторых общих пояснений, к сожалению весьма пространных, о ведении дел в уголовных судах того времени.

¹ Во всех сундуках, шкафах, ящиках и шкатулках (лат.).

² Ничего подозрительного найдено не было (лат.).

ГЛАВА II

Судебная практика, как известно, основывалась в Милане, да и почти во всей Европе, главным образом на авторитете законников по той простой причине, что в подавляющем большинстве случаев никаких других авторитетов, на которые можно было бы опереться, не существовало. И то и другое было естественным следствием отсутствия сводов законов, составленных на единой основе, что позволяло толкователям законов выступать законодателями, а исполнителям почти что считать их таковыми. Оно и понятно, ибо когда необходимые вещи делаются не тем, кому следует, или не так, как следует, то у одних рождается желание доделать, а у других — принять их в любом виде. Действовать без правил — самое тяжкое и неблагоприятное занятие на этом свете.

Своды законов в Милане, например, не предписывали иных ограничений или условий применения пыток (косвенно признанных и считавшихся принятыми в судебном праве), кроме подтверждения обвинения дурной славой преступника, серьезностью его преступления, влекшего за собой «смертный приговор» и доказанного уликами, но без указания какими. Римское право, применявшееся в случаях, не предусмотренных другими уложениями, ничего к этому не добавляет, хотя и отличается большим многословием. «Судьи должны начинать не с пыток, а с рассмотрения вероятных и правдоподобных версий, если же после этого и при наличии почти неопровержимых улик они сочтут нужным прибегнуть к пыткам, то могут это сделать, если состояние здоровья обвиняемого не вызывает сомнений». Более того, в этом законе категорически утверждается право судьи выносить решение об обоснованности и вескости улик, право, которое в Миланских сводах законов лишь подразумевается.

В так называемых Новых уложениях, составленных по распоряжению Карла V, о пытках нет и речи, однако с той поры вплоть до нашего процесса, да и много позднее, в большом количестве попадают законодательные акты, в которых пытки предписываются в качестве наказания, хотя, на-

сколько мне известно, нет ни одного закона, признающего право применять их в качестве средства установления истины.

Но и это легко понять, ибо причина и следствие поменялись местами: законодатель в этой, как и в других областях, нашел себе, особенно в той части, которую назовем разбирательством, заместителя, позволявшего ему не только меньше думать, но и почти забывать о необходимости вмешательства в этот процесс. Различные авторы, главным образом с той поры, как стало меньше простых комментариев к римским законам и больше самостоятельных работ как по всей уголовной практике, так и по тем или иным специальным вопросам, трактовали сию материю в целом, вникая вместе с тем в мельчайшие подробности. Своими толкованиями они умножали законы, расширяли по аналогии сферу их применения, выводили общие правила из частных положений, а если и этого было мало, заменяли их своими положениями, казавшимися им в большей степени подкрепленными разумом, принципами равноправия и естественным правом. Иногда их мнения совпадали, и они списывали друг у друга, заполняя свои фолианты бесконечными цитатами, иногда расходились, и тогда судьи, юристы и даже некоторые законопеды имели почти для каждого случая, для любых его разновидностей готовые решения, которые могли ими приниматься или отвергаться. Закон, надо сказать, превратился в науку, и науке, вернее римскому праву в ее истолковании, старинным законам разных стран, не забытым благодаря изучению и растущему авторитету римского права и в равной мере изучаемым юридической наукой, а также обычаям, подкрепленным ее признанием, да ее собственным заветам, ставшим обычаем, присваивалось почти исключительное право именоваться законом. Распоряжения же верховных властей, каковы бы они ни были, назывались всего лишь приказами, декретами, указами или как-то еще в том же духе и несли на себе печать случайного и временного. В качестве примера можно привести указы губернаторов Милана, власти которых была и законодательной. Эти указы оставались в силе, лишь пока их авторы держали в руках

бразды правления, и первый акт восприемников состоял в их временном подтверждении. Всякий «указник», как его тогда называли, являлся разновидностью Эдикта претора, составляемого от случая к случаю и по мере надобности, юридическая же наука, работавшая кропотливо и изучавшая все вопросы, изменявшаяся, но изменявшаяся постепенно и имевшая наставниками своих бывших учеников, состояла, так сказать, в постоянной переработке и отчасти постоянном повторении Двенадцати скрижалей, порученных или предоставленных вечному децемвирату.

Столь всеобщее и длительное господство авторитета частных лиц над законами стало казаться со временем, когда была замечена возможность и вместе с тем уместность упразднения произвола путем введения новых, более полных, ясных и упорядоченных законов, стало казаться, повторяю, и, если не ошибаюсь, кажется до сих пор чем-то странным, пагубным для человечества, особенно по части уголовной и в еще большей степени процессуальной. О том, что такое господство было естественным, мы уже говорили. Но вряд ли оно было ново, ибо речь шла о старинном и в известном смысле вековечном явлении, многократно, так сказать, усиленном, ибо сколь подробно ни разрабатывались бы законы, вряд ли они перестанут нуждаться в толкователях и вряд ли судьи оставят обычай в той или иной мере ссылаться на авторитет ученых, еще до них специально и всесторонне изучавших неясные вопросы. И как знать, быть может, при более спокойном и тщательном изучении прежний порядок мог бы оказаться относительно благом, ибо все, что ему предшествовало, было намного хуже.

В самом деле, трудно поверить, чтобы люди, занимавшиеся рассмотрением всевозможных случаев в их совокупности, искавшие закономерности в применении к ним позитивных законов или в создании высших универсальных принципов, могли дать более несправедливые, безрассудные, жестокие и причудливые советы, чем диктовал произвол при разбирательстве дел, столь легко возбуждавших страсти. Само обилие книг и исследователей, множественность

и, так сказать, растущая дробность предписаний являлись, как мне кажется, свидетельством намерения ограничить произвол и ввести его (насколько возможно) в рамки разумного и справедливого, ибо совсем нетрудно приучить людей злоупотреблять властью, подвернись только благоприятный случай. Уж коли хотят отпустить коня на волю, то с него просто снимают узду, при наличии таковой, а не утруждают себя изготовлением и пригонкой упряжи.

Но так уж обычно случается с людскими преобразованиями, осуществляемыми постепенно (я имею в виду настоящие и справедливые преобразования, а не все то, что так называется): их зачинателям кажется необыкновенно трудным изменить что-либо, внести исправления в существующий порядок, что-то добавить или что-то убавить, пришедшим же позже, и зачастую значительно позже, все справедливое представляется далеко еще не совершенным, они легко взваливают вину на кого попало, проклиная людей, связавших себя с новым порядком, ибо они ответственны за его существование и власть над обществом.

В подобную, я бы сказал завидную, ибо она сопутствует великим и благотворным начинаниям, ошибку, впал, по-видимому, наряду с другими прославленными людьми своего века, и автор «Рассуждений о пытках». Насколько он силен и основателен в разоблачении бессмысленности, несправедливости и жестокости этих пыток, настолько, как нам представляется, он тороплив, обвиняя законодателей, авторитету которых он приписывает самую отвратительную сторону этого дела. И вовсе не из забвения своего ничтожества набрался мы храбрости открыто оспорить мнение столь выдающегося человека, выраженное в столь благородной книге, а будучи уверенными в преимуществе людей, пришедших позже, в их способности (исходя из казавшихся ранее ничтожными вещей) смотреть более здраво, с учетом последствий и разницы во времени, на это явление как на дело далекого прошлого, ставшее достоянием истории, в то время как автор «Рассуждений» должен был бороться с ним как с господствующей силой, как с реальным препятствием на пути новых

и желанных преобразований. Во всяком случае, это обстоятельство настолько связано с темой его и нашей книги, что оба мы, естественно, не могли не высказать в этой связи несколько общих замечаний: Верри — потому что из непреложности авторитета законоведов во времена несправедливого процесса выводил их соучастие и в значительной мере виновность в случившемся, мы же — потому что, знакомясь с их предписаниями и указаниями по поводу различных процессуальных тонкостей, должны воспользоваться последними в качестве вспомогательного важнейшего критерия для более очевидного доказательства, так сказать, личной ответственности самого суда.

«Конечно,— пишет умный и негодующий автор,— наши законы умалчивают о том, кого можно подвергать пыткам, что требуется для их применения, как следует пытать: огнем ли, растяжением или выкручиванием членов, сколько могут длиться терзания и допустимо ли их повторение; людей подвергают мукам по решению судьи, подкрепленному одними ссылками на ученые труды криминалистов».

Но отечественные законы того времени предусматривали пытки, предусматривались они и в законах значительной части Европы, и в римском праве, столь долго считавшемся образцом всеобщего права. Вопрос, следовательно, в том, становились ли пытки более или, напротив, менее жестокими благодаря трудам криминалистов-толкователей (назовем их так в отличие от тех, кому выпала честь и счастье навсегда покончить с пытками), чем в руках произвола, которому правосудие почти слепо доверялось. Тот же Верри в упомянутой книге приводит, хотя и между прочим, наиболее веское доказательство в пользу криминалистов. «Сам Фариначчи,— говорит наш выдающийся законовед,— рассказывая о событиях своего времени, утверждает, что судьи по причине удовольствия, испытываемого ими во время пыток, изобретали новые истязания. Вот его слова: *Judices qui propter delectationem, quam habent, torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species.*

Я сказал в «пользу криминалистов» потому, что призыв к судьям воздержаться от изобретения новых

способов истязания и вообще укоры и сожаления по этому поводу, свидетельствующие как о безудержной и изощренной жестокости произвола, так и о намерении хотя бы посрамить и обуздать его, восходят не столько к Фариначчи, сколько, я сказал бы, почти ко всем без исключения приминалистам. Вышеприведенные слова этот ученый муж заимствует у более древнего автора, у Франческо даль Бруно, который приводит их в качестве выдержки из трудов гораздо более древнего автора — Анджело д'Ареццо, осуждающего пытки в еще более сильных и резких выражениях, следующих ниже в переводе с латинского: «Извращенные и взбесившиеся судьи, видно, сам бог лишил вас разума, вы не ведаете, что творите, ибо мудрый человек ненавидит подобные вещи и озаряет науку светом добродетели».

Но еще до этих писателей, в XIII веке, Гвидо де Судзара, исследуя вопрос о пытках в духе рескрипта Констанция об охране преступника, говорит, что он намерен «несколько ограничить судей, свирепствующих без всякой меры».

В следующем веке Бальдо применяет известный рескрипт Константина о хозяине, убившем раба, «к судьям, готовым растерзать преступника, дабы вырвать у него признание», и требует, в случае гибели последнего, предать судью смертной казни как убийцу.

Позднее Париде дель Поццо клеймит тех судей, которые «из кровожадности готовы перегрызть преступнику глотку, но не в наказание и не в пример другим, а ради собственного тщеславия (*propter gloriam eorum*), и посему должны считаться убийцами».

«Да остережется судья утонченных и изуверских пыток, ибо применяющий их более достоин названия палача, нежели вершителя судебных человеческих», — пишет Юлий Кларус.

«Да будет возвышен голос (*clamandum est*) против тех жестокосердных и безжалостных судей, которые из тщеславия и ради карьеры подвергают все новым пыткам несчастных преступников», — пишет Антонио Гомес.

Смакование страданий и тщеславие! Какие страсти, в каких делах! Сласть от мучительства себе

подобных, высокомерие при виде унижения лишенных свободы! Но, по крайней мере, тех, кто бичевал эти пороки, вряд ли можно заподозрить в намерении им потворствовать.

К вышеприведенным свидетельствам (а к ним добавится немало других) присовокупим, что в рассмотренных нами ученых трудах на эту тему ни разу не попадались жалобы на судей, применявших слишком легкие пытки. Попадись же что-нибудь подобное в других трактатах, ускользнувших от нашего внимания, это показалось бы нам по меньшей мере странным.

Некоторые из упоминавшихся имен, наряду с другими, приведенными ниже, были внесены Верри в список «авторов, которые, изложив свои жестокие доктрины и методическое описание рекомендуемых ими изуверств на общедоступном языке и без грубости и вульгарности, отталкивающей людей разумных и образованных от желания с ними ознакомиться, воспринимались бы не иначе, как с чувством, с которым относятся к палачу, а именно: с ужасом и отвращением». Конечно, ужас от их рассказов не может иметь пределов, это же чувство справедливо испытываешь и при чтении их советов, но то небольшое, что мы видели, должно, по крайней мере, заставить нас усомниться: уместно ли здесь отвращение и справедлив ли наш приговор, так ли уж много они привносили или хотели привнести от себя в это дело.

Правда, в их сочинениях, или, вернее, в некоторых из них, подробнее, чем в законах, описаны разнообразнейшие пытки, но о них говорится скорее как о привычных и утвердившихся на практике средствах, а не как об изобретениях авторов самих трудов. Так, например, Ипполито Марсильи, писатель и судья пятнадцатого века, составил мерзкий, диковинный и ужасный реестр пыток, добавив в него кое-что из собственного опыта, но и он называет «лютым зверьем» тех судей, которые изобретают новые мучения.

Правда, указанные авторы ставят вопрос о возможном числе повторения пыток, но делают это (и мы еще сможем в том убедиться) с целью поста-

вить условия и предел произволу, воспользовавшись неопределенными и двусмысленными указаниями, содержащимися в римском праве.

Правда, они вели разговор о продолжительности пыток, но опять же с намерением и в этом как-то укротить ненасытную лютость, не сдерживаемую законом, «тех судей, столь же невежественных, сколь и несправедливых, которые по три-четыре часа могли подвергать мучениям свою жертву», — пишет Фариначчи. Или же «тех, — как отмечал веком раньше Марсилли, — подлеjších и преступнейших судей, испускающих смрад и зловоние, лишенных знания, разума и добродетели, судей, которые, заполучив в свои руки обвиненного, да к тому же, скорей, несправедливо обвиненного (*forte indebite*), говорят с ним не иначе, как языком пыток, а при его отказе дать нужные показания оставляют его болтаться на дыбе целые сутки».

Во всех этих отрывках, а также в некоторых приведенных ранее суждениях легко заметить, что их авторы стараются связать жестокость с представлением о невежестве. Из других соображений они советуют во имя науки и совести соблюдать умеренность, доброту и кротость.

В применении к таким ужасным делам слова эти рождают гнев, но вместе с тем отвечают на вопрос, входило ли в намерения означенных авторов дразнить зверя или, напротив, способствовать его усмирению.

С точки зрения же людей, угодивших в застенки, не имело значения то, что в собственно наших законах ничего не говорилось о пытках, поскольку в римском праве, являвшемся в конечном счете тоже нашим законом, было сказано относительно много по поводу этой гнусной материи.

«Люди, — продолжает Верри, — невежественные и жестокие, не задумывающиеся о том, на чем основывается право наказания, какова его цель и мера серьезности правонарушений, каково соотношение между преступлением и наказанием, возможен ли отказ обвиняемого от защиты и тому подобных вопросах, которые при глубоком их изучении неизбежно привели бы к естественным выводам, наиболее соответствующим общественному благу и разумению,

люди, повторяю, темные и циничные не представляющие, с гнуснейшей изощренностью возвели в систему и с полнейшим хладнокровием, с каким описывается искусство врачевания человеческих недугов, бесстыдно обнародовали науку истязания себе подобных. И этим людям было оказано повиновение: их стали считать вершителями чужих судеб, их писания возвели в предмет серьезного и бесстрастного изучения, в официальном обращении появились жестокие трактаты, учившие, как изощренней расчленять конечности живых существ и с изуверской медлительностью продлевать их страдания, дабы сделать чувствительнее и острее их боль и мучения».

Но как столь темным, невежественным людям досталась подобная власть? Я говорю, темным и невежественным — для своего времени, ибо все на свете относительно, и дело не столько в том, обладали ли указанные авторы просвещенностью, желательной для любого законодателя, сколько в том, обладали ли они ею больше или меньше по сравнению с теми, кто до них самостоятельно применял законы или в значительной мере обходился без оных. Как мог человек, разрабатывавший теории и обсуждавший их перед публикой, оказаться более жестоким, чем тот, кто творил произвол над оказывавшими ему сопротивление в недоступном уединении тюремных камер?

Что же касается вопросов, поставленных Верри, то вряд ли много было бы проку, если бы решение первого из них — «на чем основывается право наказания», требовалось для удовлетворительного составления уголовных законов, ибо во времена Верри его прекрасно можно было считать решенным. Сейчас же (и в этом нам повезло, так как лучше уж мучиться сомнениями, чем пребывать в заблуждении) этот вопрос запутан как никогда ранее. Ну а другие вопросы, я имею в виду вообще все вопросы, имевшие более непосредственное и более практическое значение, были ли они решены и решены должным образом, или, по крайней мере, обсуждены и рассмотрены к моменту появления наших авторов? Может быть, с их приходом воцарилась путаница в установившейся системе более справедливых и гу-

манных принципов, может быть, утратили силу более мудрые доктрины и была, так сказать, урезана в своих правах более разумная и более здравомыслящая юридическая наука?

На этот вопрос даже мы можем чистосердечно ответить нет; и этого уже достаточно, чтобы отвести любые сомнения. Но нам хотелось бы, чтобы кто-нибудь из людей знающих подумал бы над вопросом, не были ли законоведы именно теми людьми, которые, будучи вынуждены своим положением частных лиц, а не творцов законов, чем-то обосновать свои решения, перевели дело в сферу общих принципов, собирая и приводя в систему те из них, которые были разбросаны там и сям в римском праве, и создавая новые принципы, соответствовавшие всеобщему духу права. Следовало бы задуматься над тем, не они ли, собиравшие обломки старого и находившие новый материал для создания единой и законченной системы уголовной практики, разработали общую концепцию, указали на возможность и отчасти на обоснование единого и законченного уголовного законодательства, не они ли, давшие законам универсальную форму, открыли другим законникам, слишком часто ими пренебрегавшим, путь к проведению всеобщих преобразований.

Что же касается, наконец, настолько единодушного и прямого обвинения в том, что они довели до изощренности пытки, то мы, напротив, видели, что большинство из них питало к ним явное отвращение и, насколько можно, препятствовало их применению. Многие из вышеприведенных высказываний могут отчасти опровергнуть их репутацию бездушных людей, спокойно рассуждавших о столь ужасной материи. Позволю себе привести еще одно мнение, которое выглядит почти как протест, опередивший свое время. «Я не могу сдерживать ярости,— пишет Фариначчи (*non possum nisi vehementer excandescere*),— против тех судей, которые подолгу держат преступника связанным, прежде чем подвергнуть его пыткам, и тем самым делают их более мучительными».

На основе этих свидетельств и сведений о том, к чему свелись пытки к концу своего существования, можно чистосердечно признать, что криминалисты-

толкователи оставили их в гораздо менее варварском состоянии, нежели нашли их вначале. Естественно, подобное уменьшение зла было бы абсурдно приписывать одной лишь причине, но среди многих других мне кажется неразумным не принимать в расчет постоянные и публично повторявшиеся веками порицания и предупреждения тех, на ком также лежит ответственность за положение дел в юридической практике.

Далее Верри приводит некоторые из утверждений этих авторов, отнюдь не достаточные для обоснования общей исторической оценки, даже если бы все они были процитированы правильно. Вот, например, одно из важнейших, хотя и приведенных с искажениями: «Кларус утверждает,— пишет Верри,— что достаточно нескольких улик против подсудимого, чтобы подвергнуть его пыткам».

Будь это так, то это показалось бы скорее странным, а не убедительным доводом, тем более, что подобное положение противоречит учению большинства других правоведов. Не скажу всех, дабы не утверждать более того, что знаю, хотя, говоря так, я не побоялся бы сказать больше, чем есть на самом деле. Но в действительности Кларус говорил совсем противоположное, и Верри скорее всего был введен в заблуждение нерадивостью типографа, напечатавшего: *Nam sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torqueri possit* вместо: *Non sufficit*, как это было в двух предыдущих изданиях. Чтобы удостовериться в этой ошибке, нет даже необходимости сопоставлять тексты, поскольку у Кларуса далее следует: «...если эти улики не имеют под собой законного основания». Эта фраза никак не вязалась бы с предыдущей, если бы последняя имела утвердительный смысл. И тут же он добавляет: «Я утверждаю, что мало (*dixi quoque non sufficere*) иметь улики, пусть даже законно обоснованные, но недостаточно весомые, для того, чтобы подвергнуть человека пыткам. И это обстоятельство богобоязненные судьи никогда не должны упускать из виду, дабы не подвергнуть невинного человека пыткам; оно же, впрочем, ставит под сомнение их решения. По этому поводу Афлитто сказал однажды королю Федерико,

что даже тот своей королевской властью не может приказать судье подвергнуть пыткам человека, против которого нет достаточных улик».

Так обстоит дело с Кларусом, и этого было бы довольно, чтобы быть почти уверенным, что он отнюдь не собирался оправдывать произвол судьи, о чем говорится в другой фразе, которую Верри переводит так: «Что касается пыток и улик, то, поскольку невозможно дать определенных предписаний, все отдается на усмотрение судьи». Возникает слишком странное противоречие, и оно было бы еще большим, если сравнить это с тем, о чем автор сам говорит в другом месте: «Хотя судья имеет право на произвольные действия, он, однако, должен придерживаться общего законодательства... да остерегутся служители правосудия вести себя легкомысленно (*ne nimis animose procedant*) под предлогом, что все им позволено».

Что же в таком случае Кларус имеет в виду, говоря: *remittitur arbitrio judicis*, что в переводе Верри означает: «все отдается на усмотрение судьи»?

Он хотел... Но что тут говорить? К чему искать во всем особое мнение Кларуса? Эту фразу он произнес лишь вслед за другими, ибо она вошла, так сказать, в поговорку среди толкователей законов. Ведь еще двумя столетиями ранее Бартоло повторял ее также как общее место: *Doctores communiter dicunt quod in hoc* (каковы улики, достаточные для применения пыток) *non potest dari certa doctrina, sed relinquitur arbitrio judicis*. Тем самым все они вовсе не собирались выдвигать какой-то общий принцип или разрабатывать теорию, а только констатировали тот простой факт, что закон, за неимением возможности определить доказательства вины, передавал все дело на усмотрение судьи. Гвидо де Судзара, живший лет на сто ранее Бартоло, говорит, а может быть, и повторяет, что определение весомости улики передается на усмотрение судьи, добавляя: «как вообще и все то, что не установлено законом». Из менее древних авторов Париде дель Поццо, повторяя то же общее правило, комментирует его следующим образом: «То, что не определено законом или обычаем, должно быть восполнено скрупулезно».

стью судьи, вот почему закон об уликах возлагает огромную тяжесть на его совесть». А криминалист XVI века, миланский сенатор Босси, пишет по этому поводу: «Произвольные действия судьи состоят лишь в том (*in hoc consistit*), что у него нет точных указаний закона, ограничивающегося лишь советом начинать не с пыток, а с рассмотрения вероятных и достоверных доказательств вины подсудимого. Так что самому судье надлежит решить, являются ли вероятными и достоверными имеющиеся у него свидетельства против обвиняемого».

То, что означенные авторы называли произволом, было в конце концов тем же, что во избежание этого двусмысленного неблагозвучного слова было затем названо дискреционной властью судьи: вещь опасная, но неизбежная в исполнении законов как плохих, так и хороших и которую мудрые законодатели стараются если и не искоренить, что было бы неосуществимо, то хотя бы ограничить определенными и наименее важными случаями, и к тому же уменьшить возможность их применения.

И таковым, осмелюсь сказать, был также первоначальный замысел и кропотливый труд толкователей законов, особенно в отношении права применения пыток, где власть, предоставляемая судье законом, была ужасно велика. Уже Бартоло после приведенного выше высказывания добавляет: «но я по мере возможности укажу некоторые правила». До Бартоло и другие юристы вводили свои правила, после него его восприимчики постепенно добавили к ним новые. Одни предлагали кое-что свое, другие повторяли и развивали чужие идеи, но все они, однако, придерживались одной формулировки, выражавшей суть закона, по отношению к каковому они, в конечном счете, выступали лишь как толкователи.

Но со временем, по мере того, как дело двигалось вперед, им захотелось говорить все это другим языком. Свидетельством тому — труды весьма авторитетного в свое время Фариначчи, жившего позднее упомянутых здесь авторов, но еще до того, как проходил наш процесс. Повторив и подкрепив множеством ссылок на авторитеты принцип, согласно которому «произвольные действия должны пониматься

не как абсолютная свобода действий, а как деяния, ограниченные правом и справедливостью», он приходит к выводу, подкрепленному другими авторитетами, о том, что «судья в сомнительных случаях должен отдавать предпочтение более мягким мерам и подчинять свои произвольные действия общим указаниям законов и духу учения признанных светил науки, и что ему возбраняется подтасовывать доказательства вины подсудимого». Далее он трактует с большей, чем до него, широтой и, по-видимому, систематичностью вопрос об уликах и заключает свои рассуждения следующим образом: «Так что нетрудно заметить, что общее правило ученых докторов — судья волен решать вопрос о пытках на основании улики — в такой степени, и к тому же единодушно, ими самими обуславливается различными ограничениями, что вряд ли ошибаются те судебные эксперты, которые предлагают учредить противоположное правило, а именно: судья не волен решать вопрос о пытках на основании улики». И тут же цитирует следующую сентенцию Франческо Казони: «Общим заблуждением судей является мнение, будто пыткам можно подвергать по своему усмотрению, словно природа создала тела преступников специально для терзаний по прихоти следствия».

Вот тут-то и проявилась одна из примечательных особенностей этой науки: подытожив свой труд, она потребовала за него вознаграждения. Заявив, что не претендует на явные преобразования (да и вряд ли бы ей это позволили), а хочет быть лишь верной служанкой закона, освящающей свои действия авторитетом высшего извечного Закона, она велела судьям следовать установленным ею правилам, дабы уберечь людей, которые могли оказаться невиновными, от тяжких мук, а самих судей — от гнусных беззаконий. Жалки потуги приукрасить то, что само по себе не могло быть красивым; но они никак не подтверждают посылку Верри о том, что «ужас пыток — не только в терзаниях, которым подвергается плоть... еще ужаснее те ученые мужи, которые рассуждают о том, как лучше их применять».

Позволим себе, наконец, высказаться по поводу еще одной выдержки, приводимой Верри (рассмат-

ривать их здесь все слишком долго и вряд ли уместно). Одного факта достаточно, пишет Верри, чтобы понять, насколько ужасны все остальные; его приводит небезызвестный Кларус, миланец, являющийся величайшим знатоком в этой материи: «Судья может, имея в тюрьме женщину, подозреваемую в преступлении, вызвать ее тайно к себе в кабинет, обласкать ее, сделав вид, будто любит ее, и пообещать ей свободу с тем, чтобы вызвать ее на откровенность. Действуя именно так, некий правитель заставил одну невинную девушку отягчить свою душу признанием в убийстве, что привело ее на плаху». И дабы не было сомнений в том, что этот ужасный совет не противоречит вере, добродетели и всем священным устоям человечества, Кларус утверждает: «*Paris dicit quod iudex potest...*»¹

Совет этот поистине ужасен, но, чтобы яснее представить его роль в подобных делах, заметим, что высказывая это суждение, Париде дель Поццо не выдает его за собственное, а просто рассказывает, к сожалению с одобрением, о деле, которым занимался некий судья, то есть представляет его как одно из тысячи дел, в котором был проявлен произвол без ведома ученых докторов. Заметим, что Байарди, сообщая это мнение в своих добавлениях к Кларусу (а не сам Кларус), делает это также намеренно, чтобы вызвать отвращение и квалифицировать сам факт как «дьявольское наваждение». Заметим: он не цитирует никого другого, кто придерживался бы подобного мнения со времен Париде дель Поццо вплоть до его современников, то есть на протяжении целого столетия. А в дальнейшем совсем уж было бы странно натолкнуться на такое. Что касается Париде дель Поццо, то боже избави называть его паряду с Джаннине «выдающимся юрисконсультom», но одних его ранее приведенных слов было бы довольно, чтобы показать, что столь ужасные слова еще недостаточны, чтобы дать правильное представление о его собственных доктринах.

С нашей стороны было бы, конечно, опрометчиво утверждать, что писания толкователей законов в це-

¹ По словам Париде, судья может... и т. д. (лат.).

дом ничему не служили или, напротив, лишь ухудшали положение вещей. Вопрос этот чрезвычайно интересен, поскольку речь идет об оценке целей и результатов более чем вековых умственных усилий в столь важной и необходимой для человечества сфере. Решить его — дело нашего времени, хотя, как мы уже говорили и как, впрочем, каждому ясно, момент, когда рушится вся система, не является наиболее подходящим для беспристрастного ее описания; но вопрос этот следует решать, вернее, историю того времени надо писать, но писать по-другому, не в виде отдельных и разрозненных заметок. Их, однако, достаточно, если не ошибаюсь, чтобы доказать поспешность противоположного вывода, и они являются необходимым введением в наш рассказ, ибо, следя за его развитием, нам часто придется пожалеть о том, что власть ученых-правоведов была поистине не безграничной, и мы уверены, что читатель не раз воскликнет вместе с нами: о, если бы их послушались!

ГЛАВА III

Для передачи, наконец, обвиняемого заплечных дел мастерам, существовало общее и почти универсальное положение ученых докторов, состоявшее в том, что ложные показания обвиняемого являлись одним из законных оснований, как они говорили, необходимости применения пыток. Вот почему следователь, допрашивавший несчастного инспектора, возразил ему, что неправдоподобно, будто тот ничего не слышал о вымазанных стенах в районе Порта Тичинезе и не знает по имени депутатов, с которыми имел дело.

Но достаточно ли было для применения пыток любого запирательства преступника?

«Ложь, для того, чтобы быть показанием для пыток,— наставляли ученые мужи,— должна затрагивать существенные стороны и обстоятельства преступления, являющиеся, другими словами, его составной частью и от которых может зависеть обвинение, в противном случае о пытках не может быть речи: *alias secus*.

«Ложное показание не влечет за собой пыток, если касается обстоятельств, не отягчающих вину преступника в случае их признания».

Но достаточно ли было, по мнению законоведов, чтобы показания обвиняемого показались ложными судье, для того, чтоб он передал его в застенки?

«Ложное показание, дабы послужить основанием для пыток, должно быть убедительно доказано либо признанием самого преступника, либо двумя очевидцами... ибо общепринятое правило гласит, что два свидетеля необходимы для доказательства действия, совершенного в прошлом, к которому относится ложное показание». Я часто привожу и буду приводить высказывания Фариначчи, как одного из наиболее авторитетных ученых того времени и как усердного собирателя самых распространенных мнений. Некоторые законоведы, однако, довольствовались одним свидетелем, лишь бы он был выше всяких подозрений. Но то, что ложность показаний должна была вытекать из законных доказательств, а не из простых предположений судьи, было общим правилом и никем не оспаривалось.

Эти условия были выведены из одного канона римского права, который запрещал (чего только не запрещалось при снисходительном отношении к известным вещам!) начинать дело с пыток. «Если бы судьям,— говорит тот же автор,—было предоставлено право подвергать преступников пыткам, не имея законных и достаточных улик, то это было бы равносильно позволению начинать расследование прямо с пыток... Но чтобы называться таковыми, улики должны быть достоверными, правдоподобными, не легковесными, не формальными, а серьезными, неопровержимыми, вескими, ясными, более того, они должны быть, как говорится, яснее полуденного солнца... Ведь речь идет о предании человека страданиям, которые могут подорвать его здоровье: *agitur de hominis salute*, а посему не удивляйся, о строгий судья, если наука о праве и ученые мужи требуют получения столь веских доказательств и, утверждая правила с такой силой, не устают их повторять».

Мы не поручимся, что все это было разумно, ибо не может быть разумно то, что чревато противоречием. Попытки примирить уверенность с сомнением, избежать опасности замучить невинного или вырвать у него ложное признание оказались тщетными, так как от пыток как раз и требовалось быть средством подтверждения невинности или преступности человека, средством получения от него вполне определенных признаний. Тогда логически следовало бы объявить абсурдной и несправедливой эту практику, но этому мешало слепое преклонение перед античностью и римским правом. Та небольшая книжечка «О преступлениях и наказаниях», которая привела не только к отмене пыток, но и к реформе всего уголовного законодательства, началась словами: «Некоторые пережитки законов древнего народа-завоевателя». И эти слова казались, как это и было на самом деле, прозрением гениального ума; веком раньше их нашли бы несуразными. И в этом нет ничего удивительного: разве мы не видели, как подобное преклонение перед древностью сохранялось гораздо дольше и даже, напротив, укреплялось в политике, затем в литературе, а позднее в отдельных областях изящных искусств? В большом, как и в малом, наступает пора, когда случайное и наносное, стремящееся утвердиться в качестве естественного и необходимого, вынуждено уступить опыту, рассудку, пресыщенности, моде, а возможно, и меньшему чему-нибудь, в зависимости от характера и значения области, в которой совершается перемена; но эта пора должна быть подготовлена. И в этом — немалая заслуга толкователей законов, ибо, как нам представляется, они подготовили, хотя и постепенно, хотя и незаметно для самих себя, необходимый перелом в юриспруденции.

Но в нашем случае установленных ими правил оказалось достаточно, чтобы позволить судьям попросту отойти от существующих законов. Они захотели начать именно с пыток. Не обращая внимания на особенности дела, так или иначе связанные с существенными или случайными обстоятельствами предполагаемого преступления, судьи стали чаще, хотя и безуспешно, допрашивать обвиняемого, дабы

отыскать какой-нибудь предлог, чтобы сказать жертве, обреченной на заклание: ты говоришь неправду,— и, придав некоторым установленным нелепостям вид заведомо ложных показаний, подвергнуть обвиняемого пыткам. Вся беда была в том, что судьям нужна была не истина, а признание. Не надеясь добиться чего-либо путного с помощью расследования предполагаемого поступка, они стремились побыстрее перейти к пыткам, которые сулили им немедленную и верную выгоду: ярость ослепила их. Как же: всему Милану было известно (так говорили в тех случаях), что Гульельмо Пьяцца измазал стены, двери и проходы на улице Ветра, а они, державшие его в своих руках, не в силах были заставить немедленно признаться в этом!

Быть может, кое-кто возразит, что перед лицом правосудия, если не совести, все оправдывалось омерзительным, но в то же время принятым правилом, в силу которого при разбирательстве тягчайших преступлений было дозволено преступать закон? Не будем пока говорить о том, что наиболее распространенное, почти всеобщее мнение юрисconsultов состояло (и, если хотите, должно было состоять) в том, что это правило могло распространяться не на процедуру расследования, а лишь на наказание, «пбо,— цитируем одного из них,— хотя преступление может показаться поистине чудовищным, но пока не будет доказано, что человек его совершил, при отсутствии доказательств долг судьи состоит в соблюдении всех требований закона». Для полноты картины и в качестве примера замечательных свойств вечного разума, проявляющегося во все времена, приведу сентенцию человека, писавшего в начале пятнадцатого века и надолго заслужившего прозвище «Бартоло церковного права». Речь идет о Николо Тедески, архиепископе палермском, более известном, пока он был известен, под именем Палермского аббата. «Чем серьезнее преступление,— утверждает этот человек,— тем доказательней должны быть его презумпции, пбо там, где опасность больше, надо ступать с большей осторожностью». Но это, повторяю, не относится к нашему делу (я имею в виду одну лишь юриспру-

денцию), поскольку, по свидетельству Кларуса, в миланском форуме царили иные нравы: судье в подобных случаях разрешалось преступать закон и при расследовании дела. «Таких положений,— говорит Риминальди, другой известный в прошлом юрис-консульт,— не встречается в других странах», а Фариначчи добавляет: «и это правильно». Но посмотрим, как сам Кларус толкует эту норму: «к пыткам переходят, даже если улики не совсем достаточны (*in totum sufficientia*) и не доказаны свидетелями, стоящими вне подозрений; преступнику зачастую даже не дают копию протокола допроса». И переходя, в частности, к уликам, оправдывающим применение пыток, он недвусмысленно заявляет, что они необходимы «не только в случае незначительных, но и в случае тяжких и жесточайших преступлений, включая и дела об оскорблении величества». Итак, люди довольствовались уликами, пусть и доказанными не по всем правилам, но все же как-то доказанными, пусть не очень авторитетными, но все-таки свидетелями, не совсем убедительными, но реальными, относящимися к делу свидетельствами. Люди хотели таким образом облегчить судье раскрытие преступления, но не дать ему права терзать под любым предлогом первого попавшегося ему в руки. Абстрактная теория подобных вещей не приемлет, не изобретает и не задумывается над ними, хотя страсть не останавливается перед их исполнением.

Итак, судья неправедный приказал Пьяцце «говорить правду, объяснить, почему тот отрицает, что ему известно об измазанных стенах и о том, как звать депутатов, ибо в противном случае за дачу ложных показаний он подвесит его за руки, дабы внести ясность во все эти невероятные вещи». «Если вам вздумается, можете подвесить меня за шею, но о том, о чем меня спрашивают, я не имею ни малейшего представления»,— ответил несчастный с тем отчаянным мужеством, с каким иногда разум бросает вызов насилию, как бы утверждая, что чем бы дело ни кончилось, сила никогда не станет разумом.

Но подумать только, к какой низкой хитрости вынуждены были прибегнуть эти господа, чтобы как-

нибудь приукрасить вымышленный ими предлог. Они пошли, как мы уже сказали, на то, чтобы отыскать еще одну «ложь» обвиняемого, дабы иметь возможность говорить о его ложных показаниях во множественном числе. Им понадобился еще один нуль, чтобы увеличить число, к которому они не смогли приписать ни одной цифры.

Подвергнув несчастного пытке, ему советуют «решиться сказать правду». Сквозь крики, мольбы и заклинания о помощи он отвечает: «Я вам сказал ее, господа». Судьи настаивают. «Ради бога! — кричит несчастный. — Ваша милость, спустите меня, я скажу вам все, что я знаю, дайте мне попить». Его опускают вниз, усаживают на скамью и снова допрашивают. Он отвечает: «Я ничего не знаю, ваша милость, дайте мне немного воды».

До чего же слепа ярость! Им и в голову не приходило, что признание, которого они силой добивались от обвиняемого, могло бы быть использовано, будь оно истиной, как они с жестокой уверенностью повторяли, в качестве сильнейшего доказательства его невиновности. «Да, господа, — мог бы сказать он, — я слышал, что стены на улице Ветра оказались измазаны и все же зачем-то шатался у ворот вашего дома, господин президент Санитарного ведомства!» И этот аргумент был бы тем более убедительным, что после распространения слухов о преступлении, в котором обвиняли инспектора, последний, узнав об этом, не мог бы не почувствовать себя в опасности. Но эта столь очевидная мысль, упущенная в ярости из виду, не могла прийти на ум и самому несчастному, ибо ему не сказали, в чем его обвиняют. Его собирались прежде сломить пытками; для судей это были естественные и возможные методы убеждения, дозволенные законом, обвиняемому хотели показать, какое ужасное немедленное следствие влекло за собой его заперательство, от него добивались, чтобы он хоть раз признался во лжи и тем самым дал им право не верить ему, когда он скажет: я не виновен. Но они не добились своей гнусной цели. Вновь подвергнутый пытке, Пьяцца был слегка подвешен на веревке, затем ему пригрозили бóльшим и исполнили эту угрозу. У него

неотступно требовали «правду», а он продолжал твердить: «я все сказал». Сначала он кричал, потом стих, наконец судьи, видя, что от него ничего больше не добьешься, приказали опустить его и отвести в камеру.

После того как 23 числа президент Санитарного ведомства, являвшийся членом сената, и капитан справедливости, участвовавший в его судебных заседаниях лишь по приглашению, доложили этому верховному судебному органу результаты расследования, сенат отдал распоряжение «обрить обвиняемого, одеть его в одежду курии, прочистить ему желудок и вновь подвергнуть жестоким пыткам со шнурованием рук». Последнее было ужаснейшим добавлением, ибо помимо конечностей растягивались также кисти рук «в несколько приемов и под наблюдением двух судейских чинов по причине ложных показаний и противоречий, явствующих из протокола».

Один лишь сенат имел не скажу право, но возможность безнаказанно заходить столь далеко по этому пути. Римский закон о повторном применении пыток толковался двояко, и наименее точное толкование было наиболее гуманным. Многие правоведы (следуя, возможно, за Одофредо, единственным автором, на которого ссылается Чино ди Пистойя, и самым древним из всех цитируемых другими) считали, что пытки могли повторяться лишь в том случае, если появлялись новые улики, более очевидные, чем прежние, и при условии, как было добавлено позднее, что они окажутся иного рода. Многие другие ученые вслед за Бартоло считали повторение пыток возможным, если первоначальные улики носили явный, очевидный и веский характер и если, что было также добавлено позднее, пытки вначале не были чрезмерными. К данному случаю ни то, ни другое толкование не подходило. Расследование не добавило никаких новых улик; начальные же состояли в том, что две женщины видели, как Пьяцца касался руками стены, а то, что было уликой и вместе составом преступления, заключалось в нахождении представителями судебной власти «каких-то следов маслянистого вещества» на опаленных и за-

дымленных стенах и особенно в одном проходе... куда Пьяцца не заходил. Более того, эти улики, столь явные, очевидные и бросающиеся в глаза, не были, как легко заметит каждый, подвергнуты проверке и обсуждены с виновным. Но что тут говорить? В сенатском декрете даже не упоминаются улики, относящиеся к преступлению; в нем нет даже ошибочного истолкования закона, он сформулирован так, будто закона не существует вовсе. Вопреки всем законам, вопреки любым авторитетам, вопреки самому разуму в нем приказывается подвергнуть инспектора новым пыткам «по причине ложных показаний и противоречий». Итак, подчиненным был дан приказ проделать вновь и с еще большей беспощадностью то, за что их надо было примерно наказать, ибо общепринятое положение, известное юридическое правило, состояло (а могло ли быть иначе?) в том, что низший судебский чин, подвергший обвиняемого пыткам без законных на то оснований, наказывался высшим.

Но Миланский сенат был верховным судом, на этом свете, разумеется. И Миланский сенат, от которого люди ждали если не избавления от чумы, то, по крайней мере, мести, не должен был оказаться менее расторопным, менее упорным и менее удачливым разоблачителем, чем Катерина Роза. Ибо все основывалось на доверии к этой бабенке; ее слова: «Тогда мне пришло в голову, не из тех ли он...» — как легли в основу процесса, так и оставались затем его движущей силой и образцом для подражания. Разница была только в том, что Катерина Роза начала с сомнения, а судьи — с уверенности. И ничего нет удивительного в том, что целый суд пошел на поводу у одной-двух бабенок: когда страсти овладевают толпой, то верховодят безнадежно слепые. Неудивительно и то, что судьи, которые не должны были бы быть и, наверное, не были из тех людей, кто хочет зла ради зла, столь явно и жестоко попирали всякое право, ибо несправедливые мысли рожают несправедливые действия, заводящие так далеко, как только может завести одна убежденность. И если человек (забыв к тому же о высшем судии) колеблется, раздумывает, сомневается, то крики тол-

пы обладают пагубной способностью заглушать в нем угрызения совести и подавлять их.

Причину столь отвратительных, если не жестоких предписаний: остричь, переодеть и промыть желудок,— мы объясним словами Верри. «В те времена,— пишет он,— считалось, что в волосах и в паху, в одежде или даже в желудке, путем поглощения, можно было спрятать амулет или договор с сатаной, поэтому, обрив, раздев и прочистив преступника, его как бы лишали силы». И это поистине соответствовало духу того времени. Насилие (в его различных формах) применяется во все времена, докториной же оно не становится никогда.

Второй допрос был столь же абсурдным и еще более жестоким повторением первого при неизменном результате. Несчастливого инспектора вначале допросили и запутали придирками, которые показались бы детскими, относились они к другому, менее серьезному случаю, и которые не имели никакого отношения к предполагаемому проступку, так и не названному при дознании, затем его подвергли еще более жестоким пыткам, предписанным сенатом. Раздались крики отчаянной боли, мольбы о пощаде, но отнюдь не слова, которых от него добивались и ради которых имели мужество выслушивать другие: «Боже мой! Что за мучение! О господин следователь!.. Повесьте меня хотя бы поскорее... Велите отрезать мне руку... Убейте меня; дайте мне передохнуть немного. О господин президент!.. Ради бога, дайте воды»; но вместе с тем: «Я ничего не знаю, я сказал всю правду». После многих и многих подобных заявлений, последовавших в ответ на холодное изуверское приказание «говорить правду», у несчастного пропал голос, он онемел и четырежды промолчал. Наконец он вновь смог ответить слабым голосом: «Я ничего не знаю, я сказал всю правду». На этом пришлось кончить и отвести его обратно в камеру, так и не добившись от него признания.

Для возобновления пыток не было других оснований или причин: то, что судьи приняли за кратчайший путь, завело их в тупик. Приведи пытки к желанному результату, уличи они обвиняемого во лжи, ему бы несдобровать, и что самое ужасное —

чем безразличнее и ничтожнее по существу была бы эта ложь, тем более мощным доказательством преступности Пьяццы выглядела бы она в руках судей, стремившихся показать, что преступник хочет отмежеваться от преступления, прикинуться неосведомленным человеком, короче говоря, солгать. Но после одних незаконных и после других еще более незаконных и еще более жестоких или суровых, как тогда говорили, пыток подвергнуть человека новым пыткам лишь за то, что он утверждал, что ничего не знает о случившемся, не знает имен депутатов прихода, означало бы перейти границы всего дозволенного и недозволенного. Итак, судьи вновь оказались ни с чем, будто и вовсе не начинали своей работы; надо было приступать, без единого козыря на руках, к расследованию предполагаемого преступления, к раскрытию влодеения Пьяццы, к дальнейшим его допросам. А если обвиняемый будет все отрицать? А если он упрямо будет запирается, как ему удавалось делать раньше, даже под пытками? К тому же эти пытки должны были быть непременно последними, если судьи не хотели удостоиться позорного приговора, которым их коллега, цитированный выше Босси, умерший веком раньше, чей авторитет был по-прежнему высок, заклеил неправедных судей. «Я никогда не видел,— писал он,— чтобы пытки предписывались свыше трех раз, разве что судьями-палачами: *nisi a cagnificibus*». А ведь здесь имеются в виду пытки, предписанные по закону!

Но, к сожалению, страсть изворотлива и смела в отыскании новых путей, обходящих закон, если он не сулит ей быстрого и верного успеха. Начав с истязаний плоти, судьи перешли затем к истязаниям иного рода. По распоряжению сената (как это видно из подлинного письма капитана справедливости губернатору Спиноле, занятому в то время осадой города Казале) аудитор-следователь Санитарного ведомства в присутствии нотариуса обещал Пьяцце безнаказанность при условии (что явствует также из протокола), что тот скажет всю правду. Так без долгих разговоров судьям удалось сказать подсудимому, в чем он обвиняется, но это было сказано не

для того, чтобы почерпнуть из его ответов что-нибудь полезное для выяснения истины, не для того, чтобы выслушать, что он думает по этому поводу, а для того, чтобы умело побудить его говорить то, что им хотелось.

Указанное письмо было написано 28 июня, то есть когда процесс с помощью означенной уловки продвинулся далеко вперед. «Я счел необходимым,— начинает свое письмо капитан справедливости,— известить Ваше превосходительство об изобличении нескольких злодеев, которые на днях измазали ядовитыми мазями стены и ворота вашего города». Небезынтересно и весьма поучительно посмотреть, как известные нам вещи излагались теми, кто их сделал. «Мне было поручено сенатом,— говорится в письме,— провести расследование, в ходе которого по свидетельству нескольких женщин и одного заслуживающего доверия мужчины выявилась вина некоего Гульельмо Пьяццы, человека низкого происхождения, но служащего инспектором Санитарного ведомства, который на рассвете в пятницу 21 числа измазал стены квартала вблизи Порта Тичинезе, называемого Ветра де Читтадини».

Мужчина же, достойный доверия, упомянутый в письме для подкрепления показаний женщин, всего только и сказал, что он столкнулся с инспектором, «с которым он поздоровался, а тот ему ответил тем же». Это и означало выявить вину последнего! Как будто приписанное инспектору преступление только и состояло в том, что он оказался на улице Ветра. Далее капитан справедливости вовсе не упоминает о том, что он посетил указанный квартал, чтобы убедиться в составе преступления, так же как об этом ничего больше не говорится в протоколе.

«На допросе выяснилось,— продолжает капитан справедливости,— много противоречивых вещей». Однако он умалчивает об обыске, произведенном в доме Пьяццы, где не нашлось «ничего подозрительного».

«А поскольку обвиняемый во время следствия еще больше запутался (видали!), то его подвергли жестоким пыткам, но он не признавался в содеянном».

Если кто-нибудь сказал бы Спиноле, что Пьяццу вовсе не допрашивали о преступлении, то Спинола, наверное, ответил бы: «Мне как раз сообщили обратное: капитан справедливости пишет, правда, не об этом именно, что бесполезно, а о вещах, это подразумевающих и без этого невозможных. Он пишет, что после тяжких пыток преступник не признал своей вины». А заупрямься вопрошающий, «Как! — мог бы воскликнуть славный властелин, — неужели вы думаете, что капитан справедливости может надомной издеваться, сообщая мне под видом важных новостей, будто не случилось того, чего не могло не случиться?» И все же дело обстояло именно так; но не потому, что капитан справедливости собирался издеваться над губернатором, а потому, что судьи совершили деяние, о котором не могли сообщить так, как это было на самом деле, потому что тогда, как и сейчас, нечистая совесть легче находила основания для поступков, чем выражения для их оправдания.

Но в том, что касается безнаказанности, в письме есть еще явная ложь, которую Спинола мог бы и должен был хотя бы отчасти разглядеть без посторонней помощи, будь он меньше занят взятием города Казале, которого так и не взял. В письме говорилось следующее: «Обвиняемый заперся до тех пор, пока по распоряжению сената (а также во исполнение указа, опубликованного Вашим превосходительством в последнее время) ему не была обещана президентом Санитарного ведомства безнаказанность и т. д.».

В главе XXXI предыдущей книги говорилось об указе, в котором Санитарный трибунал обещал вознаграждение и безнаказанность любому, кто поможет обнаружению злоумышленников, измазавших стены и двери домов утром 18 мая, и в этой связи упоминалось также письмо означенного трибунала, адресованное губернатору по этому вопросу. В нем выражался протест по поводу того, что названный указ был составлен «при участии г-на Великого канцлера», заменявшего губернатора в его отсутствие, и содержалась просьба подкрепить его новым указом, в котором обещалось бы большее вознаграждение. Губернатор действительно издает новый

указ, датированный 13 июня, в котором «обещает награду любому, кто в течение тридцати дней выдаст злоумышленника или злоумышленников, совершивших преступление или способствовавших его совершению, а буде доносчик окажется из числа сообщников, ему обещают избавление от наказания». Именно во исполнение этого указа, столь явно относящегося к событию 18 мая, капитан справедливости сообщает, что обвиняемому в преступлении, совершенном 21 июня, было обещано избавление от наказания, и сообщает это не кому другому, как человеку, подписавшему этот указ! Уж настолько, видно, была сильна вера в занятость властелина города осадой Казале! Иначе трудно предположить, что сами они не заметили разницы в датах.

Но для чего им нужно было пускаться на подобные проделки со Спинолой?

Дело в том, что им хотелось прикрыться его авторитетом, оправдать неправильный, противозаконный акт, как с точки зрения общей юриспруденции, так и с точки зрения законодательства страны. Общее правило, повторяю, состояло в том, что судья не мог самовольно обещать безнаказанность подсудимому. Даже в конституционных уложениях Карла V, где сенатская коллегия наделяется широчайшими полномочиями, исключается все же право судей «прощать преступления, выдавать помилования или охранные грамоты, поскольку это является привилегией государя». А уже цитированный выше Босси, бывший в то время в качестве миланского сенатора одним из составителей этих уложений, недвусмысленно заявляет, что «предоставление безнаказанности является прерогативой одного лишь государя».

Но зачем же заходить так далеко, когда до губернатора было рукой подать, а он наверняка получил от государя необходимые полномочия и право передавать их другим? И эту возможность мы вовсе не придумали: именно так и поступили судьи, когда позднее им пришлось заняться еще одним несчастным, вовлеченным в это пагубное дело. Акт этот отмечен в самом протоколе следующим образом: «Амброзио Спинола и т. д. В соответствии с мнением, высказанным нам сенатом в письме от пятого

числа текущего месяца, настоящим предписываем вам освободить от наказания Стефано Баруэлло, осужденного за раздачу и изготовление болезнетворных мазей, коими были вымазаны стены города с целью истребить его население, при условии, что он в течение срока, который будет установлен сенатом, поможет обнаружению виновников преступления и их соучастников».

Безнаказанность же, обещанная инспектору, была не официальным подлинным документом, а лишь словами, сказанными ему аудитором Санитарного ведомства, без занесения в протокол. Оно и понятно: подобное обещание выглядело бы либо явным обманом при ссылке на указ, либо узурпацией власти, при отсутствии каких-либо ссылок. Но почему же, спрашиваю я, им потребовалось лишать себя возможности облечь в торжественную форму этот акт, имевший столь важное значение?

Вряд ли мы сможем узнать наверняка, чем руководствовались при этом судьи, но далее увидим, зачем им понадобилось поступить таким образом.

Во всяком случае, недобросовестность расследования была настолько очевидной, что защитник Падильи заметил ее без труда. Хотя, как он заявил с полным основанием, ему не нужно было выходить за рамки вещей, непосредственно связанных с его клиентом, дабы отвести от него несуразные обвинения, и хотя он, опрометчиво и весьма непоследовательно, признал во всем этом нагромождении домыслов и басен наличие действительного преступления и реальных его виновников, тем не менее он, как говорится, для пущей предосторожности и для опровержения всего, что имело отношение к обвинению, сделал ряд оговорок в отношении той части расследования, которая касалась других лиц. Так, по поводу обещания безнаказанности подсудимому, не оспаривая правомочности сената в этом вопросе (ибо чаще всего люди обижаются не тогда, когда сомневаются в их честности, а когда ставят под сомнение их полномочия), он возразил, что Пьяцца «был сведен с одним лишь господином аудитором, не имевшим соответствующей юрисдикции... и что

следствие поэтому велось неправильно и вопреки разумному порядку». А говоря о позднейшем и случайном упоминании пресловутой безнаказанности, он замечает: «И все же до этого момента следствие ни словом не упоминает о безнаказанности, о ней ни строчки нет и в протоколе, хотя разумней было бы, учитывая возможные возражения, отметить это в следственных документах».

В этом месте речи защитника есть одно, как бы случайно оброненное, но весьма многозначительное слово. Рассматривая действия, предшествовавшие обещанию безнаказанности, адвокат не делает каких-либо явных или прямых возражений против пыток, которым подвергли Пьяццу, но говорит о них так: «Под предлогом недостоверности показаний он был подвергнут пыткам». Это обстоятельство представляется нам достойным внимания, ибо и тогда вещи назывались своими именами даже перед лицом их творцов, даже человеком, вовсе не помышлявшим защищать право того, кто пал их жертвой.

Надо сказать, что широкой публике мало что было известно об обещании подсудимому безнаказанности, так что Рипамонти, рассказывая в своей истории чумы о главных событиях данного процесса, не только не упоминает об этом обещании, но и косвенно его исключает. Этот автор, который не способен исказить истину, но которого нельзя простить за то, что он не читал ни выступлений защитника Падильи, ни приложенных к ним извлечений из следственного протокола, за то, что он поверил рассказам толпы или наветам людей небескорыстных, рассказывает, что Пьяццу, сразу же после пыток, в момент, когда его развязывали, чтобы отвести в камеру, сделал неожиданное для всех внезапное признание. Это ложное признание было в самом деле сделано, но днем позже, после встречи с аудитором и в присутствии людей, которые отнюдь этому не удивились. Так что, не сохранись немногие документы и имей сенат дело только с обществом и историей, ему удалось бы добиться своей цели: скрыть столь важное для процесса обстоятельство, положившее начало всем остальным бедам.

Что произошло на этой встрече, никому не известно, об этом можно только гадать. «Весьма вероятно,— пишет Верри,— что уже в тюрьме несчастного убедили в том, что если он будет отпираться и дальше, то пытки будут повторяться каждый день, что преступление установлено и что у него нет другого выхода, как во всем признаться и назвать сообщников; этим он спасет себе жизнь и избежит мучений, уготованных на каждый день. Итак, Пьяцца испросил и получил безнаказанность, при условии, однако, что искренне расскажет о содеянном».

Представляется, однако, маловероятным, что Пьяцца сам попросил избавить его от наказания. Несчастный, как мы увидим в ходе дальнейшего расследования, ступал вперед не раньше, чем его подталкивали сзади. Вероятней всего поэтому, что для того, чтобы заставить его сделать этот первый, столь необычный и ужасный шаг, чтобы вынудить его оклеветать себя и других, аудитор сам сделал ему такое предложение. Более того, судьи, говоря ему впоследствии об этом, вряд ли упустили бы случай напомнить об этом важном обстоятельстве, столь веско подтверждавшем его признание, а капитан справедливости вряд ли опустил бы его в письме к Спиноле.

Но кто может вообразить себе смятение этой души, в которой только что пережитые муки будили попеременно то ужас перед их возобновлением, то страх подвергнуть им другого! И которой надежда уйти от ужасной смерти представала не иначе, как вместе со страхом причинить ее другому ни в чем не повинному человеку! Ибо не мог он поверить, что его мучители готовы оставить в покое свою жертву, не получив, по крайней мере, другую взамен, что они хотели покончить дело миром, без суда и приговора. И он сдался, поддался надежде, какой бы призрачной и жуткой она ни была, совершил этот поступок, невзирая на его мерзость и трудность, решив представить новую жертву вместо себя. Но где ее взять? За что уцепиться? Кого выбрать из незнакомых людей? Сам-то он был реальным фактом, служившим судьям поводом и предлогом для обвинения. Ведь это он оказался на улице Ветра, это он

шел вдоль стены, это он коснулся ее, а какая-то несчастная бабенка заподозрила его бог весть в чем. Но, видно, такой же невинный и столь же безразличный факт подсказал ему, на кого и как свалить вину.

Цирюльник Джанджакомо Мора изготовлял и продавал противочумную мазь, одно из тысячи снадобий, которые пользовались и должны были пользоваться доверием во времена, когда людей нещадно косила болезнь, от которой не было спасенья, в эпоху, когда медицина научилась еще столь малому, что не могла не поддерживать знахарей и просвещала столь редко, что им не могли не верить.

За несколько дней до ареста Пьяцца спрашивал цирюльника об этой мази, тот обещал ее приготовить и, повстречавшись с ним на Карроббио утром дня, предшествовавшего аресту, сказал ему, что баночка с мазью готова, и просил зайти за нею. От Пьяццы добивались рассказа о снадобье, о заговорах, об улице Ветра, и эти столь свежие подробности послужили ему основой для сочинения истории, если можно назвать сочинением то, что под реальные обстоятельства он подставил вымысел, несовместимый с ними.

На следующий день, 26 июня, Пьяцца предстал перед следователями, и аудитор приказал ему «сказать сообразно тому, в чем откровенно признался мне в присутствии также нотариуса Бальбиано, не знает ли он, кто занимается изготовлением мазей, которыми неоднократно вымазывались двери и стены домов и строений этого города».

Но, подвигнутый на путь обмана вопреки своей воле, несчастный старался как можно меньше отклоняться от истины, он только сказал: «Мне эту мазь дал цирюльник». Таковы были его слова, буквально переведенные на латинский, но весьма неуместно приведенные Рипамонти: *dedit unguenta mihi tonsor*.

Ему велели «назвать означенного цирюльника», сообщника и заправилу в указанном преступлении. Пьяцца ответил: «Его, похоже, звать Джанджакомо, но родство его (фамилия) мне неизвестно». Не смог

он точно указать и где тот жил, где была его лавка, но на следующем вопросе он это уже сказал.

Далее его спросили, много или мало означенной мази получил он, повинившийся, от цирюльника. На это последовал ответ: «Он дал мне ее столько, сколько могла бы вместить чернильница, что стоит у вас на столе». Если бы обвиняемый получил от Мора обещанную ему баночку снадобья, он описал бы ее, но не будучи в силах ничего из себя выжать, он ухватился за первый попавшийся ему на глаза предмет, лишь бы назвать что-либо правдоподобное. Его спросили, является ли означенный цирюльник другом повинившегося. И тут, не замечая, что истина, всплывшая в его памяти, никак не вяжется с вымыслом, он ответил: «Другом? Да, мы с ним раскланиваемся, поздравляем друг друга с праздником, конечно, он мой друг, господин следовательно», — то есть, другими словами, признал, что речь идет о шапочном знакомстве.

Но не обращая на это никакого внимания, следователи идут дальше: «При каких обстоятельствах, — вопрошают они, — означенный цирюльник дал ему указанную мазь?» И вот что обвиняемый на это отвечает: «Я шел как-то мимо, а он подозвал меня и сказал: могу вам кое-что предложить. Я спросил его, о чем идет речь? А он сказал, что имеет какую-то мазь, я же ответил: ладно, зайду к вам попозже. И вот дня через два-три я ее получил». Обвиняемый искажает действительные обстоятельства происшествия, это необходимо ему для того, чтобы приспособить их к выдуманной им версии, но сохраняет их колорит. Некоторые из приведенных им слов, возможно, были сказаны на самом деле. Ибо в таких выражениях собеседники, вероятно, договаривались об известном нам снадобье. Но тут обвиняемый ни с того ни с сего выдает их вдруг за намерение цирюльника предложить ему отраву, столь же невероятную, сколь и ужасную.

Несмотря на все это, следователи задают новые вопросы о месте, о дне, о часе заключения и исполнения сделки. И, как бы довольные полученными разъяснениями, они добиваются следующих. «А что сказал цирюльник, — говорят они, — при вручении

означенной мази?» «Он сказал мне,— отвечает Пьяцца,— возьмите эту баночку, измажьте стены мазью, а потом приходите ко мне, я вам отвалю пригоршню монет».

«Но почему же цирюльник,— замечает, я чуть было не сказал: восклицает, по этому поводу Верри,— не отправился сам, не рискуя ничем, обмазывать ночью стены домов». Но еще большая нелепость бросается в глаза в следующем ответе. Будучи спрошен, указал ли повинившемуся означенный цирюльник точное место, которое надлежало испачкать,— Пьяцца ответил: «Он сказал мне, чтобы я измазал стены домов по улице Ветра де Читтадини и чтобы начал с его дома, что я и сделал».

«Даже дверь собственного дома не потрудился помазать цирюльник!» — комментирует снова Верри. Для констатации этого факта не нужно было, конечно, обладать проницательностью великого правоведа. Необходимы были ослепление страстью, чтобы пройти мимо этого обстоятельства, или коварство, присущее страсти, чтобы посмотреть на него сквозь пальцы, ибо, как это естественно предположить, на него обратили внимание и следователи.

Несчастный с таким трудом, словно через силу, выдумывал подробности и говорил, направляемый и понукаемый вопросами, что невозможно установить, было ли денежное вознаграждение придумано им самим, чтоб как-то обосновать свое согласие с поручением подобного рода, или мысль об этом была ему подсказана на допросе аудитором во время их подозрительного разговора. То же следует сказать и о другой выдумке, с которой при расследовании была косвенно связана еще одна трудность, а именно: как преступник мог свободно обращаться с такой смертоносной мазью, не потерпев от этого никакого вреда. У него спросили, не говорил ли ему означенный цирюльник, с какой стати понадобилось ему мазать означенные двери и стены. Тот ответил: «Он ничего мне не сказал; я полагаю, что означенная мазь ядовита и разъедает человеческую плоть, потому что на следующее утро он дал мне выпить воды, сказав, что это меня предохранит от заразы».

На все эти и другие подобные разглагольствования, которые слишком долго и бесполезно пересказывать, расследователи не нашли, что возразить, а точнее, ничего не возразили. Только в одном случае они сочли нужным попросить разъяснений: почему он раньше во всем не признался. Несчастный ответил: «Не знаю, не знаю, чем это объяснить, разве что водой, которой меня опоил цирюльник, потому что Ваша милость видит, что несмотря на все пытки я не смог ничего сказать».

Но на сей раз эти доверчивые люди не успокаиваются и продолжают допытываться, почему обвиняемый до сих пор не сказал правду, особенно когда его так жестоко пытали в субботу и накануне.

В этом было все дело! Но что мы слышим в ответ: «Я не сказал и не мог сказать правду, проводи я еще хоть сто лет на веревке, все равно ничего не смог бы сказать, ибо язык у меня не поворачивался: когда меня спрашивали о чем-нибудь в этом роде, у меня душа уходила в пятки и я не мог вымолвить ни слова». На этом и кончили расследование, отослав несчастного в камеру. Но хватит называть его несчастным!

Спросите об этом свою совесть, и она придет в замешательство, пойдет на попятную, скажется несведущей; ведь осудить того, кто сдался под пыткой, запутавшись в расставленных сетях,— значит проявить высокомерное бессердечие и ханжеское лицемерие. Но заставьте все же совесть ответить, и она вам скажет: да, подсудимый тоже виновен, конечно, страдания и муки невинного — великое дело, они могут искупить многое, но не изменить вечный закон, считающий клевету преступлением. И само сострадание, готовое также простить жертву, мгновенно восстает против клеветника: оно слышало имя еще одного невинного, предвидит новые муки, новые ужасы, быть может, другие подобные преступления.

А что сказать о людях, творивших это черное дело, заманивавших жертв в свои сети, не кажется ли, что мы их прощаем, говоря, что они верили в ядовитые мази, что тогда существовали пытки? Ведь мы тоже верим в возможность отравления людей ядом, но что сказать о судье, который при-

водил бы подобный довод, оправдывая осуждение человека, несправедливо обвиненного в отравлении? Ведь и сейчас еще существует смертная казнь, но что возразить человеку, который захотел бы эти оправдать все смертные приговоры? Нет, в осуждении Гульельмо Пьяццы все дело не столько в пытках, сколько в судьях, которые потребовали их применения, которые, так сказать, придумали их в данном случае. Если бы подсудимый не оправдал их надежд, то виноваты в том были бы они сами, ибо они сами затеяли это дело, но мы видели, что он оправдал их надежды. Предположим даже, что их сбили с толку признания Пьяццы на последнем допросе, показавшиеся им фактом, изложенным и поясненным в несколько странной манере. Но чем были вызваны эти признания? Как их добились? С помощью средства, в незаконности которого они не должны были сомневаться и действительно не сомневались, так как пытались скрыть правду и всячески ее исказить.

Если же все, что произошло после, при всей невероятности такого предположения, явилось результатом случайных обстоятельств, подтвердивших заведомую ложь, то все равно вина за это лежала бы на тех, кто положил начало этому обману. Но далее мы увидим, что все было определено их собственной волей, что, боясь разоблачения, они были вынуждены искать в обход закона способы скрыть очевидное и успокаивать свою совесть, дабы не поддаться жалости.

ГЛАВА IV

Аудитор вместе со сбпrrрами бросился к дому Мора и застал его в цирюльне. Это был еще один преступник, которому и в голову не пришло бежать или скрываться, хотя его сообщник вот уже четыре дня как сидел за решеткой. В мастерской находился также сын цирюльника, и аудитор приказал арестовать их обоих.

Перерыв приходские книги церкви св. Лаврентия, Верри установил, что несчастный брадобрей

имел, возможно, еще трех дочерей: одну — четырнадцати, другую — двенадцати лет, третьей же едва исполнилось шесть. Сердце наполняется радостью, когда видишь, что этот богатый, знатный, именитый, преуспевающий человек взял на себя заботу отыскать все, что напоминало об этой бедной, темной, забытой, — да что там говорить, — обесчещенной семье и противопоставить слепой ненависти потомства, унаследовавшего от предков нелепую предрассудочность, другие доводы, вызывающие к великодушному и мудрому состраданию. Конечно, неразумно противопоставлять сострадание правосудию, которое вынуждено карать, даже оплакивая свою жертву, и которое не было бы правосудием, если бы взялось устанавливать наказания в зависимости от боли, причиняемой невинным. Но в борьбе с насилием и обманом сострадание — все же веский довод. Ведь не случилось ничего, кроме внезапного испуга жены и матери, кроме пробуждения страха и тревоги в неопытных сердцах девочек, увидавших, как хватают их отца и брата, как вяжут им руки, как толкают их взаперть, словно злодеев, то и этого было бы достаточно, чтобы стать тяжким обвинением против тех, кто не был уполномочен правосудием и не имел даже законного основания поступать таким образом.

Ибо для лишения человека свободы необходимы были, разумеется, улики против него. Здесь же не было ни дурной славы, ни попытки к бегству, ни иска пострадавшего, ни обвинения со стороны заслуживающего доверия человека, ни показаний свидетелей, не было никакого состава преступления, не было ничего, кроме слов предполагаемого сообщника. Но для того, чтобы эти слова, сами по себе ничего не значившие, могли дать судьям основание для возбуждения дела, нужны были многие условия. Большинство из главнейших, как мы имели уже случай заметить, не было соблюдено, то же с полным основанием можно было бы сказать и об остальных. Но в этом нет необходимости, ибо даже при строжайшем соблюдении этих условий, все равно сохранялось бы еще одно обстоятельство, окончательно и бесповоротно лишавшее обвинение закон-

ной силы, а именно то, что последнее явилось следствием обещания безнаказанности. «Свидетельствующему в надежде на безнаказанность, предоставляемую законом или обещанную судом, не оказывают никакого доверия в ущерб другим обвиняемым», — говорит Фариначчи. А Босси добавляет: «Свидетелю можно возразить, что его показания были вызваны обещанием безнаказанности... в то время как свидетельствующий должен говорить искренно, а не в надежде извлечь выгоду... Это относится также к тем случаям, когда по каким-то другим соображениям можно сделать исключение из правила, запрещающего сообщнику свидетельствовать... ибо тот, кто свидетельствует в надежде на безнаказанность, зовется испорченным, недостойным доверия человеком». И это положение никто не оспаривал.

Пока сбирры готовились к обыску, Мора сказал аудитору: «Послушайте, Ваша милость! Я знаю, вы ищете мазь; Ваша милость, взгляните туда: я нарочно приготовил эту баночку для инспектора, но он не зашел за ней; я, слава богу, не нарушал распоряжений, Ваша милость, я ни в чем не виноват; вы можете не вязать мне руки». Бедняга думал, что его обвиняют в изготовлении и незаконной продаже известного снадобья.

В доме все перерыли, заглянули во все горшки, банки, склянки, пузырьки и колбы. (Цирюльники в те времена занимались кровопусканием, а отсюда до врачевания и изготовления снадобий был один шаг.) Две вещи показались подозрительными; и мы, извинившись перед читателем, вынуждены на них остановиться, ибо высказанное при обыске подозрение навело затем несчастного на мысль, дало ему повод оговорить себя под пыткой. Во всей этой истории есть, впрочем, нечто такое, что заставляет нас преодолеть отвращение.

Во время чумы не было ничего странного в том, что человек, общавшийся со многими людьми и особенно с больными, жил по возможности отдельно от семьи. И защитник Падильи делает упор именно на это обстоятельство, отрицая, как мы скоро увидим, установление следствием состава преступления. К тому же чума способствовала падению и без того

низкой чистоплотности отчаявшегося населения. Вот почему в каморке за цирюльной обнаружены, как говорится в протоколе, «два горшка, полные человеческих экскрементов». Один из приставов удивился и заметил (тогда всем разрешалось уличать мазунов), что в доме, наверху, есть отхожее место. Мора ответил: «Я сплю здесь, внизу, и наверх не хожу».

Другое открытие состояло в том, что во дворе нашли «печь со вделанным в нее медным котлом, в котором оказалась мутная жидкость с вязким осадком бледно-желтого цвета, прилипшим к стене, на которую его выплеснули для испытания». Мора сказал: «Это — щелок (бельевая сода)». В протоколе отмечено, что он повторил эту фразу несколько раз, что свидетельствует о том, насколько подозрительной показалась обнаруженная жидкость. Но как же следователи посмели так неосторожно обращаться со столь ядовитым и таинственным зельем? Надо сказать, что ярость заглушила в них страх, являвшийся, в свою очередь, одной из ее причин.

Среди бумаг нашли затем какой-то рецепт, который аудитор отдал в руки цирюльнику, потребовав у него объяснений. Тот разорвал эту бумажку, ибо в суматохе принял ее за рецепт снадобья. Ключки немедленно были подобраны, и мы увидим, как этот ничтожный случай был в дальнейшем использован против несчастного.

В выписке из протокола не говорится, сколько человек было арестовано вместе с цирюльником. Рипамонти утверждает, что в тюрьму отправили всех домашних и слуг: молодых парней, подмастерьев, жену, сыновей и, видимо, даже родственников, если они там были.

Выходя из дома, куда ему не суждено уже было вернуться, из дома, который был обречен на снос до основания, дабы уступить место позорному столбу, Мора воскликнул: «Я ни в чем не виновен, будь я виновен, меня покарал бы бог: после этого зелья я ничего больше не делал, а коли в чем провинился, пощадите».

Его допросили в тот же день, особенно допытывались о щелоке, найденном у него дома, и о его отношениях с инспектором. На первый вопрос он отве-

тил: «Синьор, я ничего не знаю, щелок готовили женщины, спросите у них, они вам все скажут; о щелоке я знал ровно столько, сколько о том, что ужогу сегодня в тюрьму».

Касательно инспектора Мора рассказал, что должен был отдать ему баночку с мазью, и пояснил, из чего она сделана. Других отношений, сказал он, с ним не имел, если не считать, что с год тому назад тот приходил к нему домой и просил его как бродягу оказать ему обычные услуги.

Тотчас же допросили сына. Вот тогда-то бедный парнишка и повторил глупую сплетню о баночке и пере, которую мы приводили вначале. Впрочем, допрос ничего не дал, и Верри замечает в одном из примечаний, что «следовало бы допросить сына цирюльника о щелоке, дабы узнать, как долго последний оставался в котле, из чего готовился и для чего служил, тогда бы дело, возможно, несколько прояснилось». «Но,— добавляет Верри,—кое-кто опасался, что цирюльника не в чем будет тогда обвинить». Вот где собака зарыта!

Однако о том же допросили и несчастную супругу Мора, сказавшую в ответ на разные вопросы, что дней десять — двенадцать тому назад она затеяла стирку, что щелок обычно разводила для хирургических целей, и потому он оказался в доме, но что тот, который был найден, еще не применялся за ненадобностью.

Обнаруженный щелок отдали на экспертизу двум прачкам и трем врачам. Первые сказали, что это щелок, но не такой, как обычно, вторые — что это вовсе не щелок. И те и другие исходили из того, что осадок был клейким и тянулся нитью. «Но разве не естественно,— говорит Верри,— найти в цирюльне, где наверняка стирались салфетки, испачканные кровью и притираниями, какую-то вязкую, жирную, желтую жидкость, к тому же простоявшую несколько летних дней?»

Но в конечном счете и эти поиски ничего не вскрыли, а лишь запутали следствие в противоречиях. И защитник Падильи с полным основанием заключает, что, «читая обвинительный акт, не видишь никакого состава преступления, являющегося

необходимым условием и предпосылкой для обвинения в действиях столь компрометирующих и наносящих непоправимый вред». И далее он отмечает, что установить состав преступления было тем более необходимо, что приписываемый преступлению результат — гибель огромного количества людей — мог быть вызван и естественной причиной. «Ведь из тех же неясных соображений,— продолжает он,— математики в своих построениях, вместо того, чтобы обратиться к житейскому опыту, относили мор за счет дурного расположения звезд, которые в 1630 году не предвещали ничего иного, кроме чумы, и наконец, достаточно было взглянуть на множество славных городов Ломбардии и Италии, обезлюдивших и опустошенных чумой, где вовсе и не помышляли ни о каких болезнетворных мазах». Даже заблуждение приходит здесь на помощь истине, которая, впрочем, в том не нуждается. Но прискорбно видеть, как человек, сделавший это и другие подобные замечания, одинаково годные для доказательства призрачности самого преступления, человек, объяснивший пытками показания, обвинявшие его клиента, в другом месте говорит следующие странные слова: «Следует признать, что злой умысел означенных лиц и их сообщников, их стремление обобрать других и нажиться за чужой счет, как о том свидетельствует означенный цирюльник на стр. 104, подвигнул их на столь страшное преступление против собственной родины».

В уведомительном письме губернатору капитан справедливости так говорит об этом обстоятельстве: «Цирюльник схвачен, у него в доме найдены некоторые снадобья, представляющие весьма подозрительными по заключению экспертов». Подозрительными! Этим словом всякий судья начинает, но не кончает расследование, разве что себе вопреки или испробовав все средства, чтобы докопаться до истины. Ведь если бы никто не знал или не догадывался, какие средства были тогда в ходу и могли применяться, если бы действительно кто-то хотел убедиться в ядовитых свойствах обнаруженной дряни, то человек, возглавлявший следствие, не замедлил бы сообщить об этом. Так, в упоминавшемся ранее

письме, которым трибунал Санитарного ведомства извещал губернатора о великой беде, случившейся 18 мая, когда были измазаны стены города, говорилось также об испытаниях, проведенных с собаками «дабы удостовериться, заразны или нет обнаруженные мази». Но ведь тогда никто не попался под руку, кто бы мог быть подвергнут пытке и чьей смерти требовал бы возмущенный народ.

Но прежде чем окончательно припереть Мора к стене, судьи потребовали от инспектора более ясных и точных показаний, и читатель согласится, что они были необходимы. Его снова вызвали и спросили, истина ли то, что он говорил, и не припомнит ли он чего-нибудь еще. Тот подтвердил свои прежние показания, но не смог ничего добавить.

Тогда ему сказали, что вряд ли между ним и означенным цирюльником не было другого уговора, помимо упомянутого, ибо речь идет о столь серьезном деле, совершение которого не поручают другим людям, предварительно не условившись с ними всерьез и по секрету, а не мимоходом, как он утверждает.

Замечание было правильным, но запоздалым. Почему бы не сделать его раньше, когда Пьяцца посвоему излагал известные нам вещи? И зачем было называть их «истиной»? Неужели чувство истины было у них столь слабым, столь неразвитым, что потребовался целый день, чтобы заметить ее отсутствие? Это у них-то? Совсем наоборот. Оно было у них очень тонким, даже слишком тонким. Разве не сами они не поверили и не поверили сразу же, что Пьяцца ничего не слышал об измазанных стенах на улице Ветра и не знал имен депутатов прихода? Почему же в одном случае они столь дотошны, а в другом — столь доверчивы?

Об этом знали лишь они да всевышний, мы же видим, что они обнаружили отклонения от истины, когда нуждались в предлоге, чтобы подвергнуть пыткам Пьяццу, и не замечали их, когда это было слишком явным препятствием для ареста Мора.

Правда, мы видели, что показания первого, совершенно никчемные, не давали им никакого права на это. Но раз уж они во что бы то ни стало хотели

воспользоваться ими, надо было, по крайней мере, сделать так, чтобы обвиняемый не менял их. Ведь скажи они сразу свое «вряд ли...» и не сумеи Пьяцца вывести их из затруднения, переменив форму своих показаний на менее странную и не противоречащую ранее сказанному (на что было мало надежды), то им пришлось бы выбирать: оставить в покое Мора или арестовать его после того, как они сами, так сказать, опротестовали подобное решение.

Замечание судей сопровождалось ужасным предупреждением: «А посему,— сказали они,— если он не решится сказать все начистоту, как обещал, то может быть уверен, что, преуменьшая свою вину или скрывая все то, что произошло между ним и означенным цирюльником, он лишится обещанной безнаказанности и, наоборот, сохранит ее, если скажет правду».

Из этого видно, и мы об этом говорили выше, какую выгоду могли извлечь судьи из того, что они не обращались к губернатору с просьбой о предоставлении безнаказанности обвиняемому. Ведь будь она предоставлена им самим со ссылкой на королевский авторитет и доверие и имей вид торжественного акта, занесенного в судебное дело, с ней нельзя было бы обходиться с такой легкостью. А слово, данное аудитором, могло быть взято назад кем-нибудь другим.

Заметим, кстати, что просьба о безнаказанности Баруэлло была направлена губернатору 5 сентября, то есть после того, как Пьяцца, Мора и некоторые другие несчастные были преданы казни. Тогда уже можно было не бояться упустить кого-нибудь из них: зверь насытился и не должен был больше рычать столь властно и нетерпеливо.

При этих словах инспектору, упорно не желавшему оставлять своих злосчастных намерений, пришлось сильно призадуматься, но он так и не смог ничего из себя выдать, кроме прежней истории. «Ваша милость,— сказал он,— за два дня до получения мази я встретил означенного брадобрея на улице Порта Тичинезе в компании каких-то трех незнакомцев; увидев меня, он сказал, что припас для

меня мазь, и в ответ на мой вопрос, не даст ли он мне ее сразу, ответил отрицательно и не объяснил, какими свойствами она обладает. Впоследствии, вручая мне мазь, он сказал, что ею следует вымазать стены, чтобы заразить людей чумой, однако я не спросил его, пробовал ли он сам это делать». В сущности, это была та же самая история, если не считать, что сначала он заявил, что цирюльник ничего ему не сказал, а он сам догадался, что означенная мазь ядовита, потом же он добавил, что именно цирюльник сказал ему, «что мазь умерщвляет людей». Незвизрая на это противоречие, его спросили, что за люди шли вместе с означенным цирюльником и как они были одеты.

Кто шел с цирюльником, инспектор не знал, но сказал, что, наверное, соседи Мора. Как они выглядели, он не помнил, но заявил, что все сказанное им — сущая правда. На вопрос, может ли он все повторить на очной ставке, ответил утвердительно. Тогда для того, чтобы смыть с него бесчестье и дать ему возможность обвинить другого несчастного, его вновь подвергли пытке.

Времена пыток, слава богу, довольно далеки, и вышеприведенное утверждение нуждается в объяснении. Римское право предписывало, чтобы «свидетельство гладиатора или другого подобного лица не принималось в расчет без предварительных пыток». В дальнейшем юриспруденция установила категорию людей, считавшихся бесчестными, к которым должно было применяться указанное правило; и преступник, добровольно или поневоле сознавшийся в своей вине, относился именно к этой категории. Вот, следовательно, как понималось утверждение, что пытка очищает от бесчестья. Как человек бесчестный, рассуждали тогда, сообщник не заслуживает никакого доверия, но раз он утверждает какие-то вещи вопреки своим жизненным, насущным интересам, то можно считать истинной то, что заставляет его так говорить. Итак, преступнику, выступающему обвинителем, предлагают либо отказаться от обвинения, либо подвергнуться пыткам. Если он упорствует в своем обвинении, то от слов переходят к делу. Если он упорствует и под пыткой, то его

показания становятся достоверными, ибо пытка очистила его от бесчестия, вернув ему авторитет, которого он не мог иметь в своем прежнем состоянии.

Почему же тогда не заставили Пьяццу подтвердить под пыткой свое первое показание? Тоже для того, чтобы не лишиться свидетельства, весьма невразумительного, но столь необходимого для ареста Мора? Конечно, такое упущение делало арест еще более незаконной операцией, ибо признавалось, что обвинение бесчестного лица, не подтвержденное пыткой, могло дать основание, как и любая другая неполноценная улика, для сбора дополнительных сведений, но не для преследования других лиц. Что же касается порядков, принятых в миланском суде, то вот что о них говорит в весьма общей форме Кларус: «Для того, чтобы показание сообщника могло быть принято на веру, надо было, чтобы он подтвердил его под пыткой, так как, будучи в силу своего преступления лицом бесчестным, преступник не мог быть допущен к свидетельствованию без предварительной пытки, ибо так принято у нас (*et ita apud nos servatur*)».

Была ли, наконец, законной хотя бы та пытка, которой Пьяцца подвергся на последнем допросе? Нет, конечно, и она противоречила закону, ибо была предписана ради подтверждения обвинения, достоверность которого нельзя было доказать никоим образом, так как оно явилось результатом обещанной безнаказанности. Посмотрите, например, как об этом предупреждает их Босси: «Поскольку пытка является непоправимым злом, то лучше воздержаться от напрасного мучительства преступника в подобных случаях, то есть когда отсутствуют другие презумпции или улики преступления».

Но что же это? Закон, выходит, нарушался в обоих случаях, независимо от того, назначалась или не назначалась пытка? Конечно, и нет ничего удивительного в том, что человек, избравший ложный путь, оказывался вдруг перед двумя сразу, из которых ни один не был хорошим.

Впрочем, легко догадаться, что пытка предписанная для того, чтобы заставить преступника пересмотреть обвинение против другого, должна была

оказаться менее действенной, чем та, которая привела его к оговору самого себя. В самом деле, инспекторам не пришлось на этот раз вносить в протокол скорбные восклицания, записывать крики и стоны: обвиняемый спокойно изложил свою прежнюю версию.

Его дважды спросили, почему он не признался сразу, на первых же допросах. Видно, голову им сверлила мысль, а душу томило сомнение, не внушена ли обвиняемому вся эта глупая история обещанием безнаказанности. Тот ответил, что мысли ему замутила вода, которой его опоил цирюльник. Судьям хотелось бы услышать что-либо более толковое, но пришлось удовольствоваться и этим. Они упустили, да что я говорю, обошли, исключили все средства, которые могли привести к раскрытию истины: из двух противоположных выводов, вытекавших из расследования, они остановили свой выбор на одном и прибегали к разным уловкам, чтобы подтвердить его любой ценой. Могли ли они рассчитывать на удовлетворение от найденной истины, к которой человек искренне стремится? Конечно, нет: во тьме легко утаить неприятное, но трудно отыскать желаемое.

Спущенный с веревки, инспектор, пока ему развязывали руки, сказал: «Синьор, мне хотелось бы немного подумать до завтра, после чего я вам скажу все, что еще припомню о нем и о других».

По дороге в темницу он вдруг остановился и сказал: «Мне надо кое-что еще добавить», — и назвал в качестве друзей Мора и людей дрянных и никчемных — некоего Баруэлло и двух точильщиков Джироламо и Гаспаре Мильявакка, отца и сына.

Так несчастный пытался компенсировать числом жертв отсутствие у него каких-либо доказательств. Но разве допрашивающие могли не заметить, что приплетение к этой истории новых лиц лишний раз доказывало, что обвиняемому нечего было сказать? Ведь это они добивались дополнительных обстоятельств, которые сделали бы правдоподобными его показания. И тот, кто создает трудности, вряд ли их не замечает. Но разве все новыми беспочвенными обвинениями или попытками оболгать других

людей подсудимый открыто не заявлял им: вы добиваетесь объяснения факта, но разве это возможно, если самого факта не существует? Но в конце концов, раз уж вам не терпится заполучить новых смертников, так я вам их дам, а вы уж сами постарайтесь добиться от них чего нужно. С кем-нибудь у вас и выйдет, вышло же со мною!

Об этих трех лицах, названных Пьяццей, и о других, которые со временем были названы на том же основании и осуждены с не меньшим хладнокровием, мы будем упоминать, если это окажется необходимым для понимания истории инспектора и брэдорея (всегда считавшихся главными зачинщиками преступления, так как они первыми угодили в лапы правосудия) или если с ними окажется связанным что-либо, заслуживающее особого упоминания. Опуская здесь и далее второстепенные и случайные события, перейдем непосредственно ко второму допросу Мора, состоявшемуся в тот же день.

Помимо вопросов о его снадобье, о щелоке, о ящерицах, которых ловили ему мальчишки для приготовления известного зелья (вопросов, на которые он удовлетворительно отвечал, как человек, которому нечего скрывать или выдумывать), ему предъявили клочки бумаги, которую он разорвал при обыске.

«Да,— сказал он,— это записка, которую я нечаянно разорвал, однако клочки ее можно сложить вместе, чтобы посмотреть, что там написано: и я, наверное, еще вспомню, кто мне ее дал».

Тогда перешли к расспросам такого рода: «Как же так,— спросили его,— при наличии не такой уж большой дружбы между ним и означенным инспектором по имени Гульельмо Пьяцца, что явствует из его предыдущих показаний, указанный инспектор с такой легкостью попросил у него означенное лекарство, а он, подсудимый, с той же легкостью и готовностью вызвался дать ему это лекарство и пригласил за ним зайти к себе домой, как это явствует из других его показаний».

Вот тут-то снова всплыла ограниченность мерки, применявшейся для проверки достоверности показаний. Когда Пьяцца впервые показал, что брэдорея

брей, с которым его связывало «шапочное знакомство», с той же «легкостью и готовностью» предложил ему баночку со смертоносным составом, никто ему на это ничего не возразил. Возражения посыпались лишь тогда, когда другой завел речь о лекарстве.

А ведь человек, искавший, с кем бы ему заключить несложную и честную сделку, конечно, должен был вести себя не так осторожно, как тот, кто ищет сообщника для столь же опасного, сколь и гнусного преступления. И это не открытие последних двух веков. Так нелепо рассуждали не люди в XVII веке, а страсти, которые ими руководили. Мора ответил: «Я сделал это ради денег».

Далее его спросили, знает ли он лиц, названных Пьяццой, он ответил, что знает, но не дружит с ними, ибо «это такие люди, с которыми лучше не иметь ничего общего». У него спросили, известно ли ему, кто измазал стены всего города, он сказал, что нет. На вопрос, не знает ли он, от кого инспектор получил мазь для заражения стен, он снова ответил отрицательно.

Наконец у него спросили, знает ли он о том, что некто искал означенного инспектора и, посулив ему денег, просил его вымазать стены на улице Ветра де Читтадини и что для этого дал ему затем склянку с необходимой мазью. Опустив голову, цирюльник ответил слабым голосом (*flectens caput, et submissa voce*): «Я ничего не знаю».

Быть может, только тогда стал он замечать, в какую чудовищную и нелепую западню могли завлечь его эти вопросы. И кто знает, каким тоном задали ему последний вопрос те, кто так или иначе сомневался в своей правоте и тем более вынужден был делать вид, что знает все, и заранее готов отвергнуть любые записательства. Жесты и выражения лиц не заносились ведь в протокол. Тогда судьи пошли дальше и спросили напрямик, не предлагал ли он, подсудимый, означенному Гульельмо Пьяцце, инспектору Санитарного ведомства, вымазать стены по улице Ветра де Читтадини и не давал ли для этой цели с присовокуплением некой толики денег, склянку с мазью, которую тот должен был употребить.

Тут цирюльник скорей завопил, чем ответил: «Нет, синьор! Бога ради, нет! Нет, во веки веков! Чтобы я занимался подобными делами?» Такие слова, но с разной интонацией, могли произнести как преступник, так и невинный.

Ему ответили: «А что будет, если означенный Гульельмо Пьяцца, инспектор Санитарного ведомства, скажет ему в лицо всю правду?»

И вновь появляется эта злосчастная «правда»! О сути дела знали лишь по показанию предполагаемого сообщника, которому в тот же день заявили, что многое в его рассказе выглядит неправдоподобным. Инспектор, как ни старался, не смог внести в него и тени правдоподобия без того, чтобы не впасть в противоречие, и все же цирюльнику откровенно намекают на какую-то «правду»! Объяснялось ли это, задам я снова вопрос, грубостью эпохи? Варварским состоянием законов? Невежеством? Предрассудками? Или это был один из тех случаев, когда беззаконие само себя разоблачало?

Мора ответил: «Если он скажет мне это в лицо, я отвечу, что он подлец и не имеет права так говорить, ибо никогда, упаси бог, разговору об этом с ним не было!»

Тогда велели привести Пьяццу и в присутствии Мора спросили, верно ли то, верно ли это, словом, все то, о чем он рассказывал. Тот ответил: «Да, синьор, все верно». Бедный Мора завопил: «О, боже, пощади! Ничего этого не было».

Инспектор: «А я говорю, что было, чтобы вам же оказать услугу».

Мора: «Ничего не было, вы никогда не докажете, что бывали у меня в доме».

Инспектор: «Как же не был у вас в доме, когда был, я говорю это для вашей же пользы».

Мора: «Никогда не докажете, что были у меня в доме». После этого обоих отправили обратно, каждого в свою камеру.

Капитан справедливости в неоднократно нами цитированном письме к губернатору так отчитывается о допросе: «Пьяцца решительно заявил цирюльнику в глаза, что в самом деле получил от него означенную мазь, и рассказал, при каких обстоя-

тельствах, в каком месте и в котором часу». Спинола, наверное, подумал, что Пьяцца рассказывал об этих обстоятельствах, а Мора отпирался, хотя «решительное заявление» первого свелось всего-навсего к фразе: «Да, синьор, все верно».

Письмо заканчивается следующими словами: «Принимаются все меры, чтоб отыскать других сообщников или пособников преступления. А пока что я хотел бы держать в курсе дела Ваше превосходительство, которому нижайше кланяюсь и желаю счастливого завершения начатого предприятия». Возможно, были написаны другие письма, но они утеряны. Что же касается начатого предприятия, то пожелание успеха не пошло впрок. Не получив подкреплений и отчаявшись взять Казале, Спинола в сентябре занемог, в том числе от разочарований, и 25 числа того же месяца отдал богу душу, так и не оправдав славного прозвища «сокрушителя городов», утвердившегося за ним во Фландрии, и прошептав по-испански на смертном одре: «Лишиться такой чести!..» До этого с ним поступили еще хуже, назначив на пост, с которым были связаны сплошные хлопоты, тогда как сердце его лежало лишь к ратным подвигам; но как знать, быть может, его сделали губернатором именно поэтому.

На другой день после очной ставки инспектор попросил его выслушать. Его привели в комнату для допросов, где он сказал: «Цирюльник говорит, будто я ни разу не был у него дома. Расспросите-ка, Ваша милость, Бальдассара Литту, проживающего в доме Антиано в квартале св. Бернардино, и Стефано Буццино, красильщика, что живет напротив церкви св. Августина, недалеко от церкви св. Амброджо, и они вам скажут, что я частенько навещался домой и в лавку означенного цирюльника».

Пришел ли он с этим заявлением по собственному почину или оно было ему подсказано судьями? Первая догадка выглядит странно,— и дальнейший ход событий это подтвердит,— вторая же подкрепляется довольно веским соображением. В самом деле, судьи нуждались в предлоге, дабы подвергнуть цирюльника пыткам, а одно из средств, способных, по мнению многих законоведов, придать обвинению

сообщника недостающий вес и сделать его достаточной причиной для назначения пыток, состояло именно в том, чтобы доказать, что между участниками преступления существовали дружеские отношения. Правда, простое приятельство или случайное знакомство тут не годились, ибо «при такой постановке вопроса, — говорит Фариначчи, — любое обвинение сообщника неминуемо вело бы к пыткам обвиняемого, так как обвинитель, как правило, наверняка бывает так или иначе знаком с обвиняемым. Чтобы назначить пытки, требуется наличие тесных и частых общений между участниками, которое оправдывало бы подозрение в преступном сговоре». Поэтому инспектора с самого начала спросили, «не является ли означенный цирюльник другом обвиняемого». Но читатель помнит, что судьи услышали в ответ: «Другом? Да, мы с ним раскланиваемся, поздравляем друг друга с праздниками». Сделанное затем угрожающее приказание ни к чему не привело, и то, в чем они искали средство для выяснения истины, превратилось в непреодолимую трудность. Правда, этот прием не был и никогда не мог быть законным и дозволенным средством: даже самая тесная и несомненная дружба не могла придать вес обвинению, непоправимо перечеркнутому обещанием безнаказанности. Но от этой трудности, как и от многих других, не фигурировавших в деле, просто отмахнулись, хуже обстояло дело с первой, ибо судьи привлекли к ней внимание своими вопросами и надо было как-то выходить из положения. Следствие сообщает о показаниях тюремщиков, сбирров и обвиняемых по другим делам, которых подсаживали к нашим беднягам, «дабы что-нибудь узнать из их разговоров». Поэтому более чем вероятно, что с помощью одного из этих людей инспектору внушили мысль, что его спасение зависит от того, сможет ли он доказать свою дружбу с цирюльником, и что этот несчастный, чтобы как-нибудь не обмолвиться о противоположном, прибегнул к решению, до которого сам ни за что бы не додумался. Ибо сколь ценны были показания обоих свидетелей, на которые он сослался, видно из их изложения. Бальдассаре Литта, будучи спрошен, видел ли он Пьяц-

цу в доме или в лавке Мора, ответил: «Нет, синьор». Стефано Буццио в ответ на вопрос, не знает ли он, был ли Пьяцца в дружбе с цирюльником, сказал: «Может, и был, может, и кланялись они друг другу, но я этого не могу сказать Вашей милости». Будучи спрошен снова, известно ли ему о посещении озпаченным Пьяццой дома или лавки цирюльника, он ответил: «Не могу знать, Ваша милость».

Судьи захотели затем выслушать другого свидетеля для проверки одного обстоятельства, о котором говорил Пьяцца в своем показании, а именно, что некий Маттео Вольпи слышал, как цирюльник якобы сказал ему: «Мне надо кое-что дать вам». Будучи об этом спрошен, Вольпи, не только заявил, что ему ничего не известно, но, возмущенный «порицанием» судей, решительно заявил: «Клянусь вам, что я никогда не видел, чтобы они говорили друг с другом».

На следующий день, 30 июня, цирюльника вновь подвергли допросу. Вряд ли вы догадаетесь, с чего его начали.

«Чем вы объясните, обвиняемый,— сказали ему,— что на предыдущем допросе, при встрече с Гульельмо Пьяццой, инспектором Санитарного ведомства, вы утверждали, будто едва с ним знакомы, отрицали, что он бывал у вас дома, о чем, напротив, вам было заявлено в глаза самим инспектором? На первом же допросе вы показали, что прекрасно его знаете, о чем говорят и другие свидетели в своих показаниях. Это явствует также из той готовности, с какой вы предложили инспектору изготовить баночку с лекарством, о чем вы говорили на предыдущем допросе».

Мора ответил: «Это правда, что инспектор часто проходит мимо моей цирюльни, но он не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему дому».

Ему возразили, что это не только противоречит его первому показанию, но и показаниям других свидетелей...

Комментарии здесь излишни.

Хотя судьи и не посмели его подвергнуть пытке на основании показаний Пьяццы, но что они сделали? Они вновь прибегли к обвинению в сокрытии

истины и, что самое невероятное, обвинили цирюльника в том, что он отрицает свою дружбу с Пьянцой и что тот приходил к нему на дом, хотя сам обещал ему снадобье! И во-вторых, что он не мог удовлетворительно объяснить, почему он разорвал записку. Ибо Мора продолжал утверждать, что он сделал это нечаянно, не думая о том, что подобная мелочь могла занимать правосудие. Быть может, бедняк и в самом деле боялся навредить себе признанием, что он пытался скрыть доказательство своих противозаконных действий, или, быть может, не отдавал себе отчета в том, что он натворил в первые минуты растерянности и страха. Но как бы то ни было, клочки разорванной записки были под рукой у судей, и, если бы они считали, что в ней таится нечто важное, могли бы сложить их и прочитать написанное без помехи: тот же Мора подсказал им этот выход. Вряд ли к тому же можно поверить, что они этого уже не сделали.

Итак, они приказали цирюльнику сказать под страхом пытки всю правду по этим двум пунктам. Тот ответил: «Про записку я уже все рассказал, а инспектору ничего не давал, что бы он там ни говорил, лишь бы опорочить мое имя».

Мора полагал (и разве не было у него на то оснований?), что в этом-то и заключалась та правда, которой от него добивались, но не тут-то было, сударь! Ему возразили, что его спрашивают не об этом и что пока что требуется только сказать, с какой целью он разорвал означенную записку, почему отрицает, что означенный инспектор бывал у него в лавке, и почему притворяется, будто с ним почти не знаком.

Не думаю, чтоб можно было легко найти другой пример столь наглого и беззастенчивого пренебрежения законными порядками. Судьи явно не имели никакого права подвергать обвиняемого пыткам на основании главного, вернее, единственного обвинения, а потому старались сделать вид, что для этого есть другое основание. Но фиговый листок беззакония слишком мал, чтобы прикрыть наготу в одном месте, не обнажив ее в другом. Теперь стало еще ясней, что для применения силы у судей не было

нных оснований, кроме двух гнуснейших выдумок: одна из них была разоблачена ими самими, ибо они не захотели познакомиться с содержанием записки, другая выглядела явной придижкой или даже хуже того, в силу тех свидетельств, с помощью которых пытались выдать ее за законную улику.

Нужно ли еще о чем говорить? Да подтверди даже свидетели второе показание Пьяццы в отношении столь незначительного и второстепенного обстоятельства и не будь все это связано с безнаказанностью, все равно показание Пьяццы не могло считаться законной уликой. «Показания сообщника, меняющего свои показания, впадающего в противоречие с самим собой и являющегося посему также и лжесвидетелем, не могут служить оправданием применения пыток или даже дознания с пристрастием в отношении других обвиняемых, и в этом, можно сказать, состоит признанное всеми законоведами правило».

Цирюльника же подвергли пыткам!

Несчастный не обладал крепостью своего клеветника. Однако и пытками до поры до времени из него ничего нельзя было выжать, кроме просьб о сострадании и уверений в том, что он сказал правду. «Боже мой! — кричал он, — знать я не знаю никакого инспектора и никогда с ним не знался; и нечего мне о нем сказать... Ведь это все враки, что он бывал у меня дома или заходил ко мне в лавку. Сжальтесь, я умираю! Боже, пощадите! Я разорвал записку, потому что думал, что это рецепт моего снадобья... потому что хотел на нем зарабатывать сам».

«Этого нам недостаточно», — сказали ему. Он стал молить спустить его с веревки, обещая сказать правду! Его опустили вниз, и он заявил: «Говорю вам по правде, не было у меня с инспектором никакой дружбы». Его подвергли новым, еще более сильным пыткам. И тогда на безжалостные домогательства своих мучителей несчастный ответил: «Хорошо, ваша милость, я скажу все, что вы пожелаете». То же самое сказал Филот своим истязателям, пытавшим его по приказу Александра Великого

(«а сам Александр слушал его, спрятавшись за занавесом»): *dic quid me velis dicere*, а сколько других несчастных давало, наверное, такой же ответ!

Наконец, когда мучение оказалось сильней нежелания поговаривать на себя небылицы, сильней ужаса перед мыслью о казни, Мора сказал: «Да, я дал инспектору склянку с отваром, вернее с дерьмом, дабы он помазал им стены в городе. Но умоляю, Ваша милость, велите спустить меня вниз и я скажу вам всю правду».

Так удалось заставить цирюльника подтвердить подозрения сбирра, как в свое время Пьяцу — домыслы вздорной бабенки, но если во второй раз это было сделано с помощью незаконной пытки, то в первый — с помощью незаконно обещанной безнаказанности. Оружие взяли из арсенала правосудия, но удары наносили нечестно, без всяких правил.

Убедившись, что муки произвели долгожданный эффект, истязатели не уступили мольбам несчастного, заклинавшего их поскорей отпустить его, а, напротив, велили ему «говорить».

И тот сказал, что он разбавлял человеческие испражнения щелоком (содой; вот вам и результат обследований котла, так тщательно начатых и столь коварно брошенных на половине), что об этом-де просил его инспектор, собиравшийся измазать дома, и что к означенному составу он добавлял гной из уст умерших, которых вывозили из города на телегах. Но даже и эта подробность была придумана не им. На одном из последующих допросов на вопрос, у кого он научился делать указанный состав, Мора ответил: «Люди говорили, что для этого нужно было достать гной из уст умерших, я же додумался добавить к нему щелок и кал». Он мог бы ответить: «У вас же, моих мучителей,— вот у кого я научился делать этот состав: у вас самих, да еще у черни».

Но здесь возникает одно весьма странное обстоятельство. Чем объяснить, что Мора сделал признание, которого от него не только не требовали, но и вовсе исключили из круга задаваемых вопросов? Ведь сказано же ему было, что его спрашивают не об этом, ибо дело не в этих подробностях... Раз уж

муки вынуждали его лгать, то логично было бы предположить, что его выдумки не должны были, по крайней мере, выходить за рамки задаваемых вопросов. Он, к примеру, мог бы сказать, что уже давно дружит с инспектором: мог бы придумать невесту какую невероятную причину, заставившую его порвать записку, но зачем же было наговаривать на себя больше, чем требовалось? Быть может, когда он был в подавленном состоянии, ему подсказали другой способ избавиться от пыток? Быть может, его подвергали допросам, не отмеченным в следственных делах? Если бы это было так, то обманутыми могли бы оказаться мы, говоря, что в свое время судьи обманули губернатора, уверив его в том, что Пьяццу допрашивали до пыток. Но если раньше мы не выдвигали подозрения о том, что ложь таится скорее в следственном процессе, чем в письме, то просто потому, что не имели для этого достаточных оснований. Теперь же невозможность принять на веру новое весьма странное обстоятельство почти заставляет нас высказать ужасное предположение в добавление ко многим другим не менее ужасным вещам. Мы стоим, повторяю, перед выбором: либо поверить тому, что Мора взял да и обвинил себя в чудовищном преступлении, которого он не совершал и за которое его ждала страшная казнь, либо предположить, что расследователи, убедившись на деле в отсутствии у них достаточных оснований, чтобы подвергнуть обвиняемого пыткам и заставить его признаться в преступлении, воспользовались другим предлогом, чтоб вырвать у него под пыткой необходимое признание. Предоставим читателю сделать выбор по своему усмотрению.

Последовавший за пыткой допрос являл собой, со стороны судей, как и допрос инспектора после обещания ему безнаказанности, смешение или, вернее, противопоставление хитрости безрассудству, нагромождение нелепых вопросов, отказ от ходов, явно подсказываемых делом и властно диктуемых правовой наукой.

Выдвинув принцип, что «никто беспричинно не совершает преступлений», и признавая, что «многие слабовольные люди сознавались в проступках, от

которых по вынесении приговора или в момент наказания полностью отрекались и что иногда, хоть и слишком поздно, выяснялась их полная к ним непричастность», законоведение постановило, что «признание обвиняемого не имеет веса, если не ясна причина его преступления или если она представляется недостаточно правдоподобной и веской по сравнению с самим преступлением».

Итак, несчастный Мора вынужден был сочинять все новые небылицы, чтоб как-то подкрепить версию, грозившую ему ужасной казнью. Он заявил на допросе, что слюну умерших от чумы ему поставлял инспектор, предложивший совершить преступление, и что причиной, заставившей того сделать, а его принять это предложение, было то, что, заразив таким образом множество народу, оба смогли бы быстро нажиться — первый в качестве санитарного инспектора, второй — путем продажи своего снадобья. Излишне напоминать читателю, что между чудовищностью и опасностью подобного преступления и размером предполагаемого заработка (которому, впрочем, немало способствовала сама природа) было очевидное несоответствие. Но даже если поверить, что судьи, только потому, что они были судьями XVII века, не замечали этого противоречия и что подобная причина казалась им правдоподобной, то в ходе дальнейшего расследования мы увидим, как они сами докажут обратное.

Кроме того, чтобы согласиться с причиной, выставленной цирюльником, надо было преодолеть одну более существенную и конкретную, если не более сильную трудность. Читатель, вероятно, помнит, что инспектор, оговорив самого себя, также пытался объяснить причины, побудившие его совершить преступление. Он утверждал, что цирюльник сказал ему: «Измажьте стены мазью, а потом приходите ко мне, я вам отвалю пригоршню монет», или, как он позднее добавил, «добрую пригоршню монет». Итак, перед нами два объяснения одного и того же преступления: оба они не только не вяжутся между собой, но и исключают друг друга. Речь идет об одном и том же человеке, который, по одной версии, щедро предлагает деньги, дабы заполу-

чить помощника, по второй — соглашается на преступление в надежде на нищенский заработок. Забудем на минуту обо всем, что было установлено до сих пор: о том, как возникли обе версии, какими средствами были вырваны оба признания. Рассмотрим дело так, как оно тогда представлялось. Задумаемся над тем, как поступили бы тогда судьи, которым страсти не туманили бы ум, не притупляли бы совесть? Они, вероятно, ужаснулись бы, что зашли (быть может, невольно) так далеко, но утешились бы мыслью, что время еще есть, что не все еще потеряно, что, по счастью, они удержались на самом краю пропасти. Они, несомненно, ухватились бы за упомянутое противоречие, постарались бы размотать запутанный клубок, употребив для того все свое искусство, все свое рвение, все свое умение докапываться до истины. Они прибегли бы к сопоставлению показаний и не двинулись бы с места, пока не узнали (и вряд ли это было трудно), кто из двух говорит неправду и не врут ли оба. Наши же следователи, услышав от Мора, что инспектор на больных, а он на продаже снадобья неплохо бы заработали, спокойно двинулись дальше.

Всего вышесказанного, пожалуй, достаточно, чтобы остановиться лишь бегло и кратко на окончании этой истории.

Будучи спрошен, замешан ли кто еще в их заговоре, Мора ответил: «Наверное, Пьяцца привлек кого-нибудь из своих друзей, но я их не знаю». Ему возразили, что вряд ли правдоподобно, что он их не знал. При звуке этого слова, ужасного предвозвестника пытки, бедняга не медля, самым категорическим образом, признал, что «это были оба точильщика и Баруэлло», то есть лица, которые были названы и, следовательно, ему подсказаны на предыдущем допросе.

Далее он рассказал, что держал ядовитую смесь в печке, то есть там, где они и думали, объяснил, как ее он готовил, и в заключение добавил, что остаток мази он выбросил на площадь Ветра. Трудно удержаться от того, чтобы не привести замечания Верри по этому поводу: «Вряд ли бы он

так легко ее выбросил на улицу после ареста Пьяццы».

Рассеянно отвечал он на другие вопросы по поводу места, времени и о других подобных обстоятельствах, о которых его спрашивали, словно речь шла о вещах несомненных и доказанных по существу и не хватало только некоторых подробностей. Под конец его снова подвергли пытке для того, чтобы его показания можно было использовать против названных лиц, и в особенности против инспектора. Последнего в свое время тоже пытали, чтобы придать вес показаниям, от начала до конца противоречившим нынешним. Тут уж вряд ли можно сослаться на тексты законов или мнения правоведов, ибо, по правде говоря, такой случай не был предусмотрен правоведением.

Признание, вырванное под пыткой, не имело веса, если не подтверждалось преступником через несколько дней, в спокойном состоянии, вдали от ужасного орудия пыток. Таковы были требования науки, пытавшейся, по возможности, сделать естественным вырванное силой признание и тем самым как-то примирить здравый смысл, слишком отчетливо твердивший, что слова, рожденные в муках, не заслуживают доверия, с римским правом, освящавшим пытки. Кстати, обоснование этих предупредительных мер толкователи извлекали из самого закона, а именно из следующих необычных слов: «Пытка есть вещь ненадежная и опасная, она часто вводит в заблуждение, ибо многие, сильные телом и духом, держатся так стойко, что от них невозможно добиться истины и с помощью пыток, другие же столь нетерпимы к боли, что готовы наговорить на себя все, что угодно, лишь бы избежать мучений». Я говорю: необычных слов, ибо они содержались в законе, признававшем пытку, а чтобы яснее понять, почему из этого никаких других выводов не делалось, кроме того, что «пыткам не следует особо доверять», следует вспомнить, что вначале закон этот касался одних лишь рабов, которые в дикую и развращенную эпоху язычества считались вещами, а не людьми, и над которыми дозволялось поэтому проводить любые опыты, тем более, что пытали их

для раскрытия преступлений свободных людей. Новые интересы новых законодателей привели к распространению этого закона и на людей свободных, а сила авторитета римского права оказалась настолько велика, что он на много столетий пережил породившее его язычество: не редкий, но замечательный пример того, как принятый однажды закон может выйти далеко за пределы своей эпохи и пережить ее.

Итак, днем позже, для соблюдения указанной формальности, цирюльника вызвали снова на допрос. Но так как судьи всячески старались запугать, запутать, обвести обвиняемого вокруг пальца, то его не стали спрашивать, намерен ли он подтвердить свои показания, а спросили, не хочет ли он что-нибудь добавить ко вчерашним показаниям, сделанным им по прекращении пыток. Итак, все сомнения были отмечены: юридическая практика требовала поставить под вопрос показания, данные под пыткой, они же в них не сомневались и требовали лишь их усиления.

Но за это время (едва ли он отдыхал?) сознание невинности, страх перед наказанием, мысли о жене и детях вернули, возможно, бедному Мора надежду, что он может выдержать новые пытки, и он ответил: «Нет, синьор, мне нечего добавить, а кое-что придется изменить». Судьям пришлось его спросить, что же он хочет изменить? Тогда он высказался яснее, как бы набираясь мужества: «У нас с вами был разговор о ядовитой мази, но я ее вовсе не делал, все же, что я наговорил вам, я наговорил из-за пыток». Ему тотчас же пригрозили новыми пытками, даже не разобравшись (и это помимо прочих явных нарушений процедуры) в противоречиях между ним и инспектором, то есть совсем не отдавая себе отчета в том, предписывались ли новые пытки на основе его признания или же признания инспектора, пытали ли его как сообщника или как главного преступника, был ли он подстрекателем или его самого подстрекали на преступление, хотел ли он щедро заплатить за преступное деяние или сам рассчитывал нажить на нем жалкие крохи.

В ответ на угрозу Мора вновь заявил: «Подтверждаю, что все, мною сказанное вчера,— неправда, из меня ее выжали пытками». Затем он сказал: «Ваше превосходительство, позвольте мне прочитывать Ave Maria, и я скажу вам все, что положит мне на душу бог». Он преклонил колени перед распятием и стал молиться Тому, кто должен был потом судить его судьей. Поднявшись через несколько минут, он заявил судьям, добивавшимся от него подтверждения прежних показаний: «По совести говоря, все неправда». После того как его снова отправили в застенок, жестоко связали, не позабыв о шнуровании пальцев, несчастный сказал: «Ваше превосходительство, не допрашивайте меня больше с пыткой, ибо от сказанного вам мне не хотелось бы отрекаться». Когда его развязали и препроводили в комнату для допроса, он повторил: «Все, что я говорил,— неправда». Его вновь подвергли пыткам, и тогда он выложил все, чего от него добивались, но так как перенесенные муки окончательно лишили его остатков мужества, он не отступал уже больше от своих слов, заявил, что готов подтвердить свое прежнее признание, и не захотел даже, чтобы ему его зачитали. Судьи на это не пошли, желая скрупулезно соблюсти уже никому не нужную процедуру, хотя сами они нарушили гораздо более важные и положительные предписания закона. Выслушав протокольную запись, Мора сказал: «Все верно».

После чего, утвердившись в намерении не продолжать без пыток расследование, дабы не создавать себе дополнительных трудностей (против чего открыто выступал сам закон и что хотели запретить еще Диоклетиан и Максимиан!), они наконец решили поинтересоваться, не имел ли он других целей, кроме заработка на продаже снадобья. Тот ответил: «Откуда я знаю, что до меня, то других целей у меня не было».

«Откуда я знаю!» Кому, как не ему, было знать, что творилось в его собственной душе? И все же эти столь странные слова как нельзя лучше подходили к обстоятельствам: вряд ли бедняге удалось бы найти выражения, которые яснее бы показали,

что он тем самым предал, так сказать, самого себя и согласился повторять, отрицать или подтверждать все то и только то, что хотелось тем, кто страдал его орудиями пытки.

Судьи двинулись дальше и сказали ему, что весьма неправдоподобно, чтобы из одного желания доставить больше работы инспектору и дать возможность самому обвиняемому заработать на снадобье, они решились путем заражения стен и дверей уморить столько народу,— пусть поэтому обвиняемый скажет, с какой целью и по какой причине они замыслили дело, которое не вершат с такой легкостью.

Только сейчас появляется это противоречие? Выходит, что обвиняемого запугивали и не раз пытали, чтобы заставить подтвердить бессмысленное признание! Сделанное замечание, повторяю, было верным, но запоздалым: аналогичные обстоятельства заставляют нас говорить почти теми же словами. Как в свое время они не замечали противоречий в словах Пьяццы, пока, воспользовавшись ими, не арестовали Мора, так и сейчас они не замечали несообразностей в показаниях цирюльника, пока не вырвали у него подтверждения, ставшего в их руках достаточным средством для осуждения обвиняемого. Можно ли предположить, что они действительно ничего не замечали до самого последнего момента? Чем же тогда объяснить, как пазвать действия судей, признавших верными эти свидетельства вопреки сделанному ими самим замечанию? Быть может, Мора дал более удовлетворительный ответ, чем Пьяцца? Ответ Мора состоял в следующем: «Если этого не знает инспектор, то откуда знать мне, пусть инспектор подумает и все скажет Вашей милости, ибо он зачинщик этого дела». Нетрудно заметить, что обвиняемые сваливали вину друг на друга не столько для того, чтобы уменьшить свою ответственность, сколько для того, чтобы уйти от объяснения необъяснимых вещей.

Получив вышеуказанный ответ, судьи объявили цирюльнику, что поскольку он, обвиняемый, изготовил означенное снадобье и мазь по сговору с означенным инспектором и передал его последнему для

заражения стен домов изложенным им, обвиняемым, и означенным инспектором способом с целью распространения мора среди жителей города и поскольку означенный инспектор признался в том, что в этих целях он проделал все вышеупомянутое, то он, обвиняемый, признается виновным в истреблении людей означенным способом и в силу своих поступков подверженным наказанию, предусмотренному законами для людей, совершающих или пытающихся совершить подобные деяния.

Подведем итоги. Судьям надо знать, как решился цирюльник на столь тяжкое преступление, если им руководили столь мизерные интересы? Мора им в ответ: «Пусть вам растолкует инспектор, он-то все знает и про себя, и про меня», — то есть отсылает их к другому за объяснением своих внутренних побуждений, дабы они могли уяснить себе, что за неведомая причина оказалась способной толкнуть его на столь ужасное решение. К другому, но к кому? К человеку, который отнюдь не признает соображений цирюльника, ибо объясняет преступление совсем другой причиной. Судьи же считают, что помехи устранены, что преступление, в котором признался Мора, не вызывает больше сомнений, и уверяются в этом настолько, что признают его виновным.

Конечно, отнюдь не невежество мешало им разглядеть отсутствие правды там, где ее не было, и не юриспруденция заставляла их так обращаться с нормами, установленными и предписанными самой юриспруденцией.

ГЛАВА V

Обещанием безнаказанности и пытками удалось получить два разных объяснения одного и того же преступления, и хотя судьям этого показалось достаточным для вынесения двух приговоров, посмотрим все же, как они трудились, чтобы по возможности слить воедино обе истории. Давайте наконец посмотрим, обнаружилось ли в самом деле, что судьи приняли на веру эту версию.

Сенат одобрил решение своих представителей и дал ему дальнейший ход. «Заслушав все, что вытекало из признания Джанджакомо Мора,— говорилось в его постановлении,— обсудив его предыдущие поступки и взвесив всевозможные обстоятельства»,— кроме наличия двух главных виновников одного и того же преступления, двух различных побудительных причин и взаимоисключающих фактических показаний,— «сенат постановил подвергнуть означенного Мора повому тщательному допросу, но без пыток, дабы заставить его лучше объяснить свое признание и выдать других участников, сообщников и пособников преступления и, когда после нового расследования он правдивым рассказом признает себя виновным в изготовлении смертоносной мази и в передаче ее Гульельмо Пьяцце, предоставить ему срок в три дня для своей защиты. Что же касается Пьяццы, то его надлежит допросить, не имеет ли он добавить чего-либо нового к своему признанию, выглядевшему неполным, и в случае отказа, признать виновным в применении означенной мази и дать ему такой же срок для защиты». Другими словами, предписывалось извлечь все, что возможно, из того и другого, но в любом случае оба признавались виновными, каждый на основании собственного признания, хотя одно противоречило другому.

Допрос Пьяццы начали в тот же день. Добавить ему было нечего; он и не догадывался, что судьям стало известно что-то новое. Быть может, обвиняя невинного, он не предполагал, что создает себе обвинителя. Его спросили, почему он не сознался в том, что поставлял цирюльнику слюну умерших от чумы, необходимую для изготовления мази. «Ничего я ему не давал»,— ответил тот в тщетной надежде, что люди, поверившие неправде, поверят и правде. Расспросив его и так и эдак, ему заявили, что за отказ сказать обещанную правду он больше не может и не должен пользоваться предоставленной ему безнаказанностью. Тогда он тут же заявил: «Правда, синьор, означенный цирюльник просил меня достать ему указанную вещь, и я принес ему ее для изготовления означенной мази». Соглашаясь со

всем, обвиняемый еще надеялся оградить свою безнаказанность. Далее, то ли для того, чтобы придать себе больше важности, то ли для того, чтобы выиграть время, он добавил, что деньги, обещанные ему цирюльником, должны были быть получены от одного «большого человека» и что он узнал об этом от самого цирюльника, который, однако, остерегался назвать его имя. Пяцце явно не хватало времени, чтобы придумать какое-нибудь имя.

На следующий день об этом спросили Мора, и бедняга, возможно, что-нибудь и придумал бы, как это не раз случалось прежде под пыткой. Но как мы знаем, сенат в этот раз запретил применение пыток, быть может, для того, чтобы признание обвиняемого, подтверждения которого добивались судьи, выглядело не столь явно вынужденным. Поэтому в ответ на вопрос: «Разыскивал ли обвиняемый сам означенного инспектора... и обещал ли ему кучу денег?»— Мора ответил: «Нет, синьор, да и откуда, Ваша милость, взять мне кучу денег?» В самом деле, они могли бы вспомнить, что вся личность, обнаруженная при тщательном обыске, произведенном у обвиняемого при аресте, состояла в пяти грошах (двенадцати с половиной сольди), спрятанных в глиняном горшке. Будучи спрошен о «большом человеке», Мора ответил: «Ваша милость, вы же не хотите ничего другого, кроме правды, а правду и даже больше я вам сказал, когда меня пытали».

В двух извлечениях из протокола ничего не сказано о том, подтвердил ли обвиняемый свое прежнее признание; если же, как надо полагать, его и заставили это сделать, то в вышеприведенных словах заключался протест такой, быть может, не осознанной им силы, которая не должна была укрыться от судей. Между прочим, для всех законоведов, от Бартоло, даже от Глоссы, до Фариначчи, было и оставалось всегда общим правилом и аксиомой юриспруденции положение о том, что «признание, вырванное пытками, примененными без законных оснований, является бесполезным и недействительным, даже при тысячекратном его подтверждении

обвиняемым без пыток: *«etiam quod millies sponte sit ratificata»*.

После чего ему и Пьяцце были предъявлены, как тогда говорили, результаты следствия (то есть зачитали обвинительный акт) и положили срок в два дня для защиты, почему-то на день меньше, чем постановил сенат. И тому и другому назначили защитника, однако защитник Мора от него отказался. Верри предположительно связывает это с причиной, к сожалению, не слишком необычной в этом стечении обстоятельств. «Ярость толпы,— говорит он,— достигала в те времена такой степени, что защита несчастной жертвы считалась позорящим и дурным делом». Но в печатном извлечении, которое Верри, должно быть, не видел, отмечена подлинная причина, не менее, пожалуй, странная, а с другой стороны, еще более отвратительная. В тот же день, второго июля, нотариус Маури, будучи вызван для защиты Мора, заявил: «Я не могу принять поручения, во-первых, потому, что я нотариус по уголовным делам, не уполномоченный брать на себя защиту, а во-вторых, не являюсь ни прокурором, ни адвокатом; поговорить с ним я поговорю, чтобы доставить вам удовольствие, но защищать его отказываюсь». Человеку, обреченному на казнь (и какую казнь! среди скольких мучений!), человеку, лишенному связей и изворотливости, которому, кроме них, не на кого было положиться, давали в качестве защитника чиновника, вовсе не подходившего для подобной роли и даже не имевшего на нее права! Вот с каким легкомыслием велось дело! Если, конечно, исходить из того, что тут не было злого умысла. Тогда-то низшему чину пришлось призвать их к соблюдению известнейших правил, составляющих святую святых правопорядка!

После разговора с обвиняемым нотариус сообщил: «Я разговаривал с Мора, который открыто мне заявил, что он ни в чем не виновен и что все сказанное им — следствие пыток, но так как я не скрывал, что не хочу и не могу взять на себя его защиту, он просил г-на Председателя удостоить его другим защитником и не дать ему умереть

беззащитным». Вот о каком снисхождении и какими словами невинность молила коварство! Цирюльнику все же дали другого защитника.

Защитник же, выделенный для Пьяццы, прибыв в суд, устно попросил показать ему дело клинта; по получении его он с ним ознакомился. Ограничивались ли этим полномочия, предоставляемые защите? Не всегда, потому что адвокат Падилья, ставшего, как мы скоро увидим, конкретным воплощением «большого человека», ни с того ни с сего приплетенного к этой истории, получил дело в свое распоряжение и потому смог сделать из него обширные выписки, тем самым дав нам возможность познакомиться с ним.

По истечении указанного срока оба несчастных попросили об отсрочке. Сенат предоставил им весь следующий день, но не больше. Материалы в защиту Падильи подавались трижды: сначала 24 июля 1631 года, когда они были приняты «без ограничения возможности представить позднее остальные», — затем 13 апреля 1632 года и, наконец, последняя часть — 10 мая того же года: к тому времени Падилья отбыл в тюрьме уже около двух лет. Для человека невинного подобная медлительность была невыносимой, но по сравнению с поспешностью, проявленной в отношении Пьяццы и Моры, для которых только казнь длилась долго, она выглядела явной поблажкой.

Казнь, однако, отложили из-за новой выдумки Пьяццы. Отсрочка длилась несколько дней, полных обманчивой надежды и вместе с тем жестоких пыток и новых пагубных наветов. Аудитору Санитарного ведомства было поручено выслушать под большим секретом и в отсутствии нотариуса новое показание инспектора. На этот раз сам Пьяцца попросил о свидании через своего защитника, дав понять, что ему нужно кое-что сказать по поводу «большого человека». Возможно, он считал, что если в сеть, куда легко угодить, но откуда нелегко выбраться, удастся заманить крупную рыбу, то, выбираясь из сети, она проделает в ней дыру, через которую улизнет и мелочь. И поскольку среди множества разных предположений, вызванных слухами

о мазунах, испачкавших стены города 18 мая (сама суровость приговора в значительной мере объяснялась возмущением, страхом, гнетущим впечатлением от этого события; и насколько же подлиннее творцы переполоха были виновнее, чем они сами сознавали!), высказывалось также мнение, что во всем виноваты испанские офицеры, то несчастный выдумщик и здесь нашел, за что зацепиться. А то, что Падилья был сыном коменданта замка и имел, следовательно, в его лице защитника, который ради его спасения мог расстроить весь процесс, явилось, видимо, той причиной, которая побудила Пьяццу назвать именно его, а не другого, хотя тот и не был единственным испанским офицером, которого он знал, в том числе и по имени. После допроса инспектора снова вызвали для официального подтверждения показания. Во время предыдущего допроса он утверждал, что брадобрей не хотел назвать по имени «большого человека». Теперь же он говорил совсем другое. Чтобы как-то сгладить противоречие, он сказал, что тот назвал его не сразу. «Наконец, через четыре или пять дней, он мне сказал, что «большой человек» — это некий Падилья, чье имя я запомнил, хотя он мне его назвал, но я знаю и хорошо помню, что речь шла именно о сыне господина коменданта Миланского замка». О деньгах, однако, он сказал, что не только не получал их от цирюльника, но и не знает, получил ли тот их от Падильи.

Пьяццу заставили подписать протокол, и тут же, как говорится в судебных актах, направили оный с аудитором Санитарного ведомства к губернатору, несомненно, с целью испросить у него в случае необходимости согласие на передачу гражданским властям Падильи, бывшего капитаном кавалерии и находившегося в то время вместе с армией под Монферрато. По возвращении аудитора Пьяццу снова заставили подтвердить свое показание, после чего судьи вновь набросились на несчастного Мора. В ответ на требования сознаться, что он обещал деньги инспектору, говорил ему «о большом человеке» и даже назвал имя последнего, Мора сказал: «Этого никогда не было, если бы я об этом знал, то

признался бы в этом по совести». Тогда устроили новую очную ставку и спросили у Пьяццы, правда ли, что Мора обещал ему деньги, заявив, что все это делалось по приказу и поручению Падильи, сына господина коменданта Миланского замка. В дальнейшем защитник Падильи вправе будет заметить, что под предлогом очной ставки цирюльнику внушили то, что хотели от него услышать. В самом деле, если бы судьи не прибегли к этому или другому подобному способу, им вряд ли удалось бы выжать из брадобрея это имя. Пытка могла сделать его лжецом, но никак не провидцем.

Пьяцца подтвердил все то, что он сказал на допросе. «И вам не совестно так говорить? — воскликнул Мора. «Не совестно, потому что это правда, — бесстыдно заявил несчастный, — а правда глаза колет, но вам-то хорошо известно, что вы об этом говорили мне у двери вашей лавки». Мора, который надеялся, быть может, оправдаться с помощью защитника, теперь почувствовал, что пытками от него снова добьются нужного признания. Он не нашел в себе сил, чтобы вновь попытаться опровергнуть ложь истиной. «Делать нечего, — только и сказал он, — из-за вас я погибну!»

Действительно, как только Пьяццу отправили обратно, цирюльнику приказали сказать, наконец, всю правду. Но не успел он промолвить: «Сударь, я сказал всю правду», — как ему пригрозили пыткой, потребовав «говорить лишь то, что никак не отразится на вещах, уже установленных показаниями и признаниями». Это была обычная формула, но ее применение в данном случае показывает, насколько стремление осудить несчастную жертву лишило судей способности рассуждать. В самом деле, как могло признание о деньгах, обещанных им Пьяцце и полученных якобы от Падильи, не поколебать признания о том, что его склонил к преступлению Пьяцца, обольстив надеждой заработать на продаже снадобья?

Вздернутый на дыбу, цирюльник сразу же подтвердил все, что наговорил инспектор, но поскольку судьям этого было мало, он добавил, что Падилья действительно предложил ему изготовить «мазь для

заражения ворот и стен» и обещал взамен сколько угодно денег, которые тут же отсчитал по его просьбе.

Нам, не боящимся заразных мазей, не злобствующим на вымышленных преступников и не питающим в сердце ненависти к невинным, отчетливо видно, как добились такого признания и чем оно было вызвано. Но нуждайся мы в подтверждении нашего мнения, достаточно было бы обратиться к заявлению самого цирюльника. Среди многих свидетельств, которые смог собрать защитник Падильи, фигурирует также показание некоего капитана Себастьяно Горини, сидевшего в то время (неизвестно, по какой причине) в той же тюрьме и часто разговаривавшего со слугой аудитора Санитарного ведомства, приставленным для надзора за несчастным цирюльником. Вот что он показал: «Означенный служитель, сразу же по возвращении цирюльника с допроса, сказал мне, знаю ли я, что означенный брадобрей признался ему, что на допросе он наклепал (наговорил) на синьора дона Джованни, сына коменданта замка? Услышав это, я изумился и спросил его, правда ли это? Служитель же мне ответил, что правда, но дело в том, что цирюльник бранился и говорил, что не помнит, чтобы он когда-либо говорил с каким-нибудь испанцем, и что, покажи ему означенного синьора дона Джованни, он не признал бы его вообще».

Служитель затем добавил, что он спросил, почему же тот возвел такой поклев на человека. Цирюльник ответил, что он оклеветал синьора по подсказке, что он говорил то, что слышал или что само срывалось с языка. Это, слава богу, послужило оправданием Падильи, но можем ли мы поверить, что судьи, приставившие или позволившие приставить к Мора бойкого и смышленного служителя означенного аудитора, так долго ни о чем не догадывались и лишь от случайного свидетеля узнали об этих столь достоверных словах, сказанных без всякой надежды после того, как другое, столь невероятное, признание было у него вырвано пыткой?

Ведь среди множества невероятных вещей судьям все-таки показалась странной эта связь между

миланским цирюльником и испанским рыцарем. Будучи спрошен, кто посредничал между ними, Мора вначале ответил, что это был «один из приближенных синьора», одетый так-то и так-то. Но, понуждаемый назвать имя, он сказал: «Дон Пьетро ди Сарагоса». Это, по крайней мере, была вымышленная личность.

В дальнейшем были предприняты (после казни цирюльника, разумеется) более тщательные и настойчивые розыски. Расспросили солдат и офицеров, включая самого коменданта замка дона Франческо де Варгаса, сменившего в то время отца Падильи: о доне Пьетро ди Сарагоса не было ни слуху ни духу, если не считать, что в темнице подесты нашелся некий Пьетро Вердено, уроженец Сарагосы, обвиняемый в краже. На допросе он показал, что был в то время в Неаполе. Его пытали, но он подтвердил свое показание. С тех пор о доне Пьетро ди Сарагоса никто больше не вспоминал.

Понуждаемый все новыми расспросами, Мора добавил, что он сделал затем предложение инспектору, который «неизвестно от кого» также получил деньги. Конечно, он ничего об этом не знал, но этого добивались судьи. Вновь подвергнутый пыткам, несчастный, увы, назвал на этот раз действительно существовавшее лицо, а именно: некоего Джулио Сангвинетти, ростовщика, «первого, кто пришел на ум человеку, сочинявшему под пыткой».

Будучи допрошен вновь, Пьяцца, всегда отрицавший получение денег, немедленно сказал «да». (Читатель, наверное, лучше судей помнит, что во время обыска в доме инспектора денег нашли еще меньше, чем у Мора, а точнее, не нашли ничего.) Тем не менее он сказал, что получил деньги от одного ростовщика, но так как судьи не подсказали ему имя Сангвинетти, то он назвал другого: Джироламо Турконе. Обоих со всеми их посредниками арестовали, допросили и подвергли пыткам, но так как они держались стойко, их наконец отпустили.

Двадцать первого июля обоим подсудимым сообщили результаты расследования, собранные после возобновления процесса, и дали им снова два дня

для защиты. И тот и другой сами выбрали на этот раз защитника, скорей всего по совету тех, кто прежде защищал их по долгу службы. 23 числа того же месяца был арестован Падилья, вернее, как о том засвидетельствовано в его защитительном акте, ему было сообщено генеральным комиссаром кавалерии, что по приказу Спинолы он должен явиться в замок Помате и отдаться в руки правосудия, что тот и сделал. Отец его, и это также отмечено в защитительном акте, подал через своего помощника и секретаря прошение о том, чтобы исполнение приговора Пьяцце и Мора было отложено до очной ставки с доном Джованни. Ему было отвечено, «что ждать нет никакой возможности, ибо народ ропщет...» (наконец-то, хоть раз был назван *civium ardor prava iubentium*;¹ и это был единственный раз, когда это можно было сделать, не сознаваясь в постыдной и жестокой сделке со своей совестью, ибо речь шла об исполнении решения суда, а не о самом расследовании. Но разве народ только тогда стал роптать? Или только тогда начали судьи замечать его ропот?), «...но в любом случае синьор дон Франческо может не беспокоиться, ибо такие бесчестные люди, как оба осужденных, не могут своим оговором бросить тень на репутацию синьора дона Джованни». И все же оговор каждого из этих двух бесчестных людей был использован против третьего! А сами судьи столько раз называли их показания «правдой»! И в самом приговоре постановили, что по объявлении одного обоих злоумышленников надлежит вновь подвергнуть пыткам, дабы заставить их выдать своих сообщников! И их показания привели к новым пыткам, затем к новым признаниям, затем снова к пыткам и, если этого недостаточно, то и к пыткам без всякого признания!

«Так что,— пишет в заключение своего сообщения секретарь,— мы вернулись к господину коменданту и доложили ему обо всем происшедшем, а он ничего не сказал, но сильно огорчился, и огор-

¹ Гнев народа, правду забывшего (лат.). Гораций, «Оды», 3,3.

чение его было так велико, что через несколько дней он скончался».

Вышеупомянутый адский приговор гласил, что преступников надлежало отвезти на телеге к месту казни, по дороге пытать калеными щипцами, отрубить правую руку перед лавкой Мора, колесовать и оставить на колесе в подвешенном состоянии, перерезать глотку спустя шесть часов, трупы сжечь, а пепел выбросить в реку, а по разрушении дома Мора воздвигнуть там столб, именуемый позорным, запретив навечно всякое строительство на его месте. И если что-то еще и могло усилить ужас, негодование и сострадание, так это упорство, с которым оба несчастных, даже после объявления им столь жестокого приговора, продолжали подтверждать и расширять свои показания и все по той же причине, которая заставила их клеветать на себя вначале. Еще не угаснувшая надежда избежать смерти — и притом какой смерти! — тяжесть истязаний, которые чудовищный приговор заставил бы считать почти пустяковыми, но которые в тот момент были действительностью, устраимой лишь с помощью ложных показаний, заставляли их повторять свои прежние измышления, называть все новых и новых лиц. Так, обещая безнаказанность одним невинным и подвергая пыткам других, судьям удавалось не только предать их жестокой казни, но и, елико возможно, вырвать у них признание в своей вине.

В документах защитника Падильи (и нам от этого становится легче) имеются заявления о ложности наветов на себя и на других лиц, сделанные осужденными, как только они убедились, что им предстоит умереть и что их не будут больше таскать на допросы. Вышеупомянутый капитан показал, что, находясь возле камеры, куда поместили Пьяццу, он слышал, как тот «стонал и сетовал на то, что осужден несправедливо и что его обманули и обрекли на заклание». Он отказался от услуг двух капуцинов, пришедших подготовить его к христианской кончине. «Что касается меня, — продолжает капитан, — то я заметил, что означенный инспектор надеется на пересмотр дела... Тогда я на-

правился к нему, надеясь совершить акт милосердия и убедить его достойно встретить смерть в уповании на милосердие божье, в чем, могу сказать, и преуспел, ибо святые отцы не затрагивали струны, которую затронул я, а именно: я заверил его, что никогда не видел и не слышал, чтобы после вынесения приговора сенат пересматривал подобные дела... Наконец, я его уговорил, и он присмирел, а присмирев, несколько раз вздохнул и затем сказал, что возвел поклеп на стольких невинных». Как Пьяцца, так и Мора попросили затем помогавших им монахов составить официальное заявление об отказе от всех обвинений, вырванных у них посулами или пыткой. Во время нескончаемой казни оба осужденных переносили многочисленные и изощренные муки с такой стойкостью, которая в людях, не раз сломленных боязнью смерти и истязаний и ставших жертвой не то что великого дела, а ничтожной случайности, глупой ошибки, подлого и низкого обмана, в людях, которые, будучи опозорены, оставались все же малыми и незначительными и всеобщей ненависти не могли противопоставить ничего другого, кроме простого сознания невинности, в которую никто не верил и которая много раз отрицалась ими самими, в людях (тяжко подумать, но разве могли об этом не думать сами осужденные?), имевших семьи, жен, детей,— была бы ничем не объяснимой, если бы мы не знали, что это была покорность своей участи, то есть тот дар, который в человеческой несправедливости заставляет видеть божественную справедливость, а в несчастях, какими они бы ни были, залог не только прощения, но и награды. До самого конца, даже во время колесования, оба без устали повторяли, что принимают смерть в наказание за действительно совершенные ими грехи. Смириться с неизбежным! — эти слова могут показаться бессмысленными тому, кто во всем привык видеть проявление одних лишь материальных сил, но они полны глубокого и ясного смысла для тех, кто сознает или бессознательно чувствует, что самое трудное и самое важное в любом решении — убеждение разума и смирение воли — одинаково трудно и важно, не-

зависимо от последствий, как в приятии, так и неприятии любого пути.

Протесты осужденных могли бы ужаснуть судей и пробудить в них совесть. Но им, к сожалению, удалось частично их опровергнуть, да еще таким способом, который мог бы стать весьма убедительным, если бы не был сущим самообманом: они заставили признать свою вину многих из тех, кого столь безоговорочно оправдывали осужденные. О других процессах мы скажем, как и обещали, лишь несколько слов и от прочих обвиняемых перейдем непосредственно к Падилье, то есть к тому, кто по важности преступления является главным во всей этой истории. Формально и по существу от исхода его дела зависело отношение ко всем остальным осужденным.

ГЛАВА VI

Оба точильщика, столь безрассудно названные Пьянцой, а затем Мора, пребывали в тюрьме с 27 июня, но их ни разу не свели ни с тем, ни с другим и даже не допросили вплоть до исполнения приговора, состоявшегося первого августа. Одиннадцатого числа был допрошен отец, день спустя его подвергли пыткам под обычным предлогом, что его показания были полны противоречий и несообразностей, и он признался, то есть наплел бог весть что, перекроив на свой лад, как и Пьянца, подлинные события. И отец и сын поступили, как пауки: закрепив нить на твердом месте, оба принялись плести узоры в пустоте. У отца нашли пузырек со снотворным, врученным ему, а вернее составленным у него в доме, его другом Баруэлло; он заявил, что это «мазь для умерщвления людей», некий настой на жабах и змеях «с добавлением порошков неизвестного ему происхождения». Помимо Баруэлло, он назвал в числе сообщников еще кое-кого из общих знакомых, а в качестве зачинщика — Падилью. Судьи, видимо, хотели связать эту небылицу с историей обоих казненных, а для этого им надо было заставить точильщика

показать, что «мазь и звонкую монету» он получил от последних. Если бы допрашиваемый стал просто заператься, то судьи всегда могли прибегнуть к пыткам, но тот обезоружил их таким необычным ответом: «Нет, синьор, это — неправда, но если вы станете меня пытать, чтобы я отказался от своих слов, то я вынужден буду сказать, что это — правда, хотя это не так». Не бросая открытого вызова правосудию и человечности, судьи не могли больше испытывать средство, о заведомом результате которого их так торжественно предупредили.

Обвиняемый был приговорен все к той же казни. После вынесения приговора он назвал под пыткой еще одного ростовщика и некоторых других лиц, однако в тюремной часовне и на лобном месте отказался от всех своих показаний.

Если об этом несчастном Пьяцца и Мора только и сказали, что он был малодостойным человеком, то ряд фактов, выявленных на процессе, говорит за то, что они его все же не оклеветали. Однако они возвели поклеп на его сына Гаспара, о проступке которого хотя и говорится в деле, но говорится собственными его устами. Речь идет о заявлении, сделанном в такой момент и в таком состоянии, которые свидетельствуют о безвинности и праведности всей его жизни. Во время пыток, перед лицом смерти, он вел себя не просто как мужественный человек, а как настоящий мученик. Не будучи в силах заставить его оклеветать самого себя или возвести напраслину на других, его осудили (непонятно, под каким предлогом) за участие в преступлении и по вынесении приговора спросили его, как водится, не совершал ли он других преступлений и не имел ли соумышленников в делах, за которые был осужден. На первый вопрос он ответил: «Я не совершал ни этого, ни других преступлений и умираю потому, что как-то в приливе гнева ударил кулаком в глаз одному негодяю». На второй: «У меня нет никаких соумышленников, потому что я занимался своими делами, а раз я преступления не совершал, то у меня не может быть и соучастников». Когда ему пригрозили пыткой, он сказал: «Ваша милость, делайте все, что

угодно, я ни за что не признаюсь в том, в чем не виноват, и не сгублю свою душу: уж лучше помучиться три-четыре часа на дыбе, чем угодить в ад на вечные муки». Подвергшись пыткам, он вначале воскликнул: «О боже, я ничего не сделал: за что меня убивают?» Потом он добавил: «Пытки кончатся скоро, а на том свете придется быть вечно». Тогда постепенно в пытках судьи стали переходить от одной степени к другой, пока не дошли до последней, а вместе с тем все настойчивее требовали сказать правду. Но несчастный по-прежнему твердил: «Я все уже сказал и хочу спасти свою душу. Говорят вам, я не хочу отягощать свою совесть: я ничего плохого не совершил».

Как тут не подумать о том, что, обладай Пьяцца такой же стойкостью, бедный Мора спокойно оставался бы в своей лавке, в кругу своей семьи, а этот юноша, более достойный восхищения, чем сострадания, а также многие другие невинные жертвы не могли бы даже себе представить, какой ужасной участи они избегли. И как знать, что стало бы с самим Пьяццей? Конечно, чтобы его осудить, не добившись признания, на основе одних лишь слабых улик, когда при отсутствии других показаний само преступление выглядит лишь простым предположением, потребовалось бы более открытое, более наглое нарушение всех основ правосудия, всех предписаний закона. Но в любом случае его не могли бы осудить на более чудовищное испытание, его не могли бы заставить принять смерть вместе с человеком, глядя на которого он в любую минуту должен был бы говорить самому себе: «Это из-за меня он угодил на плаху». Причиной этих ужасов была слабость... да нет, что я говорю? — ожесточение, коварство тех, кто, не найдя виновных и считая это несчастьем и своим поражением, искушал слабость с помощью незаконных и обманных посулов.

Выше мы уже говорили, как торжественно судьи обставили обещание, данное Баруэлло, и упомянули, что мы намерены рассказать, как коварно они им воспользовались. Сначала Пьяцца облыжно обвинил Баруэлло в том, что он был соучастником Мора, затем Мора обвинил его в том, что он был

соучастником Пьяццы, потом оба — в том, что за плату он мазал стены заразной мазью, приготовленной Мора из всякой мерзости, если не хуже (а до этого оба утверждали, что и слыхом о ней не слыхали). Позднее Мильявакка обвинил Баруэлло в том, что он сам составлял мазь из другой дряни. Признанный виновным во всех этих проступках, составлявших как бы единое целое, Баруэлло тем не менее все отрицал и мужественно перенес пытки. Пока рассматривалось дело Баруэлло, его родственники попросили одного священника (привлеченного, кстати, затем Падильей в качестве еще одного свидетеля) замолвить за него словечко в сенате. Священник обратился к какому-то чиновнику по финансовой части, который вскоре ему объявил, что человек, о котором тот ходатайствовал, уже приговорен к смертной казни с прибавлением кровавых жестокостей, но тут же добавил, что «сенат готов испросить у его превосходительства милость и предоставить подсудимому безнаказанность». Он просил священника навестить подсудимого и попытаться убедить его сказать правду: «Ибо сенат желает знать, в чем все же подоплека этой истории, и рассчитывает именно на него». И это после вынесения приговора! И после стольких казней!

Выслушав жестокое известие и сделанное ему предложение, Баруэлло сказал: «А потом со мной поступят так же, как с инспектором?» После того как священник ответил, что обещание показалось ему искренним, Баруэлло повел такой рассказ: однажды, сказал он, некто (к тому времени уже скончавшийся) привел его к цирюльнику, который, отодвинув занавес у ниши, скрывавшей потайную дверь, провел его в большую комнату, где сидело много людей, в том числе и Падилья. Священнику, от которого не требовалось разыскивать преступников, этот рассказ показался странным; поэтому он, прервав Баруэлло, предупредил его, что вместе с телом он может загубить и душу, после чего удалился. Баруэлло принял предложение о безнаказанности, но слегка изменил свою историю. Представ одиннадцатого сентября перед судьями, он

рассказал им, что один учитель фехтования (увы, здравствующий) сказал ему, что представляется удобный случай хорошо заработать, оказав услугу Падилье. Затем он отвел его на площадь перед замком, куда явился сам Падилья с другими лицами, и тут же предложил ему примкнуть к мазунам, которые под его руководством заражали стены ядовитым составом в отместку за оскорбления, нанесенные дону Гонсало де Кордова при отъезде последнего из Милана. И он дал ему деньги и склянку со смертоносным составом. Сказать, что в этой истории, дальше начала которой мы не пойдем, содержались несообразности, значило бы ничего не сказать: вся она, как читатель успел уже догадаться, от начала до конца была сплошным нагромождением нелепостей. Несообразности, однако, были замечены и судьями, показания подсудимого стали им казаться все более противоречивыми. Поэтому после неоднократных допросов, которые еще более запутывали дело, они потребовали у него «говорить яснее, чтобы из его слов можно было извлечь что-либо путное». Тогда, то ли прикинувшись больным, чтобы как-то выйти из затруднения, то ли действительно в припадке неистовства, для которого было достаточно оснований, он весь содрогнулся, стал корчиться, звать на помощь, кататься по полу, пытаясь спрятаться под стол. Его привели в чувство, успокоили и стали уговаривать сказать правду. Тогда на свет появилась новая история с колдунами, шабашами, заклинаниями и самим чертом, выдаваемым подсудимым за хозяина. Пока нам достаточно отметить, что речь зашла о новых вещах и что обвиняемый, помимо всего прочего, отказался от своего прежнего показания, будто все дело сводилось к мести за оскорбление, нанесенное дону Гонсало, а стал, напротив, утверждать, что целью Падильи было овладеть Миланом и что его он обещал сделать одним из первых граждан в городе. После ряда уточнений расследование, если его можно так назвать, было закончено, однако за ним последовало еще три допроса, в ходе которых Баруэлло говорили, что одно в его показаниях неправдоподобно, другое — маловероят-

но. На это он отвечал, что действительно не сказал сразу правду или приводил первое объяснение, пришедшее на ум. Раз пять припертый к стене показаниями Мильявакки, утверждавшего, что он многих подстрекал обмазывать стены ядовитой мазью, о чем ни слова не говорилось в его показаниях, он упорно твердил, что это неправда. Судьи же всегда переходили к другим вопросам. Читатель, наверное, помнит, что при первой же несообразности, которую судьи сочли необходимым отыскать в показании Пьяццы, ему пригрозили лишением безнаказанности и что при первом же добавлении, которое он сделал к своему показанию, при первом же новом обвинении, выдвинутом против него циркулярником и им отвергнутом, его действительно лишили ее «по причине того, что он не сказал всей правды, как обещал». При случае мы еще увидим, как пригodiлось судьям то, что они предпочли скорее пойти на обман губернатора, чем просить его о милости, и что их обещание Пьяцце, который должен был пасть первой жертвой народной ярости и их вероломства было дано словесно и оказалось пустым звуком.

Быть может, этим мы хотим сказать, что правильнее было бы сдержать обещание безнаказанности? Боже упаси! Думать так — все равно, что считать, будто Пьяцца сообщил судьям подлинные факты. Мы хотим лишь сказать, что это обещание было так же произвольно взято назад, как и незаконно дано, и что оно послужило лишь средством для получения ложных показаний. Впрочем, нам только остается повторить, что на избранном пути ничего другого нельзя было сделать, разве что вернуться назад, пока не поздно. Подобно разбойнику, имеющему не право дарить, а обязанность сохранить жизнь путнику, судьи не имели права (не говоря уж об отсутствии у них таких полномочий) обещать Пьяцце безнаказанность. С их стороны это было лишь несправедливой заменой несправедливой пытки: и в том и в другом случаях речь шла о преднамеренных, продуманных средствах, пущенных в ход вместо средств, предписанных не скажу

разумом, справедливостью, состраданием, а просто законом, требующим проверить случившееся, заставить обеих женщин подтвердить свои обвинения, если их можно назвать обвинениями, а не предположениями, дать возможность обвиняемому, если его можно так назвать, оправдаться, устроить ему очную ставку с обвинительницами.

Во что вылилась бы безнаказанность, обещанная Баруэлло, невозможно себе вообразить, ибо он скончался от чумы 18 сентября, то есть спустя день после очной ставки, бесстыдно выдержанной с упомянутым выше учителем фехтования Карло Ведано. Но, почувствовав приближение смерти, он сказал ухаживавшему за ним заключенному, также впоследствии привлеченному Падильей в свидетели: «Передайте, пожалуйста, господину подесте, что все, кого я оговорил, не виноваты и что я не получал никаких денег от сына господина коменданта... Умирая от этой болезни, я прошу всех безвинно мной оговоренных простить мне мою вину. Скажите, пожалуйста, об этом господину подесте, если я отдам богу душу». «Я тут же, — добавляет свидетель, — отправился к господину подесте, чтобы передать ему все сказанное мне Баруэлло».

Отказ свидетеля от своих показаний мог спасти Падилью, но отнюдь не Ведано. Обвинения против него были к тому времени выдвинуты одним лишь Баруэлло. И тем не менее в тот день его жестоко пытали, но он все вынес, и его оставили (разумеется, в тюрьме) в покое вплоть до середины января следующего года. Среди простолюдинов он был единственный, кто действительно был знаком с Падильей, ибо он дважды фехтовал с ним в замке, и, видимо, это навело Баруэлло на мысль отвести ему определенную роль в сочиненной истории. Баруэлло, однако, не обвинил его в том, что тот составлял, раздавал или использовал по назначению смертоносную смесь, он сказал только, что тот служил посредником между ним и Падильей. Судьи не могли, следовательно, осудить его как преступника, не предрешив дела указанного спянора, и, возможно, это спасло Ведано. Его допросили снова лишь после первого допроса Падильи, а

оправдание последнего привело и к его освобождению.

10 января 1631 года Падилю перевели из замка Пиццигеттоне, куда он был брошен, в Милан и поместили в тюрьму капитана справедливости. Его допросили в тот же день, и если бы потребовалось доказательство того, что те же судьи могли вести дело без обмана, мошенничества и насилия, не искать несообразностей там, где их не было, довольствоваться разумными ответами, признавать даже в таком деле, где речь шла о безответственных мажорах, что обвиняемый может быть прав, говоря «нет», достаточно было бы обратиться к этому допросу и к двум другим, учиненным Падилю.

Два единственных свидетеля, заявивших о сговоре с ним, — Мора и Баруэлло, — указали также, первый приблизительно, второй — точнее, время, когда это произошло. Судьи спросили Падилю, когда он уехал в лагерь. Тот назвал определенную дату. Откуда он выехал, направляясь туда? Из Милана. Возвращался ли за это время обратно? Один-единственный раз и задержался в Милане всего на один день, который он точно назвал и который никак не совпадал ни с одной из дат, вымышленных обоими беднягами. Тогда без всяких угроз, по-хорошему его просят «припомнить», не находился ли он в Милане тогда-то и тогда-то. И в том и в другом случаях ответ был отрицательным в полном соответствии с первоначальным ответом. Тогда его стали расспрашивать о людях и о местах, связанных с преступлением. Знает ли он некоего Фонтану, бомбардира? Это был зять Ведано, и Баруэлло назвал его в числе тех, кто присутствовал якобы при первом свидании. Падиля ответил утвердительно. Знает ли он Ведано? Да, конечно. Известно ли ему, где находится улица Ветра де Читтадини и таверна Шести Висельников, куда, как говорил Мора, приходил Падиля в сопровождении дона Пьетро ди Сарагоса якобы для того, чтобы сделать ему предложение о заражении чумой всего Милана. Падиля ответил, что он и слыхом не слыхал ни о такой улице, ни о такой таверне.

Его спросили о доне Пьетро ди Сарагоса. Такого Падилья не только не знал, но и вряд ли мог себе представить. На вопрос о двух неизвестных, одетых на французский манер, и о каком-то еще третьем человеке, одетом как священник, которые, по словам Баруэлло, являлись на свидание на замковую площадь, Падилья ответил, что не понимает, о ком идет речь.

На втором допросе, состоявшемся в конце января, его стали расспрашивать о Мора, Мильтявакке, Баруэлло, о свиданиях с ними, о переданных им деньгах, о данных им обещаниях, не упоминая, однако, об истории, с которой все это было связано. Падилья отвечал, что никаких дел с этими людьми не имел, никогда о них не слышал и вообще его не было в это время в Милане.

По прошествии более чем трех месяцев, потраченных на следствие, которое, как можно было ожидать, не принесло ничего существенного, сенат постановил считать Падилью виновным на основании установленных ранее фактов, ознакомить подсудимого с обвинением и дать ему срок для защиты. Во исполнение этого постановления подсудимый был вызван на новый, последний допрос 22 мая. На заданные ему вопросы по всем пунктам обвинения Падилья сухо и неизменно отвечал отрицательно, тогда судьи перешли к сути дела, то есть выложили ему без стеснения ту немыслимую, вернее, две немыслимых истории, о которых мы знаем. Первая состояла в том, что он, обвиняемый, просил бродягу Мора «возле так называемой таверны Шести Висельников изготовить особую мазь... которую тому надлежало держать у себя и время от времени заражать (мазать) ею стены города». В награду за это цирюльнику было выдано много дублонов. Кроме того, дон Пьетро ди Сарагоса, по распоряжению Падильи, направлял означенного цирюльника к таким-то и таким-то ростовщикам за получением еще одной суммы денег. Но эта история не годилась и в подметки другой, в которой утверждалось, будто он, господин обвиняемый, вызвал Стефано Баруэлло на площадь к замку и сказал ему: «Добрый день, господин Баруэлло, давненько мне хотелось

поговорить с вами». Наговорив ему кучу любезностей, Падилья дал ему якобы двадцать пять дукатов и горшок с мазью, присовокупив, что она изготовлена в Милане, но сделана не совсем правильно и что поэтому надо «наловить жерлянок и гадов (жаб и ящериц), залить их белым вином, поместить в кастрюлю и потушить на медленном огне (потихоньку, не спеша) с тем, чтобы эти гады могли пустить яд». При этом священник, «названный Баруэлло французом» и пришедший вместе с обвиняемым, явил на свет некое существо «в человеческом обличье и в одежде Панталоне». Обвиняемый якобы представил его Баруэлло как своего господина, а когда тот исчез, то на вопрос Баруэлло ответил, что это был сам дьявол. В другой раз обвиняемый снова якобы дал деньги Баруэлло и обещал сделать его лейтенантом в своем отряде, если тот сослужит ему хорошую службу.

В этой связи Верри (насколько все же методичные усилия могут ввести в заблуждение самые возвышенные умы, даже если они убедились в противоположном!) делает следующий вывод: «Такова совокупность показаний против сына коменданта, которые, хотя и были опровергнуты всеми остальными допрошенными (за исключением трех несчастных — Мора, Пьяццы и Баруэлло, предавших истину под пыткой), послужили основой постыднейшего преступления». Читатель же знает, и Верри сам об этом рассказывает, что из этих трех двое были подвигнуты к ложным показаниям посулами безнаказанности, а не мучительными пытками.

Выслушав вышеприведенную недостойнейшую тираду, Падилья сказал: «Из всех названных Вашим превосходительством лиц я никого не знаю, кроме Фонтаны и Теньоне (такова была кличка Ведано), а все, что, как Ваше превосходительство утверждает, записано в деле со слов этих людей, является заведомой ложью и выдумкой, каких не выдывал свет. Не думаю, чтобы рыцарь, равный мне по званию, мог задумать или содейть что-либо столь же бесстыдное, как этот поступок. Я молю бога и святую богородицу покарать меня, если все

обвинения правильны, но я надеюсь, с божьей помощью, доказать лицемерие этих людей и разоблачить их перед всем светом».

В ответ ему предложили, но для проформы и без особой настойчивости, открыть судьям истину, затем ему зачитали постановление сената, в котором он обвинялся в составлении и распространении болезнстворной мази и в найме сообщников. «Меня очень удивляет,— продолжал Падилья,— что сенат пришел к столь тяжкому решению, видя и признавая, что это сплошной обман и поклеп, оскорбляющий не только меня, но и само правосудие. Да разве мог бы человек моего положения, посвятивший себя служению его величеству, защите отечества, рожденный людьми, поступавшими не иначе, разве мог бы он содействовать или замыслить что-либо такое, что принесло бы ему и его предкам вечный позор и бесславие? Вот почему я настаиваю, что все это — ложь и величайший обман, каких еще не видывал свет».

Приятно слышать, что таким языком изъясняется возмущенная невинность, но страх берет при одной мысли, что перед теми же судьями прежде стояла испуганная, растерянная, отчаявшаяся, лживая и клеветущая на себя и на других невинность, стояла также невинность неустрашимая, прямая и правдивая — однако судьи были неумолимы.

Падилья был освобожден, неизвестно, правда, когда, но наверняка не раньше, чем через год после этого допроса, ибо последняя его защита состоялась в мае 1632 года. Спасла его, разумеется, не чья-то милость. Но заметили ли судьи, что тем самым они признавали несправедливость всех своих прежних приговоров? Ибо я не думаю, что за этим оправданием последовали другие. Признав, что Падилья вовсе не давал никаких денег в уплату за воображаемую мазь, вспомнили ли судьи о людях, осужденных за получение от него денег в связи с этим. Вспомнили ли, как они говорили Мора, что такое объяснение «правдоподобней... того, согласно которому цирюльник получал возможность торговать своим снадобьем, а инспектор — заработать»? Вспомнили ли они, как на следующем допросе, не-

смотря на отрицание вины обвиняемым, они сказали ему, что «в этом все же состоит правда»? И как при последующем заперательстве, на очной ставке с Пьяццой его пытали, чтобы он признался, а затем — чтобы подтвердил свое признание? И что с тех пор весь процесс основывался на этом предположении? Что в нем видели подразумевавшуюся на всех допросах, подтвержденную всеми ответами, наконец-то найденную и общепризнанную, единственно подлинную побудительную причину преступления Пьяццы, Мора и стольких других осужденных? Что указ, который великий канцлер обнародовал с согласия сената за несколько дней до казни первых двух осужденных, объявлял их «павшими столь низко, что за деньги они хотели предать родню»? И увидав, наконец, что это обвинение оказалось безосновательным (ибо на суде не упоминалось о других деньгах, кроме уплаченных Падильей), подумали ли они, что преступление ничем теперь не подтверждалось, кроме как признаниями, вырванными известным им способом и опровергнутыми перед причащением и казнью, признаниями, противоречившими вначале друг другу и не вязавшимися теперь с фактическим положением дел? Оправдав за невиновностью главного обвиняемого, осознали ли, что вместе с тем они осудили невинных за соучастие в несуществующем преступлении?

Дело обстояло далеко не так, если судить по внешним проявлениям: позорный столб стоял на грязном месте, приговор сохранял свою силу, главы семейств, осужденные приговором, так и остались опозоренными, их дети, столь ужасно ставшие сиротами, продолжали оставаться бездомными по воле закона. Что же касается состояния души судей, то кто знает, какими новыми доводами способен себя утешать злонамеренный обман, закосневшим к тому же в борьбе с очевидностью? И обман этот, надо сказать, стал теперь особенно незаменим и нужен: если прежде признание невиновности подсудимых означало для судей невозможность подвергнуть их осуждению, то теперь оно могло их самих привести на скамью подсуди-

мых: ведь совершенные ими махинации и нарушения закона, оправдываемые уличением столь низких и подлых злодеев, не только предстали бы тогда во всей своей наготе и мерзости, но и квалифицировались бы как причина ужасной расправы с невинными. И наконец, речь шла об обмане, освященном и подкрепленном все еще сильным, хотя и зыбким авторитетом власти, имевшем в данном случае до странности иллюзорный характер, ибо основывался он большей частью на авторитете самих судей, а вернее, той общественности, которая провозгласила их мудрыми, ревностными и сильными стражами и защитниками родины.

Позорный столб был снесен в 1778 году, а в 1803 году на его месте был построен дом, и в этой связи разобрана галерея, откуда Катерина Роза, «та адская богиня, что на страже стояла», бросила клич, положивший начало расправе, так что теперь не осталось ничего, что напоминало бы об ужасных последствиях и вызвавшей их ничтожной причине. При выходе с улицы Ветра на бульвар Порты Тичинезе угловой дом слева от смотрящего с бульвара занимает то место, где некогда стоял дом бедного цирюльника.

Посмотрим теперь, если у читателя хватит терпения последовать за нами в наших последних изысканиях, как неосторожно высказанное Катериной Розой суждение, столь далеко заведшее судей, утвердилось с их помощью и в книгах ученых.

ГЛАВА VII

Среди многочисленных авторов, современников этого события, остановим свой выбор на единственном значительном из них, писавшем вопреки общераспространенному мнению. Это уже неоднократно цитировавшийся нами Джузеппе Рипамонти. Нам кажется, что он может служить любопытным примером того, как господствующие взгляды часто воздействуют на слова тех, чей ум они не могли подчинить. Он не только намеренно не отрицает виновность несчастных (вплоть до Верри никто не

делал этого в работах, предназначенных для широкой публики), но, кажется, старается специально ее подчеркнуть. Так, говоря о первом допросе Пьяццы, он называет его поведение «хитрым», а линию судей — «предусмотрительной». Он утверждает, что «многие противоречия изобличают злоумышленника в его заперательстве», а в отношении Мора говорит, что «пока тот мог вынести пытки, он отпирался, подобно всем преступникам, но наконец рассказал все, как было: *exposuit omnia cum fide*. В то же время он старается показать обратное, робко и бегло высказывает сомнения относительно наиболее важных обстоятельств дела, направляет намеками размышления читателя в нужную сторону, вкладывает в уста того или иного обвиняемого найденные им самим слова, которые лучше могут доказать его невиновность, высказывает наконец такое сострадание, которое испытываешь разве что в отношении невинных жертв. Говоря о котле, обнаруженном в доме у Мора, он пишет: «особенно всех поразило его отвратительное содержимое: вещь сама по себе невинная и случайная, но она могла показаться той уликой, которую усердно искали». Описывая первую очную ставку, он говорит, что Мора «призывал божью милость оградить его от мошенничества, коварных наветов и козней, жертвой которых мог пасть любой невинный человек». Он называет его «несчастливым отцом семейства, который, сам того не понимая, навлек на свою злополучную голову бесчестие и разорение, обрек на погибель себя и всех своих близких». Вышеприведенные рассуждения, а также другие, которые можно привести дополнительно, о явном противоречии между оправданием Падильи и осуждением остальных несчастных Рипамонти заключает весьма односложным замечанием: «мазуны, тем не менее, были наказаны: *unctores puniti tamen*». Сколько скрытого смысла заключено в этих соединительных, верней, противительных словах! И тут же он добавляет: «Город ужаснулся бы жестокости наказания, если бы оно не казалось значительно меньшим, чем само преступление».

Но место, где ярче всего проступает его отношение к делу, мы находим там, где он заявляет, что не хочет высказываться по этому поводу. Рассказав о различных лицах, заподозренных в подобном преступлении, но не предававшихся суду, Рипамонти пишет: «Я поставлен перед тяжкой и опасной необходимостью заявить, верю ли я, что, помимо лиц, столь несправедливо принятых за мазунов, существовали подлинные мазуны... Меня страшит не столько трудность, связанная с неопределенностью этого дела, сколько отсутствие свободы делать то, что требуется от всякого историка, а именно: высказать свое подлинное отношение к описываемому предмету. Скажи я, что никаких мазунов не было и в помине, что безрассудно в божьей каре искать злой умысел людей, как тут же поднимется крик, что эта летопись нечестива, что автор не благоговеет перед торжественно вынесенным приговором. Тем более, что противоположное мнение уже укоренилось в умах, а легковерная, как обычно, толпа и высокомерная знать готовы отстаивать его, как самое дорогое и святое для них. Начать войну со всеми было бы тяжело и бессмысленно, вот почему, ничего не утверждая, черпая из одних источников не более чем из остальных, я ограничусь лишь мнением других». Да будет известно тому, кто задается вопросом: а не разумнее ли и проще было бы вовсе не писать об этом,— что Рипамонти был официальным летописцем города, то есть одним из тех, кому в отдельных случаях могло быть рекомендовано или запрещено писать историю.

Другой историк, занимавшийся, однако, более обширными исследованиями, Баттиста Нани, венецианец, у которого в данном случае не могло быть оснований говорить неправду, был введен в заблуждение внушительностью надписей и монументов. «Хотя и верно,— пишет он,— что извращенное страхом воображение народов измыслило многие странности, но все же несомненно, что это преступление было раскрыто и наказано, о чем в Милане до сих пор свидетельствуют надписи и руины снесенных домов, где собирались эти чудовища». Глу-

боко ошибся бы тот, кто, не читая других произведений этого автора, взялся бы судить о его взглядах на основании одного этого рассуждения. Исполняя важные посольские поручения и занимая различные посты у себя на родине, он имел возможность изучить людей и их поступки и в своей истории доказывает, что это ему порядочно удалось. Но дела уголовные и жизнь бедняков, если их немного, не считаются предметом собственно истории, и не стоит удивляться тому, что, когда Нани пришлось случайно упомянуть об этом факте, он не особенно о нем задумывался. Скажи ему кто-нибудь, что какая-нибудь другая колонна или надпись в Милане свидетельствует о поражении венецианцев (столь же похожем на истину, как и преступление «этих чудовищ»), тут уж Нани вряд ли бы удержался от смеха.

Гораздо удивительней и неприятней обнаружить те же доводы и глумление над несчастными в сочинении намного более знаменитого писателя, известного своей большой рассудительностью. Муратори в «Трактате о борьбе с чумой», упомянув о различных случаях подобного рода, пишет, что «ни одна история не приобрела такой огласки, как случившаяся в Милане, где во время эпидемии 1630 года было схвачено несколько человек, сознавшихся в столь тяжком преступлении, что они были жестоко казнены. Напоминанием о тех мрачных временах является позорный столб (я его видел сам), поставленный на месте дома, где жил один из бесчеловечных убийц. Необходимо поэтому быть бдительнее, чтобы подобные гнусные факты больше не повторялись». То, что Муратори на самом деле был не столь решительно настроен, как на словах, лишь смягчает, но не меняет неприятное впечатление от его замечания. Ибо перейдя затем к обсуждению (и видно, что это его больше всего волнует) ужасных бед, могущих произойти от чрезмерного воображения и неосновательной веры в подобные вещи, он пишет, что «дело доходит до ареста людей, получения у них под пыткой признаний в преступлениях, которых они, возможно, никогда не совершали, и низкого надругательства над ними в местах публичной казни». Не кажется ли вам,

что он намекает на наших несчастных? Еще больше доверия к нему вызывает то, что свой рассказ он сразу же начинает словами, которые мы уже приводили в предыдущем сочинении и которые из-за их краткости приведем снова: «Я нашел в Милане разумных людей, которые получили от предков надежные сведения и не очень-то были убеждены в действительном существовании этих ядовитых мазей, которыми, как говорили, были измазаны стены города и которые вызвали столько толков во время чумы 1630 года». Нельзя, повторяю, не заподозрить Муратори в том, что он считал скорей пустой болтовней то, что он сам называет «гнусными фактами» и (что еще хуже) невинно загубленными жертвами тех, кого он называет «бесчеловечными убийцами». Скорей всего это был один из тех печальных и нередких случаев, когда человек, отнюдь не склонный грешить против правды, желая пресечь какое-либо губительное заблуждение, но боясь это сделать с открытым забралом, почитает за благо сначала солгать, а уж потом окольным путем протащить истину.

После Муратори мы находим писателя более известного, чем он, историка и (что в подобном случае должно, казалось бы, сделать его суждение более веским, чем чье-либо другое) историка-правоведа. Это — Пьетро Джанноне, который сам о себе говорит, что он «более правоведа, чем политик». Мы, однако, не будем приводить его суждения, потому что о нем мы уже знаем: это суждение того же Нани, с которым читатель только что познакомился и у которого Джанноне списал его слово в слово, указав на этот раз автора в сноске под текстом.

Я говорю «на этот раз», ибо стоит отметить, если это, как я думаю, еще не делалось, что Джанноне списывает у Нани, вовсе на него не ссылаясь. Так, например, рассказ о восстании в Каталонии и революции в Португалии 1640 года целиком перенесен из сочинения Нани в историю Джанноне и занимает более семи страниц *in quarto* при незначительных опущениях, добавлениях или изменениях, наиболее важное из которых состоит в том,

что он разбил на главы и абзацы текст, который шел непрерывно в оригинале. Но кто бы мог себе вообразить, что неаполитанский адвокат, желая рассказать о других восстаниях, случившихся не в Барселоне, не в Лиссабоне, а в 1647 году в Палермо и в современном ему Неаполе, где произошли исключительные и важные события, где действовал Мазаньелло, не найдет ничего лучшего, как прибегнуть не к документальным материалам, а к уже готовой вещи, к сочинению кавалера и прокуратора св. Марка? Кто бы мог об этом подумать, особенно прочтя слова, которыми Джанноне начинает свой рассказ? А слова эти таковы: «Злосчастные события этих великих смут описывались многими авторами: одни хотели видеть в них явления необычайные, выходящие за рамки естественного, другие отвлекали читателей слишком мелкими подробностями, не давая ясного представления об их истинных причинах, целях, характере и развитии; поэтому, следуя за наиболее серьезными и осторожными писателями, мы сообщим этим событиям их подлинный, естественный характер». И все же каждый легко заметит путем простого сравнения, что тут же после этих слов Джанноне запускает руку в сочинение Нани, перемежая время от времени, особенно вначале, его фразы своими, делая иногда по необходимости то тут, то там замены, подобно тому, как скупщик старого белья спарывает метку прежнего владельца и нашивает на ее место свою. Так, там, где венецианец говорит «в том царстве», неаполитанец пишет «в этом царстве», там, где современник говорит, что «враждующие партии почти целиком сохраняют свои позиции», его последователь пишет, что «еще сохранялись остатки враждующих партий». Правда, помимо этих небольших добавлений и поправок, в этом длиннейшем отрывке также встречаются, словно заплаты, более обширные вставки, не принадлежащие Нани. Но они, — вещь совершенно невероятная, — почти целиком и слово в слово заимствованы у другого: у Доменико Паррино, писателя (в отличие от многих других) забытого, но читаемого много и, быть может, даже больше, чем он

сам на то надеялся, ибо в Италии и за ее пределами столь же читаема, сколь и хвалима «Гражданская история Неаполитанского королевства», подписанная именем Пьетро Джанноне.

Оставаясь в рамках упомянутых двух исторических периодов, Джанноне, переписав в своей книге у Нани, вслед за каталонским и португальским восстанием, падение фаворита Оливареса, берет у Паррино описание того, как был отозван герцог Мединский, вице-король Неаполя, что явилось следствием предыдущего события, и как он изворачивался, чтобы как можно позднее уступить место своему восприемнику Энрикесу де Кабрере. Из того же Паррино в значительной мере взято и описание правления последнего, затем из того и другого, словно для мозаичной работы, взяты описание правления герцога д'Аркуса вплоть до мятежей в Палермо и Неаполе и, как мы отмечали, рассказ об их распространении и окончании в период правления Хуана Австрийского и графа Оньятте. Затем из одного Паррино следуют в виде обширных заимствований или частых вставок описание экспедиции указанного вице-короля против Пьюмбино и Портолонгоне, рассказ о попытках герцога Гиза захватить Неаполь и, наконец, хроника чумы 1656 года. У Нани взято описание Пренейского мира, а у Паррино — небольшое дополнение, в котором указывается на его последствия для Неаполитанского королевства.

Говоря о судах, учрежденных Людовиком XIV в Меце и Бризаке после Нимвегенского мира для решения дел, связанных с его собственными притязаниями на территорию соседних государств, Вольтер в одном из примечаний к своему сочинению «Век Людовика XIV», как и следовало ожидать, с большой похвалой отзывается о Джанноне, но тут же подвергает его критике. Вот перевод этого примечания: «Джанноне, столь известный своей полезной историей Неаполя, утверждает, что эти суды были учреждены в Туринэ. Он часто ошибается в делах, не связанных с его страной. Он пишет, например, что в Нимвегене Людовик XIV заключил мир со Швецией, в то время как она была его

союзницей». Но оставим в стороне похвалу: критика в данном случае не имеет никакого отношения к Джанноне, который, как в других подобных случаях, не прилагал труда, чтоб ошибиться. Правда, в книге «столь известного» человека можно прочесть, что «затем последовал мир между Францией, Швецией, империей и императором» (здесь, впрочем, трудно сказать, чего больше: двусмысленности или ошибки), а также что «затем» французы «учредили трибуналы, — один в Турнэ, другой в Меце, — и, присвоив себе неслыханное право юрисдикции над соседними князьями, не только заставили присудить Франции под видом зависимых земель всю ту область, которую взбрело им на ум присвоить на границах с Фландрией и Империей, но и вступили фактически во владение ею, заставив жителей признать христианнейшего короля своим сувереном, вменив им в обязанность подчиняться его власти и соблюдать все акты, практикуемые государями в отношении подданных». Но слова эти принадлежат бедному, всеми забытому Паррино, и они не извлечены из его исторического опуса, а перенесены целиком вместе с ним в сочинение Джанноне, ибо последний, вместо того чтобы срывать плоды там и сям, часто вырывает с корнем все дерево и пересаживает его в свой сад. Можно сказать, таким образом, что все сообщение о Нимвегенском мире попало к Джанноне от Паррино так же, как в значительной мере, с большими опущениями и немногими дополнениями, перекочевало в его книгу описание правления в Неаполе вице-короля маркиза де лос Велес, во времена которого и был заключен означенный мир. Описанием этого мира Паррино завершает свое сочинение, а Джанноне — предпоследнюю главу своей книги. И если кому-нибудь взбрело бы в голову заняться для забавы сравнением обоих текстов, включая и разделы обо всем предшествующем периоде испанского владычества в Неаполе, тот, возможно — почти наверняка! — обнаружил бы повсюду то, что мы нашли в разных частях и, если не ошибаюсь, без всяких ссылок на обобранного автора. Точно так же, как мне подсказал один ученый и любезный человек,

Джанноне берет у Сарпи, совсем о нем не упоминая, многие куски и схему одного из его отступлений. И кто знает, сколько еще других незамеченных хищений мог бы открыть внимательный исследователь в трудах Джанноне, но уже того, что мы видели в трудах этого знаменитого и достохвального автора в смысле заимствований у других не скажу порядка и расположения материала, оценок, замечаний или общего духа, а прямо целых страниц, глав и книг, достаточно для того, чтобы назвать его, как говорится, феноменом. Было ли то бесплодием или ленью ума, но во всяком случае речь шла о редкостном явлении, как на редкость выдающейся была смелость этого писателя и уникальной — возможность оставаться при всем при том (пока это так) великим человеком. И данное обстоятельство, наряду с той историей, которая навела нас на разговор об этом, заставят доброжелательного читателя простить нам это отступление, по правде говоря, слишком длинное для второстепенной части небольшого сочинения.

Кто не помнит незавершенного стихотворения Парини о позорном столбе? Но кто не удивился бы, не найдя здесь о нем упоминания?

Вот несколько строк из этого стихотворения, в котором знаменитый поэт перекликается, к сожалению, с молвой и слепо верит в содержание надписи на столбе.

И вот среди ветхих домов и немногих
руин я увидел позорную площадь.
На ней стоит одинокий столб,
заросший бурьяном, залепленный грязью.
Сих мест человек избегает и всяк отвернется,
воскликнув: прочь,
прочь, добрые люди, иначе эти гиблые
места заразят вас своим позором.

Таково ли в действительности было мнение самого Парини? Этого никто не знает. То, что он его выразил столь утвердительно, хотя и стихами, еще ничего не доказывает, ибо в то время за поэтами была признана привилегия использовать любые верные или неверные поверья, способные произвести на читателя сильное или приятное впечатле-

нпе. Привилегия! Да разве поддерживать и питать людские заблуждения является привилегией? Но на это отвечали, что ничего подобного не могло быть, ибо никто не верил, что поэты могли говорить правду. Возразить на это нечего: странно лишь, что сами поэты были довольны как предоставленным им правом, так и его мотивировкой.

Наконец появился Верри, который первым, спустя сто сорок семь лет, увидел и объяснил, кто действительно был повинен в гибели несчастных жертв, столь нелепо униженных и варварски казненных. Он первым призвал выразить им должное, хотя и запоздалое сострадание. Но что из этого получилось? Его «Рассуждения», написанные в 1777 году, были изданы, наряду с другими его опубликованными и неопубликованными произведениями, лишь в 1804 году в сборнике «Итальянские классики политической экономии». Издатель следующим образом объясняет причину такого запоздания в «Сообщении», предпосланном указанным произведениям. «Существовало мнение, — говорит он, — что уважение к сенату может быть поколеблено этим гнусным делом, совершенным в далеком прошлом». В те времена это было обычным следствием корпоративного духа, благодаря которому каждый вместо того, чтобы признать ошибки своих предшественников, брал на себя вину за глупости, которых не совершал. Сейчас для подобного духа не нашлось бы достаточно оснований. Вряд ли кому захотелось бы в наши дни вваливать на себя груз прошлого, ибо почти на всем континенте Европы юридические корпорации созданы сравнительно недавно. Исключений здесь мало, главным образом одно. Речь идет о корпорации, которая, не будучи учрежденной людьми, не может быть ни отменена, ни заменена чем-нибудь другим. Кроме того, этот дух, как никогда ранее, подрывается и ослабляется духом индивидуализма: свое «я» считается слишком всеобъемлющим, чтобы в чем-то зависеть от «мы». И тут в нем наше спасение, но боже упаси сказать: везде.

Во всяком случае, Пьетро Верри не принадлежал к числу тех, кто из почтения к сенату спосо-

бен был отказаться от обнаружения истины. Ее доказательство представлялось ему важным для борьбы с предрассудком, а тем более для достижения той цели, которой он хотел подчинить весь свой труд. Но было одно обстоятельство, которое требовало уважения к себе. Отец прославленного писателя был председателем сената. В истории случалось не раз, что добрые побуждения оказывали услугу недобрым и что в силу тех и других причин истина, для осознания которой людям потребовалось немало лет, должна была оставаться сокрытой еще некоторое время.

КОММЕНТАРИИ

ГРАФ КАРМАНЬОЛА

Трагедия была написана между 15 января 1816 и 12 августа 1819 года. Работу над ней Мандзони вел иногда со значительными перерывами. В 1820 году, получив цензурное разрешение, она была напечатана в Милане. В 1828 году, вопреки желанию автора, она была представлена на сцене театра «Гольдони» во Флоренции. Подготавливая издание своих «Разных сочинений» («Opere varie», Милан, 1845), Мандзони подверг первую редакцию пересмотру. Сравнение двух редакций показывает, что правка носила преимущественно языковой характер. В настоящее время в Италии периодически публикуются как первая редакция (см. издание: А. Manzoni. «Tragedie» a cura di Giulio Bollati. Einaudi editore. Torino, 1965), так и вторая. Для перевода на другой язык разница между двумя редакциями практически неуволнима.

Русский перевод Н. М. Соколова, опубликованный в конце прошлого века, воспроизводится без изменений (за исключением некоторых поправок в транскрипции имен собственных). В конце примечаний к этой трагедии в качестве приложения дается перевод предисловия А. Мандзони к «Графу Карманьола», которое является кратким изложением его взглядов на принципы новой драмы и одновременно одним из манифестов итальянского романтизма.

Учитывая, что сборнику предпослана обстоятельная вступительная статья проф. Б. Г. Реизова, к переводу трагедии авторские вступительные «Исторические заметки» не помещаются.

Стр. 33. *То прячется пугливо в старом замке...* — то есть в своем Миланском замке. «Прячется пугливо» и «затекает пышные пиры» — подсказано переводчику не столько текстом Мандзони, сколько собственным поэтическим воображением (исходя, впрочем, из характера миланского герцога).

Стр. 34. *Протянем руку помощи... Флоренции...* — В подлиннике сказано несколько сильнее: «Святой союз связывает свободные страны», то есть Флоренцию и Венецию. Это указание на «свободные» державы существенно для исторических оценок Мандзони.

Под звуки лести Лев Венецианский... — то есть лев Св. Марка, символ Венеции.

Стр. 38. *Как будто я убийца прежних дней, // Во храме ищущий последнего спасенья...* — Подразумевается право неприкосновенности, которым располагал любой преступник, укрывшийся в храме.

Стр. 42. *...огражден // Я властью...* — Тут досадная оплошность переводчика. Марко (в представлении Мандзони) не мог ссылаться на власть. Он говорит, что огражден «общественным интересом», ибо он сенатор, и, стало быть, в нем заинтересовано общество как в своем слуге.

Стр. 49. *Казаль, Квинцано, Бина...* — нынешние: Касальмаджоре на левом берегу По, к северу от Пармы; Бинамова и Киндзано.

Стр. 55. *Ты наступил, мой день...* — Этот небольшой сильный монолог Карманьолы переводчик слегка растянул (вместо 12 стихов у него получилось 16) и одновременно сделал более вялым. В подлиннике после слов: «Ты наступил, мой день...» следует не: «Я звал тебя...», а обращение к герцогу Филиппу, который в свое время не пожелал выслушать Карманьолу. Именно тогда приобретают подлинный смысл: «Свои слова я помню...» и следующий за ними текст.

Стр. 60. *Конец второго действия.* — Эту помету следовало бы поставить перед хором, так как хор вставлен автором между вторым и третьим действиями.

Стр. 61. *Тому, кто помнить не хотел меня...* — то есть напомнил о себе герцогу Филиппу.

Стр. 69. *Он не забудет боевых приличий...* — Речь идет не столько о «приличиях», сколько о древнем рыцарском обычае (*antica Cortesia della guerra*).

Стр. 72. *Зачем вредить недавнему синьору?..* — то есть герцогу Филиппо Висконти.

Стр. 90. *...виновен вождь, который командовать их флотом не умел...* — то есть Никола Тревизан.

Стр. 105. *Теперь они уж знают все!..* — «Они» — это жена и дочь,

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРАГЕДИИ «ГРАФ КАРМАНЬОЛА»

Публикуя произведение, построенное на вымысле и не согласующееся с господствующими в Италии вкусами и понятиями, я не решаюсь утомлять читателя пространным изложением принципов, которыми я руководствовался в своей работе. Некоторые недавно появившиеся сочинения¹ заключают в себе столь новые и точные мысли о драматической поэзии, пригодные для самого широкого применения, что в них без труда можно отыскать оправдание для драмы, хотя и не согласной с правилами аптичных поэтик, но тем не менее построенной по определенному замыслу. К тому же всякое произведение содержит в себе некоторые условия, по коим желающий с ним ознакомиться может составить себе определенное суждение. На мой взгляд, условия эти таковы: какую задачу ставит перед собой автор, разумна ли эта задача, справился ли с ней автор. Не считаться с этим и стремиться во что бы то ни стало судить о произведении с точки зрения правил, самая универсальность и целесообразность которых является спорной, значит обречь себя на искаженное суждение о произведении, что, впрочем, само по себе является еще не самым большим злом, с которым можно встретиться в этом мире.

Среди разнообразных способов, измышленных людьми, дабы возможно больше затруднить понимание друг друга, нет более хитроумного, чем стойко держаться противоположных мнений, приписывая каждому из них равную непогрешимость. Распространяя этот способ даже на такое бесхитростное дело, как поэзия, его сторонники говорят: будь сам собой, но не делай ничего такого, примера чему ты не отыскал бы у своих великих предшественников. Подобные заклинания, делая искусство еще более сложным, чем оно есть на самом деле, отнимают у писателя всякую надежду объяснить свою работу, даже при условии, что его не останавливает боязнь попасть в смешное положение, в какое попадает человек, защищающий свои стихи.

Но поскольку вопрос о двух единствах, времени и места, может обсуждаться совершенно абстрактно, не касаясь данной трагедии, и поскольку единства эти, несмотря на доводы

¹ Под этими «сочинениями» Мандзони имеет в виду прежде всего работу А.-В. Шлегеля «Лекции о драматическом искусстве».

против них, кажущиеся мне лично неопровержимыми, многие все еще продолжают считать необходимым условием драмы, мне придется вкратце заняться их рассмотрением. Попытаюсь дать краткое добавление к работам, борющимся против этих единств, а не простое их повторение.

I. Единство места и так называемое единство времени не являются правилами, основанными на сущности искусства, как не вытекают они и из характера драматической поэзии, но обязаны своим появлением плохо понятому авторитету и произвольным толкованиям: это станет ясным всякому, кто пожелал бы вникнуть в их происхождение. Единство места родилось благодаря тому обстоятельству, что большая часть греческих трагедий изображала действие, происходившее в одном месте, и благодаря убеждению, будто греческий театр должен служить вечным и исключительным образцом драматического совершенства. Единство времени обязано своим происхождением одному отрывку из Аристотеля *, который, как прекрасно заметил Шлегель **, не содержит никакого предписания, а просто упоминает о том, что этого единства обычно придерживался греческий театр. Шлегель говорит, что если бы Аристотель в самом деле имел намерение установить непреложный закон, то в его фразе заключался бы двойной недостаток: отсутствие четкой мысли и надлежащего обоснования.

Когда же появились люди, которые, не считаясь с авторитетами, попросили обосновать эти правила, то их ревнители смогли сослаться лишь на то, что зритель, присутствующий на спектакле, сочтет неправдоподобным, если разные части театрального действия будут происходить в разных местах и если действие будет длиться долгое время, ибо он точно знает, что не двигался с места и затратил немного времени на наблюдение за этим действием. Подобное рассуждение основано на очевидно ложном предположении, будто зритель, находясь в театре, является соучастником действия; между тем как он является, так сказать, посто-

* «Эпическая поэзия отличается от трагедии тем, что имеет простой размер и представляет собою повествование, а кроме того они различаются по объему: трагедия старается, насколько возможно, вместить свое действие в круг одного дня или лишь немного выйти из этих границ, а эпос не ограничен временем, чем и отличается от трагедии».

(Под * здесь и дальше — примечания автора.)

** «Курс драматической литературы», Лекция X.

ронным разумом, который его созерцает. Правдоподобие для зрителя не должно вытекать из отношения действия к его собственному действительному бытию, а из отношений, которые различные части действия имеют между собой. Если принять во внимание, что зритель находится вне действия, доводы в пользу единства исчезают.

II. Эти правила не согласуются с другими принципами искусства, принятыми теми самыми людьми, которые полагают их необходимыми. В самом деле, в трагедии сходит за правдоподобное многое из того, что никак нельзя было бы счесть таковым, если бы к нему применяли тот самый принцип, которым обосновывается необходимость двух единств, а именно, что только то является правдоподобным, что согласуется с присутствием зрителя, что могло бы в его глазах сойти за объективную реальность. Если бы кто сказал, к примеру: вон те два персонажа, которые, удостоверившись, что они одни, секретничают между собой, разрушают всякую иллюзию, поскольку я же знаю, что они отлично видят меня, видят других зрителей и прекрасно понимают, что и мы их видим,—его возражение было бы в точности схожим с тем, которое делают критики по отношению к трагедии, пренебрегающей двумя единствами. Такому человеку можно ответить так: зрительный зал не участвует в пьесе. Такой ответ будет правильным и по отношению к двум единствам. Если бы кто-нибудь спросил, почему ложный принцип не должен применяться и в этих случаях, и почему искусству не навязано и это иго, я думаю, что ответить следовало бы так: об этих случаях у Аристотеля ничего не сказано.

III. Если же эти правила рассматривать с точки зрения опыта, то веским доказательством того, что они не нужны для иллюзии, является простой факт: публика, повсеместно присутствуя на представлениях, где правил не соблюдают, подвластна иллюзии, внушаемой искусством; а зритель в этих делах может служить лучшим свидетелем. Ибо, не подозревая о существовании различий между разными видами иллюзий и не имея никакого теоретического представления о правдоподобии в искусстве, установленном некоторыми эстетиками, он не мог бы под воздействием абстрактной идеи или предварительного умозаключения воспринимать в качестве правдоподобного то, что в обычных условиях такого впечатления не производит. Если бы сценические перемены разрушали иллюзию, она бесспорно должна была бы разрушиться скорее у широкой публики, нежели

у образованных людей, которым легче настроить свою фантазию по воле художника. Если отвлечься от народной драмы и обратиться к тому, насколько считалась с этими правилами драма литературная разных стран и разных эпох, то легко обнаружить, что в греческой трагедии они никогда не имели силы закона и нарушались всякий раз, когда сюжет того требовал; что самые знаменитые английские и испанские драматурги, являющиеся истинно национальными поэтами, не знали их или не считались с ними; что немцы отказывались от них сознательно; что во французском театре их вводили с большим трудом. Единство места встретило особенное сопротивление со стороны самих актеров, когда его ввел Мерз в своей «Софонисбе», почитавшейся первой правильной французской трагедией. Есть что-то роковое в том, что трагедия, писанная по правилам, непременно должна начаться скучной Софонисбой!¹ В Италии этим правилам подчинились как непреложному закону, без всяких, насколько я знаю, споров, а стало быть, и без серьезного их обсуждения.

IV. Впрочем, по капризу причудливой судьбы те, кто защищал эти правила, на деле их не придерживались. Ибо, не говоря уже о некоторых нарушениях единства места, случавшихся в ряде итальянских и французских трагедий, именовавшихся правильными, следует заметить, что и единство времени не соблюдали и не толковали буквально: то есть не ставили знака равенства между фиктивным временем, приписываемым действию, и реальным временем, занимаемым представлением. Едва ли во всем французском театре найдутся три или четыре трагедии, которые выдерживают это условие. «Поскольку (говорит один французский критик) крайне затруднительно сыскать сюжет, который бы уместился в столь стеснительные пределы, то правило единства времени расширили до двадцати четырех часов»*. Делая подобную уступку, авторы трактатов тем самым признают вред правила и, стало быть, фактически лишают его смысла. Можно, конечно, спорить о том, должно ли действие выходить за пределы времени, занятого представлением, но кто сам отказывается от этого условия, как может требовать он от других, чтобы те придерживались сих произвольных огра-

¹ В Италии «правильная» трагедия также началась с «Софонисбы», сочинения Дж. Триссино (1514).

* Batteux. «Principes de la littérature». Traité V, chap. 4.

ничений? Что можно сказать критику, который считает, что допустимо толковать правила расширительно? Тут, как и во многих других случаях, разумнее требовать большей категоричности. Есть сколько угодно доводов в пользу освобождения от этих правил; но нельзя найти ни одного в пользу ослабления правил для тех, кто желает им следовать. «Желательно (говорит другой критик), чтобы фиктивная длительность действия ограничивалась временем спектакля; но надо быть врагом искусства и радости, которую оно несет, чтобы предписать ему законы, коим оно не может следовать без того, чтобы лишиться полезнейших своих средств и самых редких красот. Есть счастливые вольности, которые публика молчаливо прощает поэту при условии, что эти вольности пойдут ей в радость и душевное удовольствие; к числу таких вольностей относится условно-лукавое увеличение реального времени театрального действия»*. При всем уважении, которое я питаю к Мармонтелю и к достойнейшему его произведению, откуда взята вышеприведенная цитата, замечу, что выражение «счастливые вольности» применительно к литературе вряд ли имеет смысл; оно просто и понятно — как и многие подобные же выражения в прямом, обыденном своем значении, но как метафора заключает в себе противоречие. Обычно вольностью называют то, что противоречит предписанным правилам. И в этом смысле они могут быть счастливыми постольку, поскольку им может сопутствовать успех. Это выражение было перенесено в грамматику, и там оно оказалось на месте, учитывая, что грамматические правила, являясь условными и, следовательно, подверженными изменению, могут быть нарушены писателем для того, чтобы выразить свою мысль яснее; но в области прекрасного дело обстоит иначе. Там правила должны быть основаны на природе искусства, они должны быть необходимы, непреложны, независимы от воли критиков, должны быть найдены, а не созданы, и, следовательно, их нельзя нарушить, не нарушая сущности искусства.

Но к чему столько рассуждений о двух каких-то словах? А к тому, что именно в этих двух словах заключена ошибка. Когда держатся ошибочного мнения, то его обычно стараются доказать с помощью метафорических и двусмысленных фраз, верных в одном смысле и ложных в другом; ибо фраза ясная сразу бы обнаружила противоречие. Для

* Marmontel. «Eléments de littérature, art. Unité.

того чтобы вскрыть ложность данного мнения, достаточно указать на его двойной смысл.

V. Наконец, эти правила мешают созданию многих красот и вызывают множество неудобств.

Я не считаю нужным доказывать примерами первую часть своего утверждения: это убедительно делалось уже не раз. Выводы из самого поверхностного рассмотрения некоторых английских или немецких трагедий напрашиваются с такой очевидностью, что даже многие сторонники правил вынуждены были с ними согласиться. Они признали, что если не связывать себя заранее ограничением места и времени, то можно создать вещи, несравненно более разнообразные и сильные; они не отрицают красот, достигаемых при отступлении от правил, но утверждают, что от красот этих следует отказаться, поскольку для их достижения придется жертвовать правдоподобием. Так вот, если согласиться с этим возражением, станет ясно, что неправдоподобие, которого столь опасаются, может стать ощутимым лишь в спектакле, и что поэтому трагедия, предназначенная для сцены, не может достичь степени совершенства трагедии, являющейся по существу поэмой в диалогах, и предназначенной для чтения наравне с любым иным повествованием. А раз так, то всякий желающий извлечь из поэзии все, что она может дать, неизбежно должен был бы предпочесть этот второй род трагедии. Перед выбором: что предпочтительнее — материальное действие или сущность поэтической красоты, кто стал бы сомневаться? И конечно, менее всего критики, полагающие, что греческие трагедии никогда не были превзойдены новыми, что они производят высочайшее поэтическое воздействие. Хотя известны они нам только в чтении. Я не хочу этим сказать, что пьесы, не соблюдающие единств, становятся неправдоподобными на сцене; просто я хотел дать почувствовать, чего стоит сам исходный принцип.

Неудобства, вытекающие из необходимости придерживаться двух единств, особенно единства места, признаны самими критиками. Однако кажется невероятным, что неправдоподобия, встречающиеся в драмах, построенных согласно правилам, так покорно принимаются теми, кто требует соблюдения правил с единственной целью добиться правдоподобия. Я процитирую только один пример подобной покорности с их стороны: «В «Цинне» потребовалось, чтобы заговор состоялся в комнате Эмили и чтобы Август

явился в ту же комнату, дабы смутить Цинну и даровать ему прощение: все это не очень естественно». Неудобство очевидное, и в нем искренно сознаются. Но оправдание дается странное. Вот оно: «Потребовалось!» *

Может быть, здесь излишне многословно настаивалось на вещах, очевидных для всех, могущих показаться даже банальными. Но я напомним слова, сказанные по аналогичному случаю одним из известных писателей. «Нет большой беды во всем этом ошибиться; но еще лучше по возможности не ошибаться вовсе» **. И тем не менее я считаю, что вопрос этот является в некотором смысле существенным. Банальной бывает лишь чистая ошибка. Все, что относится к искусству слова и к различным способам воздействия на мысли и чувства людей, по своей природе связано с чрезвычайно важными вещами. Драматическое искусство можно встретить у всех цивилизованных народов. Одни считают его мощным средством совершенствования людей, другие, — мощным средством развращения, но никто не считает его безразличным. Ясно одно, что все, что стремится приблизить или отдалить его от истины и совершенства, будет препятствовать или направлять, увеличивать или уменьшать его влияние.

Эти последние соображения побуждают задаться вопросом, уже не раз обсуждавшимся, ныне почти забытым, но, однако, никоим образом еще не решенным: является ли драматическая поэзия полезной или вредной? Я понимаю, что в наши дни может показаться назойливым сохранять какое-нибудь сомнение на этот счет, поскольку общество всех цивилизованных наций высказалось в пользу театра. Думается, однако, нужно много отваги для того, чтобы так просто подписаться под мнением, против которого протестовали Николь, Боссюз и Ж.-Ж. Руссо, имя которого, вкуче с вышеназванными именами, имеет немалый авторитет. Эти писатели единодушно утверждали: во-первых, что пьесы, известные им и ими рассмотренные, безправственны; во-вторых, что все пьесы неизбежно являются таковыми, в противном случае они будут холодными и, стало быть, порочными с точки зрения искусства и что вследствие этого драматическая поэзия представляет собой нечто такое, от чего следует отказаться, так как хотя она и доставляет удоволь-

* Batteux, I с.

** Fleury. «Moeurs des Israélites», X.

ствие, но удовольствие это по существу вредоносно. Всецело соглашаясь относительно пороков драматической системы, обсуждавшейся вышеупомянутыми писателями, я решаюсь считать необоснованными делаемые ими нападки против драматической поэзии вообще. Мне кажется, что они заблуждаются, не допуская существования иной драматической системы, кроме той, которой следуют французы. Между тем, может существовать и уже существует другая система, которая может пробудить высочайший интерес, будучи избавленной от неудобств первой: система, ведущая к целям нравственным, а вовсе им не противоречащая. К данному размышлению о драматических сочинениях я намеревался присовокупить рассуждение об этом предмете. Но, будучи вынужден некоторыми обстоятельствами отложить этот труд до других времен, я считаю себя обязанным уведомить об этом предполагаемом труде, поскольку считаю неудобным высказывать мнение, противоречащее обоснованному мнению таких выдающихся людей, не приводя для этого своих соображений или хотя бы не обещая привести их в будущем.

Мне остается объяснить появление хора, вводимого один раз в данной трагедии, который из-за того, что составляющие его персонажи не названы, может показаться капризом или загадкой. Я лучше всего объясню мое намерение, если сошлюсь частично на то, что сказал о греческих хорах Шлегель: «Хор нужно рассматривать как воплощение нравственных мыслей, которые вызываются действием; как выразителя чувств поэта, говорящего от имени всего человечества». И немного далее: «Греки желали, чтобы в каждой драме хор... являлся прежде всего представителем национального гения, а затем защитником дела человечества: хор, наконец, это идеальный зритель; он умеряет слишком сильные и тяжелые впечатления от действия, чересчур близкого к истинному; переадресуя, если можно так выразиться, реальному зрителю свои собственные переживания, он передает их ему смягченными неопределенностью лирического и гармонического выражения и, таким образом, приводит зрителя в более спокойное состояние созерцания»^{*}. И вот мне кажется, что если греческие хоры и несовместимы с системой современной трагедии, то можно, по крайней мере частично, сохранить их конечную цель, обновить их

^{*} «Corso di letteratura drammatica». Lezione III.

дух, вставляя лирические отрывки, сочиненные в согласии с идеей этих хоров. Если то, что подобные лирические вставки не зависят от действия и не связаны с персонажами, лишает их эффекта, который производили греческие хоры, они зато, на мой взгляд, способны к порывам более лирическим, более разнообразным, более раскованным. Кроме того, их преимуществом перед античными хорами является отсутствие в них следующих недостатков: не будучи связаны с построением действия, они не требуют изменения или перестройки действия для того только, чтобы их можно было в нем сохранить. Наконец, их преимущество в том, что, предоставляя поэту ограниченное место, где он может говорить от собственного имени, они умеряют испытываемое им искушение ввести в действие или внушить персонажам собственные свои чувства, недостаток, которому подвержены самые известные драматические писатели. Не помышляя о том, смогут ли эти хоры когда-нибудь быть поставлены на сцене, я предлагаю их для чтения. Прошу читателей рассмотреть этот новый замысел независимо от данной статьи, поскольку он может придать дополнительный вес и совершенство искусству, предоставляя ему более непосредственное, более верное и более определенное средство нравственного воздействия.

Я предпосылаю своей трагедии несколько исторических замечаний о персонажах и обстоятельствах, составляющих ее сюжет, полагая, что тот, кто захочет прочитать произведение, в котором смешаны историческая правда и художественный вымысел, пожелает иметь возможность без долгих изысканий различить, что в ней сохранено из действительных событий.

А. Мандзони

АДЕЛЬГИЗ

Работу над этой трагедией Мандзони начал вскоре после окончания «Графа Карманьолы». Начав 9 сентября 1820, он завершил ее к весне 1822 года (цензурное разрешение от 2 мая). Трагедия была напечатана в Милане в 1822 году. 13 мая 1843 года состоялась премьера «Адельгиза» в туринском театре Кариньяно. Так же как и «Графа Карманьолу», Мандзони заново отредактировал «Адельгиза» для своего «Собрания разных сочинений» 1845 года. Как и в первом

случае, правка носила характер преимущественно стилистический.

На русском языке трагедия публикуется впервые (если не считать хора «Смерть Эрменгарды», переведенного известным поэтом XIX в. И. И. Козловым). Перевод С. Ошера сделан специально для настоящего издания; им же переведены авторские вступительные «Исторические сведения», помещенные здесь в качестве приложения.

Стр. 115. *...у западного вала...* — то есть у западной части оборонительных сооружений Павии.

Стр. 116. *Ждет она предстать // Пред очи матери — но тщетно...* — Тут, в интересах трагедийного начала, Мандзони предпочел нарушить историческую правду: мать Эрменгарды была еще жива.

А ты, Вермунд мой верный... — Децидериус дает наказ Вермунду предупредить Эрменгарду о смерти матери.

Стр. 117. *Те, что держали сторону Ратгиза...* — Ратгиз был королем лангобардов с 744 по 749 г.

...горше их удела... — то есть горше удела сторонников Ратгиза.

Стр. 118. *Двух сыновей, которых поведем мы // На Тибр...* — то есть в Рим.

И там первосвященнику... — Речь идет о папе Адриане (772—795). Согласно обычаю, помазание на царство франкских королей совершал римский первосвященник, то есть папа.

Стр. 119. *...Гроза мятежных // И победитель греков...* — Речь идет о короле лангобардов Айстульфе (749—756), победителе византийцев, у которых он отнял экзархат Равенны.

Склоняя знамена дважды... — в 754 и 755 гг.

...Стефана руку... — то есть папы Стефана II (752—757).

Но, из-за Альп услышав их, Пипин... — Пипин Короткий, сын Карла Мартелла, король франков (752—768).

...грозно грянул на Сполето... — Владетельный герцог Сполето восстал против лангобардов (758), был начисто разбит и взят в плен.

Стр. 122. *...которой косу // В тот день обрезала...* — Согласно обычаю, в день свадьбы невесте обрезали косу.

Стр. 123. *...В святую обитель...* — в монастырь Сан-Сальваторе (Спасителя), настоятельницей которого была сестра Эрменгарды.

...*Не видеть берегов Тицина Берте...* — то есть не видеть берегов реки Тичино, на которой стоит Павия, матери короля Карла Берте.

Стр. 125. *Зови к нам Верных!..* — то есть «зови вассалов».

Стр. 126. *...земли, // Что дарены Петру Пипином славным...* — речь идет о землях, составляющих «папские владения».

Стр. 127. *...Ангел, дважды...* — Обыгрываются слова библейского ангела, обращенные к Лоту: «не оглядывайся назад» (Бытие, XIX, 17).

Стр. 128. *...Пусть любой судья // Объявит о войне...* — Под судьей в данном случае следует понимать правителя провинции (области); лангобардское королевство разделялось на области, во главе которых стояли «судьи» (губернаторы, правители).

Стр. 129. *...На дне сосуда...* — Речь идет о сосуде, «урне» фортуны, на дне которой лежат судьбы людей.

Стр. 132. *Какой-нибудь латинянин...* — Завоеванные латиняне находились на низшей ступени тогдашнего иерархического общества.

Стр. 135. *...Отправляюсь // На Везер...* — Карл говорит, что отправится продолжать прерванную кампанию против саксонцев.

Стр. 137. *...лангобарды // Теперь гнездятся, имя дав стране...* — От лангобардов пошло нынешнее название «Ломбардия».

Стр. 139. *...а уж после взял // На полночь, влево...* — Точнее было бы сказать: «...взял на север, вправо».

Стр. 141. *Израиля палатки, возделенный Иакова шатер...* — Такими торжественными библейскими словами Мартин приветствует лагерь Карла (Числа, XXIV, 5).

Стр. 142. *...то пастырской повязкой // Украсится чело твое...* — Мартин и в самом деле сменил Льва в должности епископа Равенны.

Стр. 144. *Ликует, словно в день под Эрсбургом...* — город, захваченный Карлом у саксонцев.

...В чьем лоне спят властители вселенной... — древние римляне и первые христиане, мученики за веру.

Стр. 149. *Венец, венчавший двадцать королей...* — У Де-зидерия и Адельгиза было двадцать предшественников на престоле.

Стр. 155. *...Тебе покорных лангобардов руки...* — так, по обычаю, устанавливались отношения вассальной зависимости.

Стр. 156. *Что вождь полков германских не воюет // С германским племенем...* — Племена франков и лангобардов равно германского происхождения. Тема эта будет затронута в хоре третьего действия.

Стр. 160. *Будь проклят день...* — Речь идет о начале лангобардского владычества в Италии.

Стр. 161. *...в Павии... Дважды был в ней заперт Беглец Айстульф...* — Речь идет о двукратном походе франкского короля Пипина.

Стр. 167. *Здесь Баудо, // Наш родич благородный, и Ансвальд...* — Ансвальд — епископ Равенны и брат Баудо.

...С Бенакских берегов... — то есть с берегов озера Гарда.

Стр. 169. *...плоть освяти...* — то есть «прими монашество».

Стр. 175. *Воздух пила живительный Салического края...* — то есть воздух Галлии (Франции), где расселились салические франки.

Стр. 189. *Убежище у греков император // Сулит тебе...* — император Византии.

Стр. 202. *...О, царь царей, // Ты, преданный одним из Верных...* — обращение к Христу, преданному Иудой и покинутому своими «верными».

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

События, предшествовавшие действию трагедии

В 568 году племя лангобардов под предводительством короля Альбоина покинуло Паннонию, отдав ее аварам, и, умноженное двадцатью тысячами саксов и выходцев из других северных племен, вторглось в Италию, подвластную тогда византийским императорам. Заняв часть страны, коей племя дало свое имя, Альбоин основал там королевство, в котором резиденцией монархов сделалась позже Павия. Впоследствии времени лангобарды мало-помалу увеличили свои владения в Италии, либо расширяя границы королевства, либо основывая герцогства, в большей или меньшей мере зависящие от короля. К середине восьмого столетия Италийский полуостров был занят ими, за изъятием нескольких венецианских поселений на материке и Равеннского экзархата, сохраненного до той поры Империей наравне с немногими приморскими городами Веллкой Греции. Рим и прилежащее герцогство считались владениями

императора, чья власть, однако, день ото дня все более ограничивалась и слабела, меж тем как власть первосвященников возрастала. Лангобарды в разные времена предпринимали набеги на эти земли, пытаясь завладеть ими и в них укрепиться.

754 год

Айстульф, король лангобардов, захватывает некоторые из названных земель и угрожает остальным. Папа Стефан II отправляется в Париж просить помощи у Пипина и совершает помазание одного на царство над франками. Пипин вторгается в Италию, прогоняет Айстульфа в Павию, где осаждает его, а после, при посредничестве папы, соглашается на договор, по которому Айстульф клятвенно обязуется очистить занятые города.

755 год

По уходе франков Айстульф нарушает договор, облагает осадой Рим и опустошает его окрестности. Стефан снова обращается к Пипину, тот предпринимает новое вторжение; Айстульф поспешает к Альпийской Кьюзе, но Пипин, одолев укрепления, оттесняет Айстульфа в Павию. Близ этого города к Пипину явились двое посланных от императора Константина Копронима и, предлагая великие дары, просили вернуть империи города экзархата, отвоеванные у лангобардов. Пипин, однако же, отвечал, что воевал не затем, дабы послужить или угодить людям, а лишь из благочестивой приверженности св. Петру и ища отпущения грехов, а потому ни за какую цену не желает отнимать у св. Петра однажды данное ему. Этот ответ разом разрешил на деле любопытнейший вопрос, вызывающий правовые споры вплоть до наших дней: так ум человеческий с охотой занимается подолгу теми вопросами, что неудачно поставлены. Айстульф, запертый в Павии, вновь идет на соглашение и дает те же обещания. Пипин, по возвращенье в свою страну, посылает папе грамоту, подтверждающую дар.

756 год

Айстульф умирает. Дезидерий, родовитый муж из Брешии, один из лангобардских герцогов, стремится к престолу. Он созывает лангобардов в Тоскане, где находился, будучи

послан туда Айстульфом, и те выбирают его королем. Ратгиз, брат Айстульфа, бывший до него королем, но потом принявший монашество, снова притязает на королевскую власть. Выйдя из монастыря, он собирает людей и идет против Деизидерия. Этот последний обращается к папе, каковой, взяв с него обещание вернуть захваченные Айстульфом и все еще не покинутые лангобардами города, соглашается оказать ему покровительство и советует Ратгизу вернуться в Монтекассино. Ратгиз слушается совета, и Деизидерий остается королем лангобардов.

В каком точно году, неизвестно, но без сомнения в один из первых годов своего царствования Деизидерий вместе с женой своей Ансой основал в Брешии монастырь Спасителя, после названный монастырем св. Юлии; первой настоятельницей его была Ансберга, или Ансельберга, дочь Деизидерия.

758 год

Альбоин, герцог Беневентский, и Лиутпранд, герцог Сполетский, поднимают мятеж против Деизидерия, предавшись под покровительство Пипина. Деизидерий нападает на них, наносит им поражение, Альбоин берет в плен, а Лиутпранда обращает в бегство. В том же либо в следующем году соправителем Деизидерия становится сын его, в папских посланиях и хрониках именуемый Адельхисом, Атальгизом и даже Альгизом, но в государственных актах — Адельгизом.

В 768 году Пипин умер, и королевство было разделено между его сыновьями Карлом и Карломаном. Письма к Пипину от Павла I и Стефана III, преемников Стефана II, полны жалоб на Деизидерия, не только не вернувшего обещанные города, но и захватившего новые, и призывов напасть на него.

770 год

Берта, вдова Пипинова, желая завязать узы дружбы между своим домом и домом Деизидерия, прибывает в Италию и предлагает Деизидерию выдать дочь его Деизидерату, или Эрменгарду, за одного из своих сыновей, а Адельгизу взять в жены дочь Пипина Гизелу. Стефан III пишет ко-

ролю франков знаменитое письмо, в коем отговаривает его вступать в такое родство. Но вопреки этому Берта увезла с собою к франкам Эрменгарду, и Карл, впоследствии прозванный Великим, на ней женился. Брак же между Адельгизом и Гизелой заключен не был.

771 год

Карл, по неизвестной нам причине, разводится с Эрменгардой и женится на Хильдегарде из племени свевов. Мать Карла Берта прокляла развод, что стало причиной единственной размолвки, когда-либо между ними бывшей. Карломан умирает; Карл поспешно прибывает в Карбопак в Арденнском Лесу, на границе обоих королевств, и, получив за себя голоса выборщиков, провозглашается королем, так заместивши брата. Герберга, вдова Карломана, с двумя сыновьями и с немногими баронами пускается в бегство и укрывается у Деидерия. Карл задет этим за живое.

772 год

Место Стефана III заступает Адриан. Деидерий отправляет к нему посольство с просьбою о дружбе; новый папа отвечает, что хотел бы жить в дружбе с лангобардским королем, как и со всеми христианами, однако не видит, как можно полагаться на человека, так и не исполнившего данных под клятвой обещаний и не вернувшего церкви ее достояния. Деидерий нападает на другие земли Дарованного удела.

События, вошедшие в трагедию.

772—774 годы

Покуда Карл воевал против саксов, у которых захватил Эрсбург (по мнению некоторых, нынешний Штадтберг в Вестфалии), Деидерий, желая отомстить ему и заодно посорить его с папой, надумал принудить последнего короновать франкскими королями сыновей Герберги и настоятельно попросил свидания. Для варварского короля в вар-

варские времена замысел этот не лишен достоинств. Однако Адриан, как ему и подобало, был весьма далек от того, чтобы способствовать названному замыслу; в прочем же он объявил себя готовым встретиться с королем, где тому будет угодно, но лишь когда церкви будут возвращены захваченные земли. Дезидерий тогда вступил в новые области и предал их огню и мечу. Теснимый такими обстоятельствами, тщетно посылавший к Дезидерию посольство с мольбами и увещаниями, Адриан отправил легата просить помощи у Карла. Вскорости от того прибыли в Рим трое посланных: доверенный короля Альбин, епископ Георгий и аббат Вульфард, с целью убедиться, очистил ли Дезидерий принадлежащие церкви города, как он хотел убедить в этом франков. Папа при отъезде их отправил вместе с ними еще одно посольство, чтобы сделать последнюю попытку добиться своего у Дезидерия. И тот, не в силах более никого обманывать, сказал, что ничего возвращать не желает. С этим ответом франки вернулись к Карлу, зимовавшему в Тионвиле, где перед ним и предстал Петр, легат Адрианов.

Около того же времени король франков принял, надо думать, и другое посольство, менее благородное, тайком отправленное к нему некоторыми из знатнейших лангобардов с призывом вторгнуться в Италию и завладеть королевством и обещанием выдать ему в руки Дезидерия и все богатства одного.

Карл собрал в Женеве «майское поле» или, как пишут некоторые хронисты, «синод», и война была решена. После сего он и отправился с войском в Италию через Кьюзу. То была линия стен, бастioned и башен близ устья долины Сузы, в месте, и доньше сохраняющем имя Кьюза. Дезидерий восстановил и расширил тамошние укрепления и подоспел со своими войсками на защиту их. Франки Карла встретили много более сильный отпор, нежели воины Пипина. Монах из Новалиции, на которого мы только что ссылались, повествует, что Адельгиз, столь же могучий, сколь и доблестный, привыкший сражаться с железною палицей в руках, подкарауливал их и, внезапно нападая из-за стен Кьюзы со своими отрядами и нанося удары направо и налево, устраивал великую бойню. Карл, отчаявшись одолеть Кьюзу и не предполагая, что в Италию можно выйти другой дорогой, решил было возвращаться, когда в стан франков явился диакон по имени Мартин, посланный Львом, архиепископом Равенны; он указал Карлу проход, по которому

можно спуститься в Италию. Впоследствии сей Мартин был одним из преемников Льва на Равеннской кафедре.

По обрывистым тропам Карл отправил отборную часть войска, каковая и оказалась в тылу у лангобардов и напала на них. Те, застигнутые со стороны, где они и не думали стеречься, и имея в своей среде предателей, пустились врассыпную. Тогда Карл с остальным войском прошел в покинутые укрепления Кьюзы. Деидерий с частью оставшихся ему верными подданных бежал в Павию и заперся там; Адельгиз бежал в Верону, куда привел и Гербергу с сыновьями. Из числа рассеянных лангобардов многие воротились по своим городам, из коих часть сдалась Карлу, а часть заперла ворота и стала обороняться. Среди последних была и Брешия, где герцогом был племянник Деидерия Пото, который назван в этой трагедии Баудо, каковое небольшое изменение вполне согласуется с обычными в написании германских имен колебаниями. Вместе с братом своим Ансвальдом, епископом того же города, Баудо во главе многих знатных сопротивлялся Исмунду, графу, посланному Карлом для покорения Брешии; позже, однако, народ, уstraшенный жестокостью, с какой Исмунд расправлялся со всеми попавшими к нему в руки защитниками города, принудил братьев к сдаче.

Карл стал осаждать Павию, и по его зову в стан пришла новая его супруга Хильдегарда. Видя, что город не сдастся так скоро, он отправился с епископами, графами и латниками в Рим, дабы посетить чертоги апостольские и Адриана, коим был принят как сын и избавитель. Осада Павии тянулась часть 773 года и часть следующего; я полагаю невозможным установить срок более точно, не натолкнувшись на противоречия хронистов и не затрагивая вопросов, для нашей цели бесполезных и, быть может, неразрешимых. По возвращении Карла в лагерь под Павией лангобарды, истомленные осадой, открыли перед ним ворота. Выданный своими Верными врагу, Деидерий был доставлен как пленник в землю франков и помещен в монастырь Корбье, где и прожил в святости остаток своих дней. Лангобарды сбежались со всех сторон отдаться под власть Карлу, которого признали своим королем. Доподлинно неизвестно, когда он показался у стен Вероны. При его приближении Герберга с сыновьями вышла ему навстречу и предалась в его руки. Адельгиз покинул Верону, которая сдалась, а сам нашел убежище в Константинополе, где был принят с почетом;

спустя несколько лет он получил под начало греческие отряды, высадившись с ними в Италии, дал бой франкам и в нем был убит.

В трагедии гибель Адельгиза перенесена на то время, когда он вышел из Вероны. Этот анахронизм, наряду с еще одним — предположением, что Анса к тому сроку, когда начинается действие, уже умерла (между тем как в действительности эта королева была доставлена вместе с мужем пленницей в страну франков, где и умерла), — суть единственные значительные искажения вещественно-достоверных исторических событий. Что до нравственной их стороны, тут автор пытался согласовать речи действующих лиц с известными их поступками и с обстоятельствами, в которых они оказывались. Характер одного лишь лица, представленного в этой трагедии, лишен исторических оснований: помыслы Адельгиза, его суждения о событиях, его наклонности, одним словом, весь его характер вымышлен с начала до конца и введен в среду исторических характеров с неловкостью, которую, впрочем, самый придирчивый, самый недоброжелательный читатель не почувствует так живо, как чувствует ее автор.

А. Мандзони

ИСТОРИЯ ПОЗОРНОГО СТОЛБА

Согласно первоначальному замыслу Алессандро Мандзони, «История позорного столба» должна была войти главой (пятой, четвертой части) романа «Фермо и Лючия» — так назывался первый набросок знаменитейшего произведения Мандзони, романа «Обрученные». Однако по мере работы (1821—1823) Мандзони убедился в том, что глава эта, задуманная как «Историческое отступление» утяжеляет повествование, и решил дать ее в качестве «Исторического приложения». Во второй редакции романа (уже названного «Обрученные»), напечатанной в 1825—1827 годах, Мандзони вообще снимает это приложение. Наконец, публикуя в 1840 году окончательную редакцию романа, Мандзони дорабатывает «Историю позорного столба» и дает ее в качестве приложения.

Исторический очерк этот настолько самостоятелен и интересен сам по себе, что в наше время нередко публикуется отдельным изданием.

Стр. 205. ...дом одного из этих несчастных... — дом Джан-джакомо Мора.

...В одной из глав предыдущей книги... — Речь идет о главе XXXII «Обрученных» Мандзони, приложением к которой стала «История позорного столба».

...если уж суждено родиться мыши, то он отнюдь не возвещал, что горы мучаются родами... — цитата из «Поэтического искусства» Горация.

Стр. 210. ...по вине одного из них... — Гульельмо Пьяцца под пытками донес на Джованни Падиляя.

Стр. 212. ...подобно дантовым овечкам... — Данте, «Чистилище» (III, 79).

Стр. 213. ...одетого в черную мантию... — форменная одежда чиновников даже невысокого ранга.

Стр. 218. ...советника Монти... — Маркантонио Монти, советник ипквизиции и адвокат фискального сыска; был братом архиепископа Миланского, преемника Федерико Борромео.

...препроводил его в острог... — Острог находился по соседству со зданием Дворца правосудия.

Стр. 220. ...хотя и отличается большим многословием... — Речь идет о том, что итальянский персвод отличается от латинского оригинала большей словесной краткостью.

Стр. 222. ...ясных и упорядоченных законов... — В XVI—XVII вв., чтобы покончить с произвольными толкованиями законов отдельными юристами, в Европе повсеместно началась «кодификация» законов.

Стр. 223. ...ставшее достоянием истории... — Официально пытки были уничтожены в Италии лишь в XVIII веке. Уничтожены, однако, в законодательном порядке, но не практически. К ним прибегали и позже.

Стр. 224. Сам Фариначчи... — Просперо Фариначчи (1544—1618), выступавший защитником на знаменитом процессе Беатриче Ченчи.

Стр. 225. ...Франческо даль Бруно... — Франческо даль Бруно (или «Бруни»), итальянский судья по уголовным делам XV в. Используя свой опыт, выпустил в 1495 г. трактат «О следствии и пытках».

...Анджело д'Арецо... — юрист XV века Анджело Гамбильони, автор известного в свое время трактата по уголовным делам.

...Гвидо де Судзара... — Мантуанский юрист (умер в

1292 г.), преподавал гражданское право в Модене, Падуе, Болонье и Ферраре.

...*Бальдо*... — Бальдо дельи Убальди, знаменитый правовед XIV века.

...*Париде дель Поццо*... (1413—1493) прославившийся своими сочинениями о рыцарском искусстве.

...*Юлий Кларус*... — (1525—1575), автор книги «Собрание приговоров», выдержавшей в Италии и других европейских странах несколько изданий.

...*Антонио Гомес*... — испанский юрист XVI века, преподававший в Саламанке.

Стр. 226. ...*Ипполито Марсильи*... — (1450—1529), один из крупнейших криминалистов своего века. Жил и работал в Болонье.

Стр. 230. ...*Афлитто*... — Маттео Афлитто (1443—1523), неаполитанский правовед.

...*королю Федерико*... — Федерико Арагонский, король Обеих Сицилий (с 1496 г.).

Стр. 231. ...*Бартоло*... — Бартоло Сассоферрато (1313—1357), судья и профессор права в Болонье. Один из знаменитейших итальянских юристов, автор многочисленных трудов по юриспруденции.

Стр. 232. ...*сенатор Босси*... — Эджидио Босси (1487—1546), миланский юрист.

Стр. 233. ...*Франческо Казони*... — (?—1564), два его трактата «О следствии» и «О пытках» были напечатаны в 1577 г.

Стр. 234. ...*Байарди*... — Джамбаттиста Байарди (1530—1600), юрист из Пармы.

Стр. 237. ...*небольшая книжечка «О преступлениях и наказаниях»*... — Речь идет о знаменитом трактате Чезаре Беккариа (1738—1794), деда Мандзони, сыгравшем заметную роль и в истории итальянского просветительства, и в истории криминалистики.

Стр. 238. ...*«Бартоло» церковного права*... — Николо Тедески (или Тудиско), сицилиец родом, преподававший право в университетах Сиены, Пармы и Болоньи (1386—1445).

Стр. 239. ...*говорит Риминальди*... — Ипполито Риминальди (1520—1589).

Стр. 241. ...*Чино ди Пистойя*... — Гиттончино де Сигибулди (1270—1336), знаменитый итальянский поэт и профессиональный юрист, оставивший несколько правоведческих сочинений.

Стр. 244. *...губернатору Спиноле...* — Маркиз Амбресджио Спинола (1571—1630), итальянский полководец на испанской службе, прославился во время Фландрской войны.

Стр. 274. *...сказал Филот...* — Филот, сын Пармениона, по обвинению в покушении на жизнь монарха был подвергнут пыткам, под влиянием которых сознался во всем, чего требовали от него судьи. Об этом рассказывает Плутарх в своей «Жизни Александра».

Стр. 294. *Оба точильщика...* — Джироламо и Гаспаре Мильявакка, отец и сын.

Стр. 298. *...оскорбления, нанесенные дону Гонсало де Кордова...* — Гонсало де Кордова (1590—1635), испанский полководец, был предшественником Спинолы на посту губернатора Милана (1626—1629).

Стр. 308. *...Баттиста Нани...* — Джованни Баттиста Нани (1616—1678), венецианский дипломат, автор незаконченной «Истории Венецианской республики».

Стр. 309. *Муратори в «Трактате...»* — Муратори был в 1695 г. в Милане по вызову Карло и Джильберто Борромео, возложивших на него руководство «Библиотека Амброзиана».

Стр. 310. *Пьетро Джанноне...* — известный итальянский историк и юрист XVIII века, автор «Гражданской истории Неаполя».

Стр. 312. *...правления герцога д'Аркус...* — дон Родриго Понсе де Леон, герцог д'Аркус. Его действия спровоцировали восстание Мазаньелло. За это он был смещен доном Хуаном Австрийским (1629—1679), сыном короля Филиппа IV и актрисы.

...и графа Оньятте... — дон Иньиго Велес де Гевара-и-Тассис, граф д'Оньятте. Был послом Испании в Риме. Затем заменил Хуана Австрийского на посту вице короля Неаполя.

Стр. 313. *...Сарпи...* — Паоло Сарпи (1552—1623), главное его сочинение — «История Тридентского собора», впервые опубликованное в Лондоне в 1619 г.

Стр. 314. *...стихотворения Парини...* — Джузеппе Парини (1729—1799), крупнейший итальянский поэт XVIII века.

Н. Томашевский

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| <i>Б. Реизов. Алессандро Мандзони — романист,</i> | |
| драматург, историк | 5 |
| Граф Карманьола. <i>Перевод Н. Соколова</i> . . . | 23 |
| Адельгиз. <i>Перевод С. Ошерова</i> | 111 |
| История позорного столба. <i>Перевод Г. Смирнова</i> | 203 |
| <i>Комментарии Н. Томашевского</i> | 317 |

Мандзони А.

М 23 Избранное. Пер. с итал. Предисл. Б. Реизова.
Коммент. Н. Томашевского. М., «Худож. лит.»,
1978.

342 с.

Алессандро Мандзони — классик итальянской литературы. В настоящий сборник входят его трагедии «Граф Карманьола», «Адельгиз» и повесть «История позорного столба» — самый интересный исторический очерк политических нравов и судебных установлений кануна века Просвещения.

М $\frac{70304-170}{028(01)-78}$ 179-78

И (Итал)

Алессандро Мандзони

ИЗБРАННОЕ

Редактор Н. Кулиш
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Синицина

Корректоры М. Пастер
и М. Чупрова

ИБ № 972

Сдано в набор 17.08.77. Подписано в
печать 06.04.78. Формат 84×100¹/₃₂.
Бумага типогр. № 1. Гарнитура
«Обыкновенная». Печать высокая.
16,727 усл. печ. л. 16,55 уч.-изд. л.
Тираж 50 000 экз. Заказ 1461. Цена
1 р. 60 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-тех-
ническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союз-
полиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. 197136, Ленин-
град, П-136, Гатчинская ул., 26

